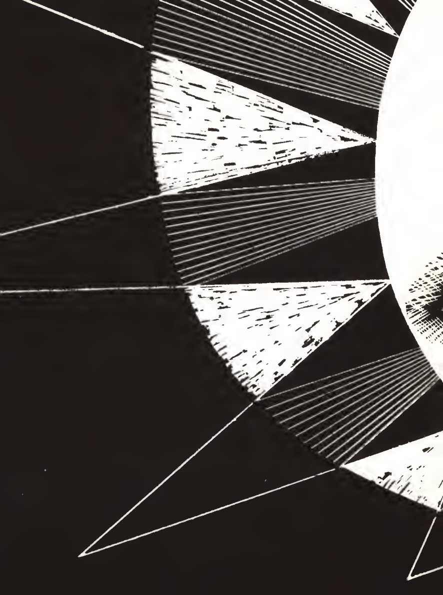
В начале будущего

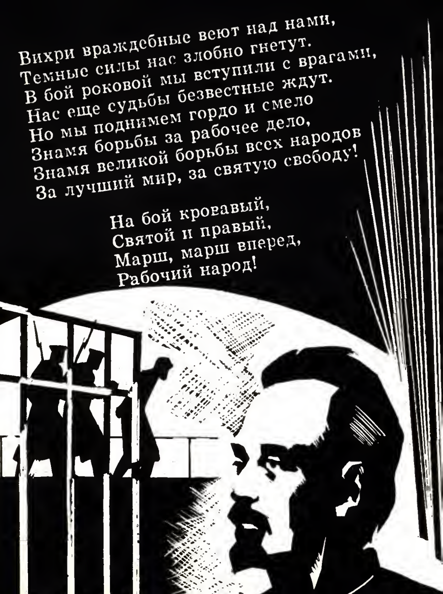
ПР

ВЛАДИМИР [illegible]





Издательство
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
1973


Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.
Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело,
Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу!
На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

Владимир Красильщиков

В НАЧАЛЕ БУДУЩЕГО

ПОВЕСТЬ
О ГЛЕБЕ КРЖИЖАНОВСКОМ

3КП1 (092)
К78

Глеб Максимилианович Кржижановский — один из верных соратников Владимира Ильича Ленина. В молодости он участвовал в создании первых марксистских кружков в России, петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», искровских комитетов и, наконец, партии большевиков. А потом, работая на важнейших государственных постах Страны Советов, строил социализм.

Повесть Владимира Красильщикова «В начале будущего», художественно раскрывая образ Глеба Максимилиановича Кржижановского, рассказывает о той поре его жизни, когда он по заданию Ильича руководил разработкой плана ГОЭЛРО — первого в истории народнохозяйственного плана.

В серии «Пламенные революционеры» уже вышла повесть В. Красильщикова об Александре Дмитриевиче Цюрупе. Писателя в его творчестве привлекают две темы: историко-революционная и жизнь рабочего класса. Первой теме, помимо повести «Интендант революции», посвящены очерки о Вацлаве Вацлавовиче Воровском и Валериане Владимировиче Куйбышеве, второй — повести «Один из них», «Дороге навстречу», «Иначе нельзя», «Это они зажигают свет», роман «Вечный огонь».

Загад

Снег, снег...

Валит, сыплет хлопьями с невидимого неба. Мягкий, пушистый и, хотелось бы сказать, добрый. Да разве скажешь так в нынешнюю пору, когда само слово «добрый» кажется забытым?

Невысокий человек в длинном меховом пальто переждал трамвай, тяжело скрежетавший на повороте к мосту, проводил взглядом обледенелые торцы березовых поленьев на пассажирских местах, перешел пути и двинулся вдоль Кремлевской стены вверх — в сторону Красной площади.

А снежинки плясали, хороводили вокруг выбоин мостовой, падали туда, где на храме Василия Блаженного был снесен снарядом купол, падали — проваливались в черноту. Человек поглубже надвинул пыжиковый малахай, съежился, словно почувствовал, как снег прикасается к бесценным, освященным веками росписям.

Нет, это не сон. Замерзают и лопаются водопроводные трубы. Нечистоты сочатся сквозь потолки квартир. В жилых помещениях пять — семь градусов

мороза и люди не снимают шуб. Там и здесь в переулках среди пустырей торчат печи разобранных на дрова домов. Дети, больные тифом. Больные паровозы. Поржавевшие рельсы. Все это не сон.

У ворот Никольской башни человек достал малый маузер, мешавший вынуть пропуск, переложил его в другой карман.

— «Кржи-жа-нов-ский»,— запинаясь, разобрал часовой в сгустившемся сумраке, и лицо его, запорошенное, с аккуратно подстриженными усами, несколько посветлело, оттаяло: — Проходите, товарищ.

Привычно открывается за углом широкий фасад здания Совнаркома... Знакомая, исхоженная вверх-вниз лестница на третий этаж — шесть маршей не переводя дыхания, молодцом, с задором, словно наперекор кому-то: смотри, мол, вот он, Глеб Кржижановский, сорок семь для него не годы...

Длинный светлый коридор. Сердце: тук, тук, тук — нет, не от этажей — от волнения, которое каждый раз охватывает перед встречей с тем, кто работает за этой дверью.

Подвижный, порывистый, Ленин встает навстречу из-за своего стола, хочет как будто сказать другу юности: «Глеб! Дорогой! Рад видеть тебя!», но косится на не закрытую еще дверь и, словно спохватившись, приветствует с непривычной официальностью:

— Здравствуйте, Глеб Максимилианович! — Только глаза, как прежде, лучатся радушием, играют эти острые, проникающие в тебя глаза, прищуриваются, иронизируют: — Знаю, знаю — наперед знаю, зачем пожаловали.

— Так ведь как же, Владимир Ильич...— Кржижановский мнется, положив на стол принесенную бумагу-требование, не усаживаясь в глубокое крес-

ло, на которое приглашающе указывает Ленин, и смущается.

Понятно, он смущается не от того, что Ильич разгадал цель его прихода. Не так уж мудрено: многие осаждают председателя Совета Народных Комиссаров с одним и тем же — пайки, «дополнительные», «новые», «усиленные», «увеличенные», всеми правдами и неправдами — пайки! Выплавленный чугун, сотканное сукно, преодоленное расстояние измеряются не пудами, не аршинами, не верстами, а пайками для рабочих. Смущается же Глеб Максимилианович потому, что никак не может привыкнуть называть «Старика» по имени-отчеству. Совсем недавно тот попросил вопреки давней традиции обращаться друг к другу на «вы», сказал, чтобы Глеб не воспринимал это как нечто обидное — просто к тому обязывает их теперь служебное положение.

По правде сказать, он немного сердится за это на «Старика» и, опускаясь в кресло, устало вздыхает:

— К сожалению, я не оригинален. Да! В конце концов, количество выданной электроэнергии определяется сейчас тоже пайками.

Ленин делает вид, что не замечает его подспудного неудовольствия, и спешит ввести разговор в деловое — только деловое — русло.

— Продовольствие и топливо! Топливо и продовольствие! — досадует он и начинает ходить из угла в угол кабинета.— Заколдованный круг! — Останавливается возле окна, и всматривается, всматривается в напряженную тусклую мглу зимних сумерек.

Разглядывая волнистую тень от листьев пальмы на спине его пиджака, Глеб Максимилианович пытается представить, о чем Ленин думает. Ему кажется, он даже чувствует, что оба они озабочены одним и тем же — тем, что больше всего волнует, не может

не волновать их обоих. Конечно, спору нет, позавчерашнее восстание рабочих в Иркутске и бегство колчаковского правительства — это, по сути, уже развязка гражданской войны в Сибири. А на юге Красная Армия освободила Киев, Кременчуг, Славянск, Луганск — множество шахт, большие запасы угля. И Деникина тоже можно считать разгромленным, но...

Но!

Поезда из Донецкого бассейна в Москву не доходят: взорваны мосты. Запасы угля так и остаются запасами. В Петрограде на дрова разбирают торцовые мостовые, и там умирает больше людей, чем в холерную эпидемию восемьсот сорок восьмого года, выхватившую из каждой тысячи по шестьдесят пять жизней. Больше, чем в Британской Индии от недавнего нашествия чумы! Общая смертность теперь семьдесят девять, а рождаемость всего тринадцать человек на тысячу жителей. И население страны — сто тридцать два миллиона вместо ста сорока пяти на тех же территориях до войны...

Ленин зябко потер ладони, вернулся к венскому креслу за столом, положил пальцы на теплое стекло абажура и вслух додумал свои думы:

— А электричество светит отменно. И это особенно приятно. И даже удивительно сейчас!

— Что ж тут удивительного? — Глеб Максимилианович возразил как можно спокойнее, равнодушно даже, но не сдержался — не сумел спрятать довольную улыбку в усы и бородку клинышком.

— Да, да,— согласился Ленин.— Знаю, что Московская городская станция рассчитана на нефть, что на дровах ее энергии хватает ненамного. Если бы не ваша «Электропередача», хороши бы мы сейчас были!.. Взять хотя бы тот же гранатный цех на за-

воде Михельсона. Попробуйте пустить его станки без электричества. И тем не менее — удивительно! Замечательно все это! И то, что посреди такой адской, небывалой разрухи, в лютую стужу по коченеющему городу ходят трамваи. И что военные заводы работают — делают пушки, снаряды, броневики. И что... Ну, словом, все! — Он широко раскинул отогретые руки, приподнял их, точно подпирая то, что легло ему на плечи в эту тяжкую пору: — Где-то, за семьдесят верст отсюда, среди болот и лесных чащоб горит в топках паровых котлов торф, и мы сидим здесь хоть и не в тепле, но со светом.

— Что семьдесят верст?! — Кржижановский хотел добавить «Владимир Ильич», но оборвал фразу, так и оставив ее без обращения. — На Франкфуртской выставке девяносто первого года реализована передача электрической энергии на сто семьдесят девять километров. Это было неслыханно. А сейчас уже доказано, что можно передавать на триста, и, в порядке первого приближения, я думаю, на пятьсот!

— Сжигать топливо на месте его добычи! Транспортировать движение, свет, тепло без транспорта в нашем понимании слова! — Ленин мечтательно улыбнулся, сел поудобнее, подпер скулу кулаком: — Да, заманчиво. Я много думал об этом...

Глеб Максимилианович невольно отметил про себя жадный интерес Ильича к окружающей жизни, припомнил, кстати, как недавно, в дни тяжелого одоления Деникина, придя в кабинет к Ленину, застал его за научными книгами о Востоке. Этих увесистых книг было множество: на столе, на полках, на этажерке — и все под рукой, аккуратно подобраны стопами, заложены.

Помедлив, он собрался с мыслями, вздохнул и заговорил:

— Вы, конечно, знаете, еще в девятьсот седьмом году доктор Вольф предсказал, что со временем наряду с «кровеносной» системой железных дорог развитые государства покроются, как он говорил, «нервно-мускульной» сетью электропередач с «мозговыми» распределительными центрами гигантских районных электростанций.— Глеб Максимилианович внимательно посмотрел на Владимира Ильича. «Не утомил ли? Ведь это мой конек, и я могу говорить об этом без конца, без отдыха, хоть до утра...»

Но Ленин приподнял брови, как бы поторапливая: дальше, дальше. И Кржижановский продолжал:

— Эти фабрики движения, света и тепла — мощные и сверхмощные электрические централи должны быть связаны между собой, должны производить энергию при наивыгоднейших условиях и отпускать ее столько, сколько потребуется. Такова идея — если хотите, идеал,— может быть, даже пока мечта, техническая мечта... Но для электричества нет невозможного. Электричество знает только один предел: триста тысяч километров в секунду!

— Неплохой предел,— задумчиво произнес Ленин.

— Еще бы! — Кржижановский усмехнулся со значением и, словно задираясь, подправил усы.— Известно, что электрификация промышленности неизбежно влечет революцию самих ее основ: поршневых паровых машин, дающих от силы сто пятьдесят оборотов в минуту. Генератору, вырабатывающему электрический ток, это уже не подходит. И двухсотлетнее царствование поршневых машин, несмотря на бездну технического остроумия, затраченного на их усовершенствование, подрывается. Начало нашего века ознаменовалось появлением паровой турбины.

Глеб Максимилианович говорил увлеченно, говорил о том, что вы́носил, выстрадал за годы раздумий, выкладывал собеседнику одно неоспоримое достоинство предмета своей страсти за другим. Он боялся только одного: как бы его не перебили.

Его никто не перебивал.

— Ничтожность потерь в электропередачах!.. Экономичность взаимных превращений механической и электрической энергии!.. Возможность раздать ее по проводам кому угодно, чему угодно — доменной печи и чайнику!.. Элементарность пуска и остановки двигателя, ухода за ним!.. Прочность конструкции, дешевизна, относительно малый вес... Такой признанный представитель капиталистического царства машин, как Генри Форд, утверждает, что мы неправильно характеризуем наш век как век машин. «На самом деле,— говорит он,— наш век — век энергии. За спиной машин стоит энергия, в особенности гидроэлектрическая...»

Ленин деликатно кашлянул:

— Вы говорите так, словно я против электричества.

Кржижановский осекся, смутился: действительно, не слишком ли он увлекся? Уж кому-кому, а ему ли не знать, сколько внимания отдал Владимир Ильич революционной роли электричества, сколько он думал об этом.

«Но почему же он так хорошо слушал?»

— Все это очень интересно, очень важно, очень бесспорно,— заключил Ленин, вышел из-за стола и стал рядом.— Но сейчас важнее другое. Иван Иванович Радченко еще в Смольном говорил мне, что топливо у нас под ногами. Повсюду. Так ли это? Достаточно ли у нас торфа?

— Торфа?! — Глеб Максимилианович даже сел:

что это — неосведомленность? Нет. Обычная для Ильича манера выведать у тебя все, вытянуть до ниточки, задавая и возможные вопросы своих оппонентов, кажущиеся подчас весьма и весьма неожиданными, даже неуместными.

— «Достаточно ли у нас торфа?!» — как бы укоряя Ленина за такой оборот, повторил он.— Да мы живем в Берендеевом царстве! Буквально — не в переносном смысле, не метафорически! — утопаем в сказочных богатствах. Вот, взгляните, пожалуйста! — И метнулся к карте на противоположной от стола стене.— Ни одна страна не сравнима с нами в этом плане. Тридцать миллионов десятин! Более двух триллионов пудов!

Подняв руки, Кржижановский привстал на носках, стараясь дотянуться до верха, где лежала Архангельская губерния с ее тундрами и Поморьем, так что со стороны могло показаться, будто простер он их, надеясь обнять землю, изображенную на обширном планшете.

— Отбросим болота нашего Севера и Сибири. Примем во внимание лишь то, что лежит вот здесь, здесь и здесь — ниже шестидесятой параллели, южнее Питера. И все равно оказывается, что только один ежегодный прирост этих торфяников около пяти миллиардов пудов условного топлива. Миллиардов! Вы чувствуете? Только приростом торфяного мха можно полностью покрыть всю топливную потребность страны.

Он оглянулся. Ленин стоял за его плечом и слушал с интересом, не перебивая.

— Еще одно, очень важное достоинство, особенно сейчас, когда транспорт наш в таком плачевном состоянии...

— А именно?

— Промышленность Москвы, Петрограда, Иваново-Вознесенска находится в самой непосредственной близости от грандиозных торфяных залежей. Рукой подать! Громадные запасы этого, как я его называю, «ультраместного» топлива есть и на Урале — в Пермской и Вятской губерниях, и на Волге... Чтобы добывать торф, не надо строить глубокие шахты, забираться в них — он лежит на поверхности, только бери его! — и каждая тысяча десятин гиблого места, топей и прорвы — словом, бросовой земли гарантирует работу областной станции в течение двадцати пяти лет!

— А сколько рабочих должны добывать торф для такой станции?

— Около трех тысяч.

— Ого!

— Многовато. Не спорю. Но уже наметившийся прогресс техники добычи обещает так облегчить труд на болотах, что из проклятия он станет благословением.

— «Станет...» — Ленин улыбнулся недоверчиво, с грустной иронией. — А как быть сегодня, сейчас?

Кржижановский замолчал не оттого, что вопрос его озадачил. Все было продумано до мельчайших деталей не в один день, не в одну бессонную ночь. Он вдруг — неожиданно для себя — сам поразился грандиозностью проблемы, возможностями, перспективами, которые разворачивались.

Да, да! Бывает так: думаешь о чем-то, твердишь, повторяешь чуть ли не всю жизнь, полагая себя знатоком в данном деле, и вдруг однажды, только в беседе с очень близким, дорогим тебе человеком открывается вся глубина, весь сокровенный смысл того, что считал само собой разумеющимся, привычным, исчерпанным. Как в старой гимназической

шутке об учителе: «Объяснял, объяснял урок — даже сам понял!»

— Так как же сейчас быть? — напомнил Ленин.

— Есть выход и сейчас, Владимир Ильич! — Он свободно, легко произнес это имя-отчество, совсем забыв о пустых, ненужных обидах — уколах самолюбия.— Есть. Во-первых, мы не можем уклониться от борьбы: если мы не станем наступать на торф, он наступит на нас. Опять говорю буквально, без всякого преувеличения. Ведь вы же знаете, процессом заболачивания охвачены весь наш север и северо-запад. Мхи — несметные полчища, тучи, мириады — неотвратимо движутся на нас. Наседают на леса, на открытые водоемы, угрожают культурным землям. Но это еще полбеды... Сейчас, в такое голодное время, мы привлекаем на подмосковные торфяники десятки тысяч крестьян-отходников из Рязанской, Калужской, Смоленской губерний.

— Еще больше увеличиваем наш продовольственный дефицит,— со вздохом вставил Ильич.

— А между тем рядом, на текстильных фабриках, которые бездействуют или почти бездействуют, десятки тысяч рабочих не работают.

— Какая работа, если нет или, применяя вашу терминологию, «почти нет» ни хлопка, ни льна, ни шерсти?

— Но жалованье они получают, живут как бы на пенсии — как люди, находящиеся на социальном обеспечении... Не напрашивается ли, Владимир Ильич, мысль о привлечении именно этих людей? Хотя бы при самом коротком рабочем дне? Понятно, надо подумать и о технике торфяного производства, чтобы сделать его возможным для слабосильных текстильщиков. И тогда вместо добычи горбом и лопатой, при несносных жилищных условиях, при вечной

опасности малярии наступит полезная смена работы в душных фабричных цехах трудом на открытом воздухе.

Наконец, Ленин сел на свое место, взял со стола принесенное Кржижановским требование. И Глебу Максимилиановичу, также вернувшемуся в свое кресло, пришлось чуть вытянуть шею, чтобы увидеть, как толстый черный карандаш одну за другой ставит «птички» против слов «чечевица», «селедка», «отруби», точно выявляя их парадоксальную несовместимость со словами «киловатт», «прогресс», «перспектива» — со всем, о чем они только что говорили.

Дочитав бумагу, Ленин отложил ее и словно пожаловался:

— Вы вправе требовать больше, неизмеримо больше,— и тут же виновато, словно оправдываясь, развел руками: — Но сейчас, боюсь, мы и этого не сможем дать. Попрошу Цюрупу сделать все, что можно, и даже сверх того. Позвоните мне завтра к концу дня.

Глеб Максимилианович посмотрел на припухшие, влажно-розовые от недосыпания веки Владимира Ильича. И весь тот запал, та решимость, с которыми он пришел сюда, чтобы требовать продовольствия и во что бы то ни стало добиться своего, разом улетучились.

Он неслышно поднялся.

Ленин будто не замечал его, смотрел мимо, куда-то вдаль. Но когда гость сделал первый шаг к двери, Ильич обернулся и, больше отвечая каким-то своим думам, тихо сказал:

— Вчера на Варварке я видел, как упала лошадь. Она была слишком слаба, чтобы встать. Если бы она могла подняться, она бы даже довезла дрова. Н-да-а... Если бы она могла подняться!..

Уходя, Глеб Максимилианович бросил грустный взгляд в сторону своей бумаги, оставшейся лежать возле календаря, раскрытого на страничке «1919 — декабрь — 26».

Снова та же дорога, только в обратном порядке: от Кремля — домой. Москворецкий мост; запоздалые ломовики, устало понукающие заиндевелых лошадок; легковой извозчик, севший на пассажирское место и укрывший ноги медвежьей полостью когда-то лакированных саней; фонарщик с лестницей под мышкой; трубочист, как в былые времена, опутанный веревкой с гирями, но неожиданно чистый — должно быть, так и не нашедший сегодня работу,— осколки, хоть и невысокой, но цивилизации.

А на Раушской набережной — там, куда опять спешил трамвай с прицепом,— дрова, дрова — запорошенные, заметенные снегом горы дров — от самого Москворецкого до Устьинского моста. В нещедром, мутновато-оранжевом свете двух лампочек, подвешенных к шестам, рабочие грузят поленья в вагонетки, упираются, толкают артелью, везут в котельные электрической станции.

Уже на повороте с моста к Садовникам его обогнал грузовик, изрыгавший клубы керосинового чада. В кузове громоздились пухлые мешки, вороха бумаги.

Знакомый шофер приветливо кивнул и по-военному приложил ладонь к козырьку кожаной фуражки. А молодой красноармеец, закоченевший на вершине мешочной копны, хвастливо крикнул Глебу Максимилиановичу:

— Царски акции везем! В топку!

Глеб Максимилианович грустно усмехнулся. Конечно, жечь аннулированные царские бумаги в топках единственной электростанции красной столи-

цы...— в этом есть что-то символическое, ободряющее. Но пользы от такого «топлива»... Царские акции даже при сжигании ничего не дают, никого не греют.

Сразу несвоевременным, неуместным представился весь тот разговор об электричестве, о большой энергетике, о ее будущем.

Бестактно!

Все равно что рассказывать в голод, как вкусен горячий блин, политый сметаной и топленым маслом.

Что же все-таки он хотел сказать, Ленин, припомнив упавшую лошадь?

Отшагав полверсты мимо домов с глухими, то законопаченными, то заткнутыми тряпьем, то зашторенными окнами, за которыми лишь кое-где с трудом угадывалась жизнь, настороженная, берегущаяся, еще теплившаяся в мерцании коптилок, Глеб Максимилианович пришел домой.

Зина встретила его на пороге, смахнула снежинки с воротника, помогла снять шубу — не потому, что он слаб, а так просто, чтобы прикоснуться к нему, от радости, что он вернулся.

За домашними хлопотами, за ужином, состоявшим из куска сырого тяжелого хлеба, двух тощих ломтиков колбасы и чая, как-то отодвинулось все, что было в Кремле.

Допив искусно заваренный, пахнувший чем-то безвозвратно ушедшим и несбыточным чай, Глеб Максимилианович с благодарностью глянул на жену:

— Где вы только добываете сей «эликсир бодрости и блаженства»? А колбаска... Наверно, именно ее имел в виду Плеханов, когда говорил о пресловутом принципе смешения «пополам» — один рябчик, одна лошадь...— И ушел в кабинет почитать, поработать на сон грядущий.

Но — чу! — рыкающий грохот вспарывает тишину заснувших Садовников.

Ближе, ближе...

Ошибиться нельзя: такое громыханье извергают только мотоциклетки «Харлей».

Сквозь верхнюю половину обледенелого стекла видно, как внизу, под окнами, самокатчик, в кожаной куртке, крагах и шлеме с очками, замедляет ход, сворачивает во двор.

Два-три выстрела-хлопка, похожих на вздохи насоса, и воцаряется тишина. Шаги по черной лестнице. Звонок.

— Товарищ Кржижановский? Вам пакет.

Разорвав жесткую оберточную бумагу, он достает записку, развертывает, подносит ближе к лампочке и тут же, в кухне, читает:

«Глеб Максимилианыч!

Меня очень заинтересовало Ваше сообщение о торфе.

Не напишете ли статьи об этом в «Экономическую Жизнь» (и затем брошюркой или в журнал)?

Необходимо обсудить вопрос в печати.

Вот-де запасы торфа — миллиарды.

Его тепловая ценность.

Его местонахождение — под Москвой; *Московская область.*

Под Питером — поточнее.

Его легкость добывания (сравнительно с углем, сланцем и проч.).

Применение труда *местных* рабочих и крестьян *(хотя бы по 4 часа в сутки для начала).*

Вот-де база для электрификации *во столько раз* **при теперешних** электрических станциях.

Вот *быстрейшая* и *вернейшая*-де база восстановления промышленности; —

— организация труда по-социалистическому (земледелие + промышленность);

— выхода из топливного кризиса (освободим *столько-то* миллионов кубов леса на транспорт).

Дайте *итоги* Вашего доклада; — приложите карту торфа; — краткие расчеты суммарные. Возможность построить торфяные машины быстро и т. д. и т. д. Краткая суть экономической программы.

Необходимо *тотчас* двинуть вопрос в печать.

Ваш *Ленин*».

Глеб Максимилианович перечитал записку еще раз, от слова до слова, и вернулся к своему рабочему столу. «Гм... Пока я шел домой и пил чай, он думал за меня!.. В трех словах подробнейший план: программа действий... Поразительный человек! Заинтересовался чем-то — и тут же переходит от слов к делу с присущей ему энергичностью».

Вспомнилось, как один из противников Ильича жаловался в парижский период эмиграции: «Как можно справиться с этим человеком? Ведь мы думаем о пролетарской революции лишь по временам, а он все двадцать четыре часа, потому что, даже когда спит, он видит во сне лишь одну эту революцию».

Так вот чем обернулись, во что вылились мысли об упавшей лошади!.. «Если б она могла подняться!»

Но...

Самой ей не подняться. Надо ей помочь — надо ее поднимать.

Горячим можешь быть иль быть холодным,
Но быть всегда лишь теплым — берегись!

Что такое? Стоп! Статью надо писать, а он...

Глеб Максимилианович оглянулся, но в кабинете,

мягко освещенном настольной лампой, на него по-прежнему смотрели только Ленин и Лев Толстой — с портретов, висевших друг против друга.

Опять он отвлекся! Или, наоборот, слишком вдохновился работой, и прозы для него уже недостаточно?..

Он улыбнулся, точно подтрунивая над собой — так, как умеют это только добрые умные люди, не боящиеся иронически взглянуть на себя со стороны. Спрятал истраченный на стихи листок в книгу Баллода «Государство будущего...», уселся поудобнее и опять взялся за перо.

— Глебася! — послышался за дверью голос жены, и вслед за тем появилась она сама — слишком полная даже для своих пятидесяти, принаряженная, в черном платье, по-молодому оживленная.

— Пожалуйста, прервись,— с улыбкой сказала она, положив мужу на плечо мягкую ладонь.— Новый год просидишь этак! Нельзя же... Гости... Прервись на минуту.

— Не могу: Владимир Ильич ждет — торопит.

— Уже без четверти двенадцать.

— Сейчас, погоди...

Все же написал: «...восстановление донецких копей, борьба с транспортной разрухой — работа ряда лет. Дальнейшее «налегание» на дрова грозит государству специфическими бедами, связанными с обезлесением громадных площадей. Подмосковный уголь представляет достаточно капризное топливо: он содержит много золы и серы, выветривается при хранении, мало калориен. Надежда на сланцы пока остается надеждой...» — С трудом оторвался, нехотя выключил свет и под конвоем жены отправился в столовую.

Там все были в сборе: сестра Тоня, ее муж Васи-

лий Старков, младший брат Зины — Павел, словом, свои, домашние, никаких особых гостей. Да и смешно предполагать, что кто-то решится в нынешнюю лихую пору уйти вечером из дому, чтобы где-то встречать Новый год.

Занимая свое место во главе стола, Глеб Максимилианович задержал взгляд на поданных блюдах: да, яства, достойные кисти великих фламандцев,— селедка с картошкой и картошка с селедкой!.. Но посреди этого «пышного разнообразия» высится настоящий, можно сказать, живой полуштоф «Смирновской», бог весть как и где сохранившийся с дореволюционных времен.

«Нелегкое сейчас дело затеваем с торфом,— подумал Глеб Максимилианович.— Такой голод, такая война, разруха...— И тут же сам себе возразил: — А что прикажете — сидеть сложа руки, ждать у моря погоды? Ленин не сидит, не ждет. И никогда не ждал, просто не умел и не умеет ждать в этом смысле... Еще у Маргариты Фофановой, где он прятался перед Октябрьским восстанием, прочитал книгу Сукачева о болотах и увлеченно грозил: «Эти пустыни будут работать — будут светить и греть»».

Или вот еще подходящий пример... Весной восемнадцатого года, когда гражданская война уже началась, от голода в наших городах, особенно в Москве и Петрограде, люди сходили с ума, стрелялись, вешались. Волна голодных бунтов прокатилась по фабрикам и железным дорогам. Как тяжко жилось тогда Ильичу! И все же именно тогда он дает Академии российской набросок плана научно-технических работ. Правда, старой — замкнутой и оторванной от жизни — Академии не по силам тот план, но там есть слова, которые еще будут услышаны: «Экономический подъем России...»

Ведь не случайно уже в декабре семнадцатого года Ленин поручил Александру Васильевичу Винтеру начать подготовку к строительству Шатурской электростанции. В январе восемнадцатого — заинтересовался дерзким проектом инженера Графтио, и не просто заинтересовался — просил дать все материалы о строительстве Волховской гидростанции...

А сами вы, почтеннейший Глеб Максимилианович, куда ездили минувшим летом по поручению Ильича? Чем занимались при самом деятельном участии восьми краснозвездных ангелов-хранителей в лаптях? Не волжскую ли воду вы собирались направить по новому руслу? Не речку ли Усу обратить вспять к гигантской электрической станции? Не Самарскую ли луку обследовали, изучали на предмет реализации гидроэнергетического проекта, который восемь лет назад показался кощунственным архиерею Симеону, но был одобрен крупнейшими умами Европы?..

— Ну, что же? Поднимем бокалы? Сдвинем их разом?

— Господи! Как летит время! Подумать только, уже тысяча девятьсот двадцатый год!..

— С новым годом, Глебася!

— Пусть будет не похож на уходящий...

— Уж только бы война кончилась!

— Только бы мир!

— Мир...— Сидя на вертящемся шведском кресле, словно нарочно придуманном для такого непоседливого хозяина, Глеб Максимилианович быстро овладел общим вниманием. Он шутил, придумывал для себя и других забавные прозвища, рассказывал, точно сам видел, что сейчас там — «под нами», в Калифорнии, на пляже Пальм-Бич, идет серьезнейший конкурс: определяют самую красивую спину Америки.

По условиям конкурса, спина не должна быть ни слишком длинной, ни слишком короткой. У каждой конкурентки она тщательно обмеривается...

Привстав, он тут же изобразил престарелого франта, измеряющего дамскую спину и приходящего в умиление. Затем испустил вопль, характерный для распорядителя на балу: «И-и-и!..» — сделал резкий переход к новой картине: — Первый приз — десять тысяч долларов — вручается победительнице.

Когда смех несколько утих, Василий Васильевич Старков долил в рюмки.

— Что ты делаешь, Базиль? — как бы испугалась Зинаида Павловна, разрумянившаяся, возбужденная праздником.— Пожалуйста, не спаивай Глеба. Не видишь, он и так уже...

— Зиночка! — развел руками Глеб Максимилианович, старательно показывая, что очень боится жены, но тут же взбодрился, расхрабрился: — Разве этим меня проймешь? — Снова разошелся: — Я ведрами оперировал! Да, да. Бывало, начнешь прикидывать, куда опоры ставить,— всюду земля мирская. Собираешь сход: «Ну как, мужики?» — «А так, что по ведру казенной за столб...» Сколько этих ведер выставлено на семидесяти верстах!

Он опять в лицах, играя сцены и за себя и за партнера, принялся представлять, как шесть лет назад, в бытность коммерческим директором строительства, проводил линию к Москве от первой в России станции на торфе, прозванной потом «Электропередача»:

— Прихожу к купчине одному, купавинскому, под самой Москвой. Бородища, сюртук, самовар. Рожа вот такая — решетом не накроешь. Глазки заплыли, откуда-то издалека в тебя постреливают — хитрющие. Словом, сразу видно: бестия продувная, прямо из пьес Островского, банальнейший образец, со

всеми наибанальнейшими атрибутами. Так и так, говорю ему и о пользе электричества распинаюсь: «На вашей земле две опоры дóлжны стать. Мы вам за это свет проведем — бесплатно».— «А зачем мне свет? Я деньги свои и в темноте сосчитать могу».— «На фабрику вашу энергию подадим».— «Ахти! Мне и от своей котельной пар-то девать некуда...» Вот и прошиби такого... И тогда из глубин моего докторского саквояжа на свет является полуштоф... После двух стопок начинает выясняться, что за столом сидят люди, которые «до смерти» уважают друг друга. После третьей становится совершенно очевидно, что он и я — два самых закадычных, самых верных товарища. А четвертая стопка помогает окончательно понять, что история человечества еще не знала и не узнает такого истого поборника технического прогресса, как сей почтенный гражданин славного, богом спасаемого поселка Купавны, и что единственной и самой жгучей мечтой, обуревавшей его еще с детства, было подписать согласие на установку не двух, а «хушь трех» магистральных опор... Как я тогда не спился, не знаю.— Глеб Максимилианович посерьезнел, задумался.

«Частная собственность на землю... Ее теперь нет, но есть ее наследие: рядом с бездействующей электрической станцией расположено торфяное болото, а разрабатывает его какая-нибудь фабричка, отдаленная на десятки верст! Надо это как-то поскорее перепланировать, перестроить поразумнее...» — Он вертанулся вместе с сиденьем кресла и, отставив рюмку, поспешил в кабинет, принялся писать сердитый абзац против наследия частной собственности.

Через несколько дней статья о торфе была готова и десятого января появилась — «подвалом» — в «Правде».

Статья «Торф и кризис топлива» не осталась без внимания. Каждый день в редакцию приходили письма-отклики читателей почти из всех губерний страны. Кто-то одобрял «идею тов. Кржижановского», иные возражали ему, третьи давали ценные советы, предлагали помощь, вносили поправки. Все это увлекло Глеба Максимилиановича, очень быстро, как говорится, на одном дыхании он написал новую статью — об электрификации промышленности, которую послал Владимиру Ильичу — посмотреть.

Уже на следующий день, двадцать третьего января, пришло письмо:

«Глеб Максимилианович!

Статью получил и прочел.

Великолепно.

Нужен *ряд* таких. Тогда пустим брошюркой. У нас не хватает как раз спецов с размахом или с «загадом»».

Глеб Максимилианович подправил усы, сдержал невольную улыбку и, стоя возле окна, продолжал читать:

«...Нельзя ли добавить *план* не технический (это, конечно, дело *многих* и не скоропалительное), а политический или государственный, т. е. задание пролетариату?

Примерно: в 10 (5?) лет построим *20—30* (30—50?) станций...»

Он тут же представил — пожалуй, даже увидел, как Ленин ходит взад-вперед по кабинету, какое у него лицо, когда он пишет. С какой надеждой он ставит вопросительный знак! Как хочется ему, чтоб не в десять, а в пять — в пять! — лет и не двадцать, а пятьдесят станций построить!

«...чтобы всю страну усеять центрами на 400 (или 200, если не осилим больше) верст радиуса; на

торфе, на воде, на сланце, на угле, на нефти (*примерно* перебрать Россию всю, с *грубым* приближением). Начнем-де сейчас закупку необходимых машин и моделей. Через 10 (20?) лет сделаем Россию «электрической».

Я думаю, подобный «план» — повторяю, не технический, а государственный — проект плана, Вы бы могли дать.

Его надо дать сейчас, чтобы наглядно, популярно, для массы увлечь ясной и яркой (вполне *научной* в основе) перспективой: за работу-де, и в 10—20 лет мы Россию всю, и промышленную и земледельческую, сделаем *электрической*. Доработаемся до стольких-то (тысяч или миллионов лошадиных сил или киловатт?? черт его знает) машинных рабов и проч.

Если бы еще *примерную* карту России с центрами и кругами? или этого еще нельзя?

Повторяю, надо увлечь *массу* рабочих и сознательных крестьян *великой* программой на 10—20 лет.

Поговорим по телефону.

Ваш *Ленин*».

— Владимир Ильич? Здравствуйте!

— Здравствуйте. Кто это? Очень плохо слышно.

— Это я, Кржижановский.

— А! Здравствуйте, здравствуйте!

— Только что получил ваше письмо.

— Так, так. И что скажете?

— Захватывает, но, честно говоря, страшновато.

— Страшновато? Отчего?

— Такой размах!.. Боюсь подумать, когда мы только сможем подступиться.

— Что значит «когда»? Сегодня. Сейчас. Немедленно.

— Да, но...

— Никаких «но». Дорогой Глеб Максимилианович, мы должны — мы обязаны — действовать по наполеоновскому правилу: прежде всего ввязаться в дело.

— Но обстановка вокруг, положение в стране...

— Безусловно. Трудности чудовищные. Правда, радуют военные успехи, их теперь не перечеркнуть никому. Но когда мы окажемся перед задачами небывалого для России, гигантского строительства, нам будет труднее, в десятки раз труднее. И тем не менее...

— Владимир Ильич! Разве я не понимаю? Однако задача, которую вы ставите сейчас... в данный момент — в наших условиях — она больше похожа на мечту, чем на действительность.

— Очень хорошо! Прекрасно! Задача, в самом деле, дерзновенно-фантастическая. Но напрасно думают, что фантазия нужна только поэту. Это глупый предрассудок. Даже в математике она нужна. Даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без фантазии. Фантазия — качество величайшей ценности.

— Не спорю. Ведь такой скрупулезный, ни на что, кроме данных анализа, не полагающийся физик, как Резерфорд, и тот считает важнейшими качествами ученого инициативу и фантазию.

— Вот видите. Страна, любой народ подобны в чем-то отдельному человеку: не могут жить без идеала, без мечты, без высокой цели. Соберите для работы лучшие умы России.

— Легко сказать, Владимир Ильич!

— Да. Я знаю, я предвижу: нам придется натолкнуться на сопротивление эмпириков, на унизительное и унижающее неверие в наши силы. Придется

вынести и стерпеть насмешки всего «просвещенного мира». Но ведь, в конце концов, мы революционеры. Мы десятки лет были фантазерами, потому что верили в возможность социалистической революции в такой стране, как наша.

— И зато теперь можем смело взять слово «фантазеры» в кавычки.

— Именно. Именно! И давайте-ка скорее подбирайте спецов с загадом, с размахом, отчаянно смелых.

— Но ведь вы требуете всесторонне обоснованный, глубоко продуманный научный план. Вы так подчеркиваете слово «научный».

— Иной план никому не нужен. Но не беда, если ваше детище на первых порах окажется грубой наметкой. Сейчас топор важнее, чем резец. Немедленно начинайте. Тащите к себе в Садовники спецов, тащите во что бы то ни стало, чего бы ни стоило. Разъясняйте задачу, давайте конкретные — я подчеркиваю — конкретные поручения. Вы умеете притягивать людей как магнит. Вот и действуйте. Действуйте!

— Но ведь план — это лишь половина дела.

— Безусловно. Помножим мечту на действительность — соединим гений ученых с практикой широчайших масс. Да, да. Нам придется привести в движение массы еще большие, чем во время войны.

— Понимаю, Владимир Ильич: глубина исторического действия пропорциональна массе вовлеченных в него людей...

— А теперь конкретно: обдумайте и подготовьте меры организационные. Садитесь немедля за брошюру об основных задачах электрификации России. Нужно дать более чем срочно.

— Та-ак...

— Позабочусь, чтоб издáли в несколько дней.

— Хорошо бы.

— Отвратительно вас слышно! Надо провести возможно скорее прямой провод к моему коммутатору. Каждый день докладывайте мне, как движется работа. Какие трудности. Кто и что мешает... Так-то, Глеб! Ввязываемся в дело, ввязываемся. Гляди в оба...

Впервые он нарушил уговор: обратился на «ты». И не только от избытка чувства, не только подчеркивая исключительность момента, нет. Он напомнил этим обо всем, что пройдено, сделано вместе, что связывало их еще с юности — все прожитое и пережитое.

Да, Глеб Кржижановский в революции не новичок. Немало испытаний выпало на его долю, немало он положил трудов и забот. Но то дело, что предстояло теперь, наверняка станет главным в жизни.

И именно поэтому, нацеливая в будущее, Ленин как бы обращал его за поддержкой и уверенностью к прошлому.

Меж крутых берегов...

Помнит он себя с трех лет: в большой комнате, причудливо освещенной красными отблесками, отец подкладывает в печь гречишную солому, и пляшущие блики на стенах тут же замирают, гаснут. Потом огонь охватывает черные листья, сердито ворчит, струится меж стеблей и с треском вырывается на свободу. Вот-вот он лизнет шершавые, покрытые ссадинами руки отца.

Глебу жутко, но интересно.

Отец не поддается огню — отгоняет его, правит на

место закопченной кочережкой, теснит, прижимает чугунной литой дверцей.

Глеб улыбается от радости — от того, что отец такой сильный, такой большой. Смотреть бы и смотреть на его красивое, озаренное живым, играющим огнем лицо!

Как хорошо!

Мальчик набирает пучок стеблей, открывает совком горячую дверцу, прогоняет огонь. Пламя принимает вызов: крепко цепляется за стебли, ползет ближе, ближе к руке. Глеб жмурится, но не выпускает пучок: «Ну-ка, огонь! Будет баловать! У нас не забалуешь...» Он с улыбкой, с ожиданием одобрения оглядывается на отца.

Входит мать:

— Ах ты, Глебушок, Глебушок — золотой гребешок! — Подхватывает его, прижимает к теплой груди.— Сгоришь ведь! — И вдруг вздыхает озабоченно, с тревогой: — Что-то с тобой будет?.. Что из тебя будет?

Это Самара. Николаевская улица. Тихий, неприметный домик, каких не счесть на святой матушке-Руси.

За домом, позади него, простирается сказочное царство, поросшее горько пахнущей полынью и раскидистыми лопухами, под которыми можно спрятаться так, что никто и не найдет. Царство то полно таинственных шорохов и сокровищ. Как раз там спасается рыжий кот — Берендей, когда на него с лаем кидается соседский Унтер. Там, у забора за́росли трав, а на травах невозможно вкусные плоды: «пасленки», «просвирки». Мама почему-то запрещает их есть, и приходится делать это тайком, отчего «пасленки» с «просвирками» кажутся еще слаще. И там же, в стране чудес, на задворках, зреет солнечно-красная

смородина, про которую взрослые говорят, будто она кислая, а на самом деле...

Все эти беспредельные владения принадлежат Константину Прохоровичу Васильеву, служащему в полицейском участке. Это его «благоприобретение» — недвижимость, добытая, как говорят, «всеми правдами, а паче — неправдами».

Хозяин — тусклый, ничем не отмеченный человек, разве что молчаливостью, скрытностью, а быть может, просто-напросто безучастностью своей к окружающему. Зато супруга его, Надежда Васильевна, так и стоит перед глазами, так и слышится сказанное про нее отцом, подкрепленное мамой:

— Энергичная и самоотверженная женщина.

— Да, широкая русская душа.

— Охотно и смело поможет...

Ярко помнится Глебу пожар в соседнем доме. Грохот лопающейся кровли. Взрывы искр над рухнувшими стропилами. Крики:

— Катька там!

— Катька шалопутная осталась!..

Но никто не трогается с места.

Вдруг из толпы словно закаменевших в страхе людей выходит тетя Надя. Выходит. Исчезает в пламени. И вновь появляется — выносит что-то в клочьях-лоскутах.

Только лоскуты какие-то странные: не тряпки, не овчина...

Из чего те лоскуты, Глеб так и не успевает разобрать. Мама уводит его домой. Но он все же украдкой подглядывает из окна, слышит, как тетя Надя, сидя на земле возле обгоревшей, командует:

— Ваты давайте. Масла конопляного. Да не бойтесь вы, не пугайтесь, мужики! Вот народ, пра, ей-богу!

Она сидит в палисаднике, возле Катьки, не отходит от нее долго-долго, до тех пор, пока Глеб не слышит страшное слово:

— Кончилась.

В доме Васильевых родители его поселились после побега из Оренбурга. Это романтическая и вместе с тем грустная, а быть может, и трагическая история. Ее, понятно, Глеб узнал не в три года...

Отец был женат прежде, до встречи с мамой — дочерью сановитого оренбургского чиновника. И естественно, семья матери приняла в штыки этот «гражданский брак».

Но страсть есть страсть. И вот по пыльным самарским улицам ходят двое бесприютных, заклейменных словом «невенчанные». Багаж их более чем скромен. В карманах ни гроша. Но зато у обоих пышные волны черных (отец) и золотых (мама) кудрей да хоть отбавляй надежд на лучезарное будущее. Однако пристанища все нет и нет, и надежды тают не по дням, а по часам...

Наконец повезло — встреча с тетей Надей, крохотная комнатка в кредит. «А коль денег не сыщется, то и так хорошо, бог с вами, смотреть на вас невснос, живите...»

Через несколько месяцев мама отправляется в родильный дом, где одиннадцатого января, лета от рождества Христова тысяча восемьсот семьдесят второго появляется на свет отрок, нареченный при рождении Глебом.

А двадцать шестого февраля при имевшем быть крещении «Глеба незаконного» в качестве восприемника присутствует губернский секретарь Максимилиан Николаев Кржижановский.

В те времена «незаконно(!)рожденных» детей записывали в податное сословие по имени крестного.

Так что отец все же сумел передать сыну истинные отчество и фамилию.

Максимилиан Николаевич родился в Тобольске в семье ссыльного повстанца. В его доме как реликвия сберегалась фамильная печать Кржижановских с изображением круглой башни и застывшего над ней полумесяца.

По семейным преданиям, которые Глеб слышал с тех пор, как научился понимать, дед Николай упрямо, наперекор «властям и порядкам» зимой и летом носил фуражку с красным околышем. Красный околыш был для него не только святым символом мятежной юности, но и вызовом и последней возможностью поверженного бойца хоть чем-то досадить тиранам, хоть как-то показать свою непокорность.

Отец с блеском окончил Казанский университет, мог легко сделать карьеру государственного чиновника, но оставил казенную службу. Почему он это сделал? Не потому ли, что не захотел служить «тиранам и тирании»?

Он слыл мастером на все руки. Любил возделывать землю, сеять овощи, цветы, травы. До сих пор, говорят, в Самаре живы яблони, им посаженные. Одно время он зарабатывал тем, что чинил швейные машины — чинил надежно, на совесть, быстро приобрел постоянную клиентуру. И вдруг стал мастерить из папье-маше геометрические фигуры, маскарадные маски... И уж вовсе непостижимо, почему он превратился в адвоката — начал выступать в судах. Но факт остается фактом: начал. И тоже удивительно быстро нажил не только недругов, но и приверженцев, почитателей.

Часами, бывало, Глебушок сидел на столе и следил, как отец шелестел бумагами. Однажды тот склеил кубики, написал на них буквы. По самодельным

папиным кубикам сын к четырем годам научился читать.

В доме часто появлялись незнакомые люди. Разные, не похожие друг на друга, они приезжали откуда-то издалека, часто повторяли слово «народ» и всегда говорили с отцом про какого-то Белинского да еще Чернышевского. Так что Глеб со временем привык думать, что эти два человека, должно быть, очень хорошие, очень добрые папины друзья. Да и как же иначе? Ведь папа вспоминал о них так тепло, так уважительно! Даже теплее и уважительнее, чем о дедушке.

Отец отдавал тем, приходившим, деньги. И когда мать сердилась, сетовала на судьбу, только улыбался:

— Не пекитесь об утре — утро само печется о вас.

Назиданием, напутствием в жизнь запомнился рассказ матери о том, как однажды отец принес домой тяжелую бухгалтерскую книгу — на каждой странице гербовые печати!

Он просидел над ней всю ночь, а утром вышел к завтраку торжествующий:

— Эврика!

— Что такое? В чем дело?

— Приходи в суд — увидишь...

В зале суда мама узнала, что скромного полкового писаря обвинили в подделке денежных документов. Ему грозило восемь лет каторги. Отец выяснил и доказал, что записи подделал не писарь, а господин полковой командир. Писаря оправдали, а полковника упекли.

Этот сенсационный процесс создал отцу популярность народного заступника. И, как ни печально, именно она его погубила: весной, в непролазную за-

волжскую распутицу, он поехал защищать далекую степную деревушку, где буйствовал своенравный барин. Телега провалилась под лед, затянувший ночью промоину на дне оврага, и...— сначала воспаление легких, потом скоротечная чахотка...

В четыре с половиной года Глеб узнал слезливо-обидное слово «сиротка».

Отчетливо, на всю жизнь, помнит он смятение, охватившее его, когда их с двухлетней сестренкой Тоней привели прощаться к смертному одру отца; неузнаваемо худое, серое лицо и огромные, все еще чего-то ждущие, что-то ищущие глаза. Потом, несколько позже, снова подвели к той же кровати, где лежал отец, но уже с закрытыми глазами. Глеб так заплакал, что пришлось его поскорее увести.

С тех пор он рос впечатлительным, отзывчивым на чужое горе. И единственной надеждой, единственным его утешением в этой не особенно-то милостивой жизни была мать. Всякий раз, когда она уходила куда-нибудь из дому, он мучился. Ему чудилось, что с ней вот-вот что-то случится. Каждая минута без нее тянулась нестерпимо долго. Ложась спать, Глеб истово молил боженьку:

— Если тебе надо наказать нас, то сделай так, чтобы кара обрушилась не на маму.

«Милый боженька» не слышал, должно быть, эти страстные призывы: львиная доля всех кар падала как раз на маму — то в виде неизбывной тоски и усталости, то болезни, то новых морщин на осунувшемся лице. Но все равно до сих пор она представляется сыну стройной и красивой. Большие-большие голубые глаза. Тяжелая золотая коса, венчающая голову, словно корона.

После смерти мужа с двумя детишками на руках ей пришлось возвращаться к родительским пенатам.

Оренбург поразил мальчика: песок на улицах — и по нему плывут караваны мерно покачивающихся верблюдов. Домá не такие, как в Самаре, а как в сказках (мама говорит: «восточный стиль»). Самый большой из них называется таинственно и прекрасно: «караван-сарай». Замечательна и речка Сакмарка с чистейшей водой в изумрудных берегах.

Понятно, Глеб и догадаться не мог, сколько унижений пришлось претерпеть маме в этом городе...

Дед, «надворный советник», выслал их всех — и маму, и Тоню, и Глеба — из барских апартаментов в каморку при кухне. Да и там не зажились: родители ничего не забыли, ничего не простили и решили во что бы то ни стало отправить опозорившую их дочь с глаз долой.

Сердце бабки не смягчилось даже, когда Глебушок, допущенный однажды к господскому столу, сверкнул «немыслимой» для своих лет «образованностью»: к собравшимся на званый обед гостям он вдруг ни с того, ни с сего обратил речь, пламенно живописавшую Куликовскую битву.

И — опять же! — с буйством огня крепче всего связан в памяти Оренбург: уезжали обратно в Самару, когда чудовищный пожар охватил почти весь город. Стоит сейчас Глебу Максимилиановичу закрыть глаза — и видятся мечущиеся кони, полыхающее зарево, зловещие багряные облака.

Старший брат посылал маме по двадцать рублей каждый месяц.

Двадцать рублей — на троих!..

Мать завела бакалейную лавочку. Жили они на окраине, по соседству с плацем, и покупателями были большей частью солдаты. Выслушав рассказ о

горькой солдатской судьбине, мама со вздохом открывала почти каждому из них кредит на таких льготных условиях, что через три месяца «коммерция» лопнула и все имущество пошло с молотка.

Потом она пыталась давать уроки немецкого языка, но репутация «невенчанной» мало способствовала приобретению выгодных учениц «из хороших домов». Тогда, наконец, пришлось «брать на квартиру» приезжих учеников — стирать на них, готовить обеды, и «доход» с этих «нахлебников» надолго стал основным для семьи. Словом, лучшие свои годы мать самоотверженно боролась с нуждой. Не фигурально, а в самом прямом смысле она перебивалась с хлеба на квас, чтобы вырастить сына и дочь, дать им образование.

Первый шаг по пути просвещения Глеб сделал в городской церковноприходской школе. И тогда же, очень рано, у него появилось желание чего-то нового, более интересного, чем жизнь самарских обывателей, стремление во что бы то ни стало выбраться из нужды.

«Пять», «пять», «пять»...— иных оценок он не знал. И в реальное училище его приняли, освободив от платы.

С тринадцати лет, продолжая учиться все так же усердно, он стал давать уроки своим сверстникам. На первую заработанную трешницу домой был принесен бисквитный торт с кремовыми розами — сестренке Тоне и белые лайковые перчатки — маме (так хотелось видеть ее руки ухоженными!). С тех пор его трудовые, «кровные» пятнадцать, а то и все двадцать рублей в месяц стали заметным подспорьем для семьи.

Летом «нахлебники» разъезжались по домам, а Глеб с мамой и Тоней перебирались «на подножный

корм» — в село Царевщину, верстах в тридцати от Самары, вверх по матушке по Волге.

Привольное, счастливое житье...

Царевщина раскинулась по широкому нагорью, обрывающемуся величественными ярами к Волге. Тут же, «слева» в нее впадает Сок — милая степная речка, кишащая пескарями, окунем, чехонью. А «справа», подальше, высятся Жигулевские ворота.

В той стороне за темно-голубым волнистым островом, поросшим тальником, подпирают небо горы — зеленые, с каменистыми осыпями «лысинами», с сосновыми борами, осиновыми чащобами — раздольем грибников, зарослями орешника и ежевики, с пещерами и остатками старинных укреплений. Если прищуришься, начинает казаться, будто видишь, как кто-то коварный и своенравный обрушил поперек воды черный завал, а вода прорезает его, рвется вперед, вперед искрится, ликует меж крутых берегов.

На дальнем, правом, берегу все тайна и загадка. Деревни, названия которых еще хранят память об удалых атаманах, о волжской вольнице. Там раздолье — легендарная Уса, текущая рядом с Волгой, но навстречу ей. Это чудо природы уже давно манит Глеба. Завидуя, представляет он, как молодые самарцы — чуть постарше его — отправляются в «кругосветку»... Спускаются на лодках по Волге до деревни Переволоки. Там от Волги до Усы рукой подать — версты три всего. Перевозят лодки на лошадях и опять плывут по течению, но уже другой реки. Входят в Волгу в ста верстах выше Самары и самоплавом возвращаются домой. При впадении Усы в Волгу стоит тот самый утес, что «диким мохом порос от подножья до самого края». Да, да! Там, как раз там гулял Стенька Разин. Там бросил он в пучину красавицу персидскую княжну.

«Скорее бы!.. Скорее бы вырасти, походить по земле, увидеть ее, узнать...»

Тянутся вверх по Волге громадины барки, караваны тяжелых барок — золотые россыпи пшеницы, горы набухших сладостью арбузов, штабеля рогожных кулей с воблой, вязигой, балыком, батареи бочек с каспийской селедкой и — покрупнее — с бакинским керосином. На барже-скотовозке астраханские быки ревут, споря с упрямцами буксирами, и громогласный гул их переклички катится общим эхом по натруженной водяной равнине. Плывут им навстречу плоты, беляны, осевшие под грузом досок, и ветер доносит до берега смоляной дух вятских боров, гомон пермских сплавщиков, перезвон ярославских лесопилок. Спешат белые пароходы с такими захватывающими, зовущими вперед именами: «Самолет», «Кавказ и Меркурий»...

Глеб любит подплывать к самым колесам, шлепающим по воде дубовыми плицами, и раскачиваться на волне: вверх-вниз, вверх-вниз, выше, еще выше, ввысь... Ввысь! Так же он любит зимой, когда волжская вода становится льдом, во весь дух гонять на коньках — куда захочешь.

Какое все-таки это дивное диво, чудное чудо — Волга! Не зря зовут ее матушкой!

А какое богатство кругом, какая сила, гордость во всей природе! И вообще... Как прекрасен мир!

Да, конечно, прекрасен, но почему так убоги люди — казалось бы, хозяева мира?

Почему дядя Миняй и дядя Степан и все мужики Царевщины работают столько, сколько светит солнце, а потом только скребут затылки, только и вздыхают:

— Как бы до нови хватило...

«До нови» — значит до нового урожая, Глеб хорошо это усвоил, но никак не может разобраться во

всем этом. Ведь бог дал людям столько земли, сотворил воду, а в ней поселил таких вкусных рыб. Да еще в лесах столько всяких зверей и птиц... Почему же люди постоянно боятся голода?

Почему на Бахиловой Поляне мордовские дети, старики и женщины слепнут от трахомы и никто их не лечит?

Почему бурлаки, которые еще не перевелись в здешних местах, или крючники на самарских пристанях целый день работают, как каторжники, как лошади, только за то, чтобы вечером наесться досыта, напиться домертва и уснуть на песке под опрокинутой лодкой? Как может бог спокойно смотреть на такую жизнь людей? Как может вообще допускать ее? Как все это согласуется с его милосердием?

Или еще... Взгляните! Что это за баржа словно крадется по Волге? Давеча вниз плыла, а теперь — вверх, и все с тем же, вернее, с таким же грузом... Не баржа, а пловучая клетка с глухой крышей. На крыше — солдат с ружьем. Штык сверкает в красноватых лучах заката. А из трюма — песня, похожая на стон:

Динь-дон, динь-дон,
Слышен звон кандальный...

Слышен.

Слышен! И Волге. И солнцу, тонущему за песчаной косой в том месте, где кончается золотисто-палевая, мягко мерцающая дорога. И Глебу.

Ясно, какой груз на барже... Но отчего и вверх по течению, и вниз, и во всех, видать, концах империи его в избытке? И отчего — в избытке?

Ответ на подобные вопросы появляется в образе курсистки Оли Федоровской, про которую говорят, что она «ходит в народ» и «плохо кончит»...

— Ты спрашиваешь, почему так живет наш народ?.. Потому, что земля не его. Леса не его. Волга не его.

Оля вздыхает, ворошит палочкой береговой песок, смотрит на баржу-клетку так, словно видит в ней свое неотвратимое будущее, и читает на память с излишней, как кажется Глебу, патетикой:

Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!

Глеб верит ей. Ему нравятся стихи. Но вместе с тем какое-то смутное сомнение тревожит его. «Воспеть страданья» — что-то в этом есть противное его натуре. Противоречие какое-то: «воспеть страданья»!.. Оля как будто даже упивается этим... Лучше бы избавиться от страданий, победить их!

«Христос терпел и нам велел»,— вспоминается мудрость, любезная сердцу батюшки-наставника в законе божьем. Очень, очень похоже на «воспеть страданья»... А учитель словесности читал на уроках стихи Пушкина, Лермонтова, Рылеева да того же Некрасова, которые меньше всего зовут к терпению...

Конечно, много, много страданий у народа. Но раз он «терпеньем изумляющий», то так тому и быть: страдай на здоровье до скончания веков. Нет. Тут что-то не так. Не так! Что-то не сходится. И народ наш не такой. Ты посмотри, Оля, как мужики тянут невод, избу рубят, на покос выходят. Сколько в них сноровистой решимости, удали, трудолюбивого усердия! А Гаврила? Гаврила Кузин... Как он встал с топором на пороге, когда становой пришел забирать корову? Даже пристав почувствовал, понял, что с Гаврилой шутки плохи. Вот тебе и «терпеньем изумляющий»!..

Нет, не так это просто — понять и определить одним словом, каков твой народ: кто он и зачем он. Но здесь, на великой его реке, особенно ясно и радостно чувствуется, что народ этот — не зауряд, что впереди у него что-то еще небывалое, значительное.

Трудно это выразить, но когда говоришь, а еще лучше, работаешь где-нибудь с «человеком из народа», тебе невольно передается его спокойная уверенность, его надежда на доброе будущее, не гаснущая несмотря ни на какие превратности судьбы и тяготы бытия меж крутых берегов российской действительности. Какая бездна в нем непочатой энергии и свежего чувства! Как он молод, даже если ему за шестьдесят. И еще: прошлое, вся история приучили к таким невзгодам, к такой невзыскательности, что все нипочем — все одолеет.

Так примерно чувствует, так понимает Глеб Кржижановский уже в пятнадцать лет. По-прежнему его волнует все окружающее: повадки жука-плавунца и вычисление расстояний до планет солнечной системы, химический состав булыжника и механика сооружения стальных мостов. Он учится жадно, неизменно одобряемый учителями, поощряемый господином инспектором и даже директором. Рассказы о необыкновенной любознательности и одаренности юноши ходят по городу, достигают самого господина Свербеева — самарского губернатора, покровителя наук, искусств и ремесел.

Глеба приглашают на торжественный обед. Придя раньше всех и ожидая за колонной, он видит, как в зале один за другим появляются те, кого до сих пор он видел только проносившимися мимо него в роскошных колясках.

Полицмейстер.

Предводитель дворянства.

Начальник первой и пока единственной железной дороги через Волгу, связывающей Россию с Уралом и Сибирью.

Вот об руку с красивой молодой дамой в бальном платье важно шествуют «Самарские паровые мельницы».

Вот «Лесопильные и кирпичные заводы».

А вот, облачившись в безукоризненный английский фрак, само «Жигулевское пиво»!

Наконец, все за столом: «Хлебная торговля», «Пароходная компания», «Чугунолитейное дело» и «Скотопромышленное общество», акцизный и откупщик.

— Господа! — поднимается губернатор после первых, вступительных тостов за благоденствие, процветание и первого, начального утоления.— Позвольте представить вам гордость нашего реального имени императора Александра Благословенного училища,— и выводит Глеба на середину.

Глеб одергивает китель — робеет перед собранием тузов, заботится больше всего, как бы вдруг они не узнали о его «незаконном» рождении.

Но:

— Смелей,— подбадривает губернатор, ласково тронув за плечо.

Одолев робость, Глеб становится в позу, картинно откидывает руку.

Собрание, должно быть, уже привыкшее к чудачествам просвещенного генерала, смотрит на очередного его «протеже» с благосклонным любопытством, но без особого интереса.

Не своим, подавленным голосом Глеб читает «Смерть крестьянина» из некрасовской поэмы «Мороз, Красный нос» и чувствует: не так, не то выходит, он сам по себе, а слушатели сами по себе.

Умолкает, вспомнив тетю Надю, и вдруг видит, ясно видит, как она кидается в огонь за Катькой.

И тогда он, Глеб, спешит следом за ней — вместе с ней, чтобы спасти людей, сделать их счастливыми:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,—

Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет — словно солнце осветит!
Посмотрит — рублем подарит!»

...И голод, и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна...
Я видывал, как она косит:
Что взмах — то готова копна!

...В игре ее конный не словит,
В беде не сробеет — спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!

Слушатели невольно откладывают вилки, отставляют бокалы.

А когда Глеб заканчивает, его превосходительство вздыхает:

— Вот видите, господа! Что я вам говорил? — и смахивает непрошеную слезу.

— Сколько чувства! Неподдельного, живого и глубокого чувства! Как будто я увидела эту женщину! — одобряет возбужденная вином красавица супруга мукомола.

— Еще, пожалуйста, еще! — просит знаменитейший российский пивовар.

Одобренный первым успехом, Глеб снова читает, снова Некрасова — «Дедушку». Особенно сильно зву-

чит у него то место, где дед-декабрист рассказывает внуку о горстке русских, сосланных в сибирскую пустыню. Волю да землю им дали. И глядь, через год уже деревня стоит: риги, сараи, амбары. В кузнице молот стучит... Жители хлеб собирают с прежде бесплодных долин.

Может быть, и его, Глеба, дед был не повстанцем, а декабристом?

Ему хочется, чтобы было так. И он уже верит в это. Вспоминает Царевщину, видит себя помогающим перегружать пойманную рыбу из дощаника, гребущим в паре с обветренным крепким крестьянским парнем Мишей наперекор штормовой волне, размахивающим цепом на гумне у вдовы тети Клаши, куда собралась, почитай, вся деревня:

Воля и труд человека
Дивные дивы творят!

Губернатор искренне расположен к юноше. И еще не раз Глебу приходится бывать в высшем обществе.

А время бежит. Глеб учится все так же, на совесть. С первых лет жизни он любит книгу и теперь буквально проглатывает все, что попадается под руку. По счастью, в «реалке» есть и такие учителя, которых одни уважительно, другие враждебно величают «шестидесятниками».

Эти люди, возмужавшие на революционных веяниях шестидесятых годов и ревниво сохранившие дух свободолюбия, мало-помалу знакомят реалистов с учением Чарлза Дарвина, помогают понять то, что написано — и не напечатано — у Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого. Словом, «богопротивные и недозволительные» мысли настигают молодого Кржижановского даже в стенах училища, нареченного высочайшим именем императора

Все это заставляет задуматься, по-иному присмотреться к окружающему, по-новому оценить его, что-то делать. Что? Пока самому неясно, но надо, надо что-то делать, когда все вокруг так несовершенно и люди живут так трудно. Надо вмешаться, помочь им.

Для начала Глеб возит из Самары в Царевщину сверточки, которые Ольга Федоровская передает с многозначительной улыбкой, как бы испытывает его:

— Кузине передадите... Подарок... От моих друзей...

— А кто эти друзья?

— Поживем — увидим...

Он не удивляется, когда один из свертков в пути нечаянно разрывается и там, под фирменной оберткой кондитерского магазина с Дворянской улицы, оказываются подметные письма с тревожащим, жирно выведенным обращением: «Братья крестьяне!».

Потом его не смущает, воспринимается как должное и предупреждение Ольги:

— Смотрите, Глеб Максимилианович, это не должно попасть в руки полиции. Ни в коем разе! За это — тюрьма.

А однажды, все в той же Царевщине, тихим летним вечером дядя Миняй учил Глеба ловить верховую рыбу на муху без поплавка. Поблизости от них, возле лодочной пристани, собрались парни, девушки, крестьяне постарше: июнь — румянец года, добрый, мягкий закат, дело перед сенокосом, когда можно позволить себе посидеть — отдохнуть, побалагурить вечерком.

Дядя Миняй подвязал к удочке Глеба леску, свитую из волоса, надерганного у той самой, единственной в селе, кобылы, которую отличал белый хвост. В последнее время хозяин не выпускал ее со двора,
 оберегая от непрерывных посягательств рыболовов,

главным образом мальчишек, но тщетно. Лошадь неотвратимо становилась бесхвостой.

Так вот... Сразу, с первого заброса, Глеб вытащил фунтовую чехонь, трепетавшую на леске всеми красками заката, и восторженно вскрикнул:

— Смотрите! Косырь!.. Как похожа на изогнутое лезвие! В самом деле косырь. Не зря люди зовут.

— Люди верно говорят, Максимилианыч! — Дядя Миняй вздохнул, покряхтывая, присел и стал нанизывать пойманную верховку-чубака на кукан из тальникового прутика.

Вдруг он отложил рыбу, отвел взгляд и спросил:

— А то верно ли сказывают, будто пятерых повесили в этой... как ее... в крепости, в Шлиссельбургской? Царя будто убить хотели?

Тут же — Глеб очень хорошо почувствовал и заметил — все сидевшие неподалеку на бревнышках, на перевернутых, приготовленных под смоление лодках перестали шевелиться и подпевать друг другу вполголоса, как-то напряженно затихли.

— Верно,— сказал он, должно быть, слишком громко, а возможно, просто эхо покатилось по воде, усилило голос.

— Вот душегубцы! — вырвалось у дяди Миняя.— Креста на их нету. Бога побоялись бы.

— А те, что вешали их? — запальчиво возразил Глеб.— Те не душегубы? Там был один, Александр Ульянов. Ему двадцать один год. Он мог стать крупным ученым. На суде вел себя как герой, отказался от защиты, чтобы высказать свои взгляды...—Торопясь, негодуя, повторил: — «Бога побоялись бы»! Где же он, их бог, тех, которые вешали? Если уж бог, то один для всех и за всех. Коли добро, так всем поровну. Закон всем одинаковый. Где их милосердие? Кресты где? Есть на них кресты или нет, на

вешателях?.. Те, пятеро, только хотели убить, а их — убили. У кого-то крест на шее, а у кого-то петля...

Он сам тут же поразился всему высказанному им. Удивился самому себе и долго не мог заснуть в тот вечер, стараясь разобраться в своей бессвязной речи, где страсть заменяла логику.

А действительно, кто же прав? Где истина? Бог-отец... Царь-отец... Народ-отец... Все путалось в голове.

Вскоре по приезде в Самару губернатор вновь приглашает реалиста Кржижановского. На этот раз встреча не в парадной зале, а в кабинете. И Глеб стоит, а Свербеев сидит в резном кресле из мореного дуба под громадным — до потолка — портретом его императорского величества.

— Что же это, друг мой? — с прежней лаской в голосе вздыхает Александр Дмитриевич и укоризненно склоняет седеющую голову.— Не успели окончить реальное училище и уже — извольте радоваться! — привлекаетесь к ответу... Жандармский полковник доносит, что вы внушаете крестьянам села Царевщина вольнодумство — непозволительное вольнодумство. Как же так, друг мой? Ай-ай-ай! Сейте разумное, доброе, вечное. Но где?.. Вот вопрос! Надо понимать: где, перед кем!!! Конечно, я знаю: Некрасов и все прочее... Я и сам в некотором роде... Но ведь, друг мой! Сказочки! Сказочки-с! Баба — та, что вы воспеваете, по праздникам напивается допьяна и лежит в грязи под забором. Ее каждую неделю сечь надо для пользы отечества. Иначе она не то что «в горящую избу...» — нас с вами спалит. И себя не пожалеет! Так-то, друг мой. Делу вашему я ходу не дам —ступайте с богом. Но не забывайте: перед вами с вашими способностями — карьера, а вы — сказочки. Сказочки-с! Да, да! Именем божьим прошу вас...

«Как же так? — думает Глеб, возвращаясь домой.— Это чтобы тетю Надю сечь? Чтобы о тете Наде так думать?.. А ведь губернатор хороший человек... Отчего же он так говорил? Не оттого ли, что у него своя правда, отдельная от правды тети Нади?.. Все знает, обо всем доложили. Какая гадость — следят, подслушивают. Шпионство, наушничество, предательство... И все именем божьим...»

Выходит, что же?.. Наверху — самарские воротилы, эти Курлины, Шихобаловы, Дунаевы,— зажиревшие купцы, отцы-губернаторы с их жандармерией и полицией — «удельное ведомство» царя-батюшки, предводители дворянства с лощеными прожившимися бездельниками-дворянчиками, смиренномудрые отцы — духовные наставники, внушающие неустанно, что весь смысл пятой заповеди — повиновение властям предержащим, и целый хвост прихлебателей. Внизу — горемычная беднота, перебивающаяся со дня на день неведомо чем, неведомо как, мама, вечно дрожащая за судьбу завтрашнего дня, беспризорная молодежь, задавленные непосильным трудом и нищенской платой рабочие, волжские бурлаки и босяки, наконец, обездоленный стонущий крестьянский мир.

Чтобы все это было, оставалось вечно, незыблемо, нужен бог, его заступничество и поддержка...

Чья боль отзывается в тебе, ранит сердце? С кем ты, Глеб Кржижановский, в каком лагере?

«В лагере»?..

Да, жизнь не званый вечер у губернатора. Жизнь сложна, трудна, безжалостна — течет, пробивается, как Волга, меж крутых берегов... И тебе придется так же... Ну и пусть. Оттого так и хороша, могуча, велика Волга, что нелегок ее путь к морю...

Значит, что же впереди — вражда? Борьба? Не-

примиримость? А бог? Бог велит всех любить, всех прощать, все терпеть.

Глеб свернул к берегу, миновал пристанские лабазы, остро пахнущие дегтем, воблой, свежим лыком. Остановился у самой кромки воды, обозначенной на песке смоляной полоской. Задумался, прислушиваясь к дыханию вечной реки. Потом оглянулся, расстегнул ворот форменной рубашки, потянул черный шелковый шнурок и с сердцем, наотмашь бросил серебряный крестик — дальше, как можно дальше от себя.

По свободно принятому решению

Жизнь все острее, все настойчивее спрашивает Глеба Кржижановского: кто ты? Зачем в этом мире?

— Надо ехать в Петербург,— вздыхает мама.— Только там ты сможешь получить настоящее образование.

— В Петербург? Легко сказать!

— Ничего, ужмемся как-нибудь, подкопим.

Пока Глеб заканчивает дополнительный, седьмой, класс, дающий право поступить в институт, мама «ужимается»: откладывает деньгу за деньгой. Как ей, сроду не накопившей ни гроша, удается это — наверно, даже бог не ведает.

Но...

Тысяча восемьсот восемьдесят девятый год... Со ста рублями, зашитыми в потайном кармане новых брюк, и без всяких надежд на какие-нибудь получения из Самары Глеб отправляется в столицу.

Питер... Петербург... Сколько связано с ним, с городом белых ночей и нескончаемого труда, воплотив-

шего гранит, кирпич, бронзу в дворцы, каналы, монументы. Город Ломоносова и Рылеева, Пушкина и Глинки, Менделеева и Достоевского... Окно в Европу, всероссийский университет, арсенал, мастерская... Город, где живут цари и где их время от времени убивают.

Здесь особенно чувствуется масштаб человеческих возможностей, и хочется — до чего ж хочется! — сделать свою жизнь яркой, значительной. Конкурсные экзамены Глеб Кржижановский выдержал так, что его трудную, неудобную фамилию сразу запомнили в Технологическом институте. А через полгода за исключительные успехи ему определили стипендию, так что дальнейшее существование стало более или менее обеспеченным.

На следующую осень мама просит его в письме: «Дорогой Глебушок! Береги свое здоровье... не ходи без калош и если не надеваешь теплое пальто, то хоть плед носи...»

А Глебушок... в тайном кружке «делает революцию».

Год, прожитый в Петербурге, убедил его, что «вне революционных путей нет выхода для честной перед собственным сознанием жизни».

«Честная перед собственным сознанием жизнь» Глеба Кржижановского течет как бы в двух руслах: революция и наука, если, впрочем, можно отделить одно от другого. Добросовестнейшее, наиприлежнейшее накопление всех богатств, какими может наделить Технологический институт — одно из высших учебных заведений России, гордость ее науки. Никакой бравады, никакого манкирования работой или учебой, никакого принесения одного в жертву другому.

В такой своеобразной вере укрепил его роман

«Что делать?». Особенно запало в память сказанное Чернышевским о Рахметове:

«При всей своей феноменальной занятости, он успевал необыкновенно много».

Глебу втайне очень бы хотелось отнести это и на свой счет. Конечно! Настоящий человек должен успевать все.

И Глеб успевает...

Студентом второго курса он участвует в «возмутительной» демонстрации на похоронах Николая Васильевича Шелгунова — писателя, ученого, сподвижника Герцена и Чернышевского, первого русского популяризатора книги Энгельса «Положение рабочего класса в Англии».

Вдохновенно, с неиссякаемым темпераментом молодой Кржижановский обличает, бичует на студенческих сходках «столпов» и «устои», чины и порядки — всем и всему достается. И опять, как в реальном училище, он глотает — другого слова не подберешь — глотает одну за другой книги, только теперь они все «запрещенные».

Мама пишет:

«Получил ли ты посылку: восемь фунтов халвы? Не забывай пить молоко и обязательно ешь досыта каждый день!..»

А Глеба, так же как и новых его товарищей, переполняет неопределенное, но властное стремление «сжечь корабли» — отрешиться от всего второстепенного, лишнего, порвать с той обыденщиной, которая вскормила большинство из них, собравшихся от городов и весей сюда, где Желябов, Каракозов, Кибальчич — не далекие, отвлеченные символы. Нет. Вон там, у Летнего сада, стоял Дмитрий, когда собирался выстрелить в царя. В той кондитерской завтракал. В этой библиотеке занимался...

«Дорогой Глебушок! Если сапоги прохудились, вышлю денег. Должно быть, немало приходится тебе ходить?..»

Что верно, то верно, ходить приходится немало — и за хлебом насущным, и в поисках истины: к ветшающим от времени, но как будто все еще отдающим порохом страницам «Современника» и «Отечественных записок» шестидесятых годов, к публицистическим статьям Михайловского и тяжеловесным проповедям Лаврова, прислушиваясь к канонаде, которая катится по Руси брошюрами и прокламациями плехановской группы «Освобождение труда».

Наконец, естественно и закономерно, как поворотная грань, как итог и новое начало, на пути Глеба Кржижановского возникает «Капитал». Тяжеленные книги эти притащил однажды в их тесную комнату, снятую на паях, земляк и коллега по институту Василий Старков.

С ходу принявшись за чтение, оба они тут же отступились: не по зубам премудрость — куда там?!

Неудача, однако, только распалила.

— Мы еще посмотрим...— обиженно грозил комуто Василий.

Глеб хорошо изучил Старкова: человек он был не особенно разговорчивый, но за словом у него тут же следовало дело. Так случилось и на этот раз. Назавтра же — кстати, было воскресенье, и нетрудно собраться компанией под предлогом чаепития или еще чего-нибудь «пития» — Старков привел товарищей-старшекурсников, умудренных в политической экономии. Почитали вместе, пошумели, покурили всласть несколько воскресений, а там, глядь, сами начали разбираться...

Просиживая долгие зимние вечера над «библией революционера», Глеб тверже ощущает почву под

ногами, зорче вглядывается в людей. Пусть они бьют кулаком в грудь, объявляя себя друзьями народа; теперь-то Глеб знает, как и его товарищи по кружку, что из человека, который не проштудировал два или, лучше, три раза главный Марксов труд, ничего путного не выйдет. Больше того! Знакомясь с людьми, он прежде всего должен узнать, как те относятся к Марксу. Уважение его и привязанность отданы не каким-то там неопределенным народолюбцам, а марксистам.

Все эти усердные занятия отнюдь не мешают ему довольно часто забираться на галерку в Александринке или в Мариинке, увлекаться катанием на коньках и еще кое-чем... С некоторых пор особое его внимание отдано слушательницам Высших женских курсов, все чаще приходящим в кружок,— «бестужевкам», а по правде признаться, одной из них — Невзоровой Зине.

В первом высшем учебном заведении, открытом для женщин России, Зина учится вместе с Надей, Олей, а потом и своей старшей сестрой Соней. Они собрались сюда из разных мест. Надя — коренная петербургская. Отец ее, поручик Константин Крупский, примкнул в свое время к польским революционерам, помогал восстанию. Оля — из уютного волжского города Симбирска, сестра Ульянова — того самого Александра Ульянова, что готовил покушение на царя и повешен в Шлиссельбурге. Соня и Зина — нижегородские, из всесильной когда-то, но пришедшей в упадок династии промышленников.

Их всех объединяет, пожалуй, даже роднит одно: высший идеал для каждой — служение народу, а образец женщины — Софья Перовская, мятежная дочь петербургского губернатора, ставшая революционеркой, казненная по приговору особого присутствия се-

ната третьего апреля тысяча восемьсот восемьдесят первого года вместе с Желябовым, Михайловым, Кибальчичем и Рысаковым за убийство Александра Второго.

Злые языки окрестили бестужевок «синими чулками», но напрасно. Честное слово, напрасно! Ни одна из них не лишена женского обаяния, девичьей трогательности, и ничто человеческое им не чуждо.

А Зина, по мнению Глеба, так та просто красавица. Красавица! Это про нее Некрасов написал: «румяна, стройна, величава...» Да, ни дать ни взять — некрасовская героиня, только в скромном, очень хорошо сшитом городском платье. Она чем-то напоминает Глебу маму — молодую, конечно. Пышновата, с дивной тяжелой косой, придающей голове горделивость, с острым и добрым взглядом, с небольшим, чуть надменным носом.

Вот она идет по набережной Невы. Пальто, подбитое лисьим мехом, упруго обтягивает крутые бедра. Глеб старается не смотреть на нее, но все время только и смотрит. Они возвращаются от рабочих Александровского завода, с которыми хотят подружиться.

Глеб останавливается возле Зины у парапета и вместе с ней задумчиво смотрит на неторопливые грузные волны, на холодные отблески вечерней зари в державном течении.

— Как мы терзали их «сюртуком» и «холстом» из первой главы «Капитала»!..— говорит он.

— И меня совесть мучает,— подхватывает Зина.— Слишком многого мы хотим. И сразу. А они не могут все это воспринимать так, как студенты. Нужен иной, гибкий подход.

— Толковал, толковал,— доверительно жалуется

Глеб.— А они, по глазам вижу, не то что глухи, но не задевает это их, не доходит, все мимо...

Оба молчат несколько мгновений, глядя в глаза друг друга.

— Глебася! Родной! — Зина прижимается к нему.— Мы будем счастливы? Будем?..

— Тысячу раз! Обязательно, непременно! Вот увидишь. Все мечты наши сбудутся. Все, все, чего ждем, будет. Верь мне. Верь! Ты веришь?

— Знаешь?..— произносит Зина, как будто рассеянно советуясь с собой, не слушая его.— Няня рассказывала про «деревянную железку», которую ищет удалой добрый молодец Иванушка-дурачок... Иногда мне кажется... Что, если мы?..

— Не надо. Ну к чему эти сомнения? Не надо, Зинуля. Ты вспомни, как смотрел на нас подрядчик. С какой ненавистью!.. Разве злоба врагов не порука тому, что мы на верном пути? Вот только бы уменья, уменья набраться... Ну? Чего нахмурилась? Ну! Улыбнись. Улыбнись, пожалуйста, я тебя прошу. Что такое?.. У тебя слезы. От ветра.

— Нет.

— Дай-ка вытру. Ну? Ну! Что ты?

— Олю жалко.

— Олю? Ульянову? Да-а...

— Эх, Глебася!.. Ты не знаешь, какой это был крупный, настоящий человек. Скромная, незаметная, на первый взгляд, а какая умница, одаренная от природы, с какой-то тихой сосредоточенной силой воли, с потрясающим упорством в достижении намеченного. Надо же! Немытое яблоко! Пошлейший брюшной тиф!.. Сколько бы она смогла, сколько бы сделала!.. В прошлом году приезжал ее брат Володя. Он экстерном сдавал государственный экзамен. Я видела его

 мельком у нее. Но Оля так высоко его ценила, так

много рассказывала о нем! И должно быть, по его советам работала. Она говорила, будто он очень быстро сходится с людьми — умеет сразу найти путь к сердцу. К нам бы его, открыл бы свой секрет.

И вот ноябрь следующего, девяносто третьего, года.

Хмурый вечер.

Неизбывный питерский дождь упрямо сеется, шелестит за единственным окном. Тесная, вытянутая комната на Васильевском острове, где живут Зина и Соня. Обстановка ее кажется Глебу суровой, чуть ли не аскетической: зеленый диван и две кровати. На диване за столом сидит молодой человек. Керосиновая лампа под жестяным абажуром освещает его большой крутой лоб, худощавое лицо с небольшой бородой. Перед ним тетрадь — реферат Германа Красина «О рынках»,— и он читает свои замечания на полях.

Глеб устроился напротив — на кровати, напряжен, как стрела, все замечания принимает на свой счет.

Рядом — Зина. Дальше, справа,— обманчиво спокойный Василий Старков, смоляная казацкая бородища Петра Запорожца и предлинная тень от нее на стене, белокурый Анатолий Ванеев, ни секунды не сидящий на месте Миша Сильвин — то и дело переходящий от одного товарища к другому, шепотом выражающий свое мнение.

А у печки, привалясь к ней и заложив руки за спину, стоит Герман Красин, признанный лидер этого марксистского кружка: невозмутимо греется, показывая всем, как мало задевает его то, что говорит приезжий.

В стороне на столике ворчит самовар. Стаканы, сахар, наколотый помельче, ситный и ржаной без ограничения, бери сколько хочешь — хозяйничает Соня.

Когда приезжий умолкает, Глеб вскакивает с места и выпаливает одним духом:

— «Друзья народа» говорят, что капитализм у нас развиваться не может, потому что крестьяне бедны и беднеют все больше...

— Для развития капитализма нет будто бы и внешних рынков,— подхватывает Зина.— Это главные козыри против нас, против марксизма в русских условиях.

— Наш товарищ,— Старков кивает на Германа,— взялся опровергнуть все это, а вы доказываете, что, по существу, он повторяет доводы народников. Как же так?

— Ка-ак? — басит, поддерживая его, Запорожец.

Красин решительно отталкивается от печки. Он поясняет, что хотел сказать,— поясняет глуховатым спокойным голосом, как само собой разумеющееся, вполне очевидное для всех, кому чужда предвзятость.

Глеб курит одну папиросу за другой — горячится. Вместе с ним Зина, Ванеев и Старков наседают на приезжего.

Тот слушает очень внимательно, не перебивая. Отодвинув стакан, ставит локоть на стол, подпирает кулаком крутую скулу, с интересом переводит острые, смеющиеся, пытливые глаза с одного оппонента на другого.

Но наконец:

— Позвольте не согласиться... Так вот...— начинает он не торопясь, покусав маленький толстый карандаш.— «Обеднение массы» — непременный аргумент народнических рассуждений о рынках. Герман

Борисович в своем реферате говорит, что оно не мешает развитию капитализма, что капитализм развивается как-то помимо него...

— Независимо от него,— поправляет Красин.

— Наоборот! Как раз наоборот! — приезжий повышает тон, но, тут же овладев собой, терпеливо поясняет: — Именно «обеднение» выражает само это развитие. Усиливает его. Потому что суть вовсе не в «обеднении» вообще, а в разложении крестьянства на буржуазию и пролетариат...

Глеб только сейчас как следует разглядел его, приезжего. Это о нем они говорили с Зиной на набережной. Это о его казненном брате Глеб рассказывал когда-то волжским рыбакам. Нет, не внешность заставляет остановить взгляд, насторожиться, присмотреться пристальнее. Кржижановский уловил, ощутил особенный волевой заряд этого человека, его интеллектуальную мощь. Она проявляется во всем: и в том, как приезжий, иронизируя, повышает свой звонкий баритон до несвойственных ему, должно быть, патетических интонаций — берет в кавычки ходячую мудрость народников, как, склонив голову и сердито сощурившись, нападает на политическую пошлость, как, приподнявшись, выбрасывает руки, точно истину тебе вышвыривает — прямо на стол:

— «Обедневший» крестьянин превращается в наемного рабочего. Он продает рабочую силу и покупает предметы потребления — те самые, что раньше производил! С другой стороны, средства производства, от которых он теперь «освобожден», собираются в руках немногих — становятся капиталом, а произведенный продукт — товаром, то есть предназначается для продажи... Что это, если не создание внутреннего рынка для развития капитализма? И если это не так, то почему массовое разорение крестьян после

реформы сопровождалось небывалым в России ростом производства — и сельскохозяйственного, и кустарного, и заводского?

Его убежденность и умение просто говорить о сложном располагают. Подкупает широта знаний. От него веет силой борца — непримиримого, находчивого и, почему-то Глебу хочется в это верить, удачливого. Да, да, именно так. Разве не в том удача всей жизни, чтобы еще в молодости найти свое призвание? А этот человек определенно уже нашел. Стоит только взглянуть на него, чтобы рассеялись сомнения на сей счет. Вон как вдохновенно подчиняет он тебя не чужим, не вычитанным, а своим, выношенным и выстраданным:

— Вопли о гибели нашей промышленности из-за недостатка рынков — не что иное, как маневр наших капиталистов, которые толкают правительство на путь колониальной политики. Нужна бездонная пропасть народнического утопизма и наивности, чтобы принимать эти крокодиловы слезы вполне окрепшей и успевшей уже зазнаться буржуазии — за доказательство «бессилия».

Словом, все идет так, как вскоре повторится еще не раз и в других политических кружках... В сугубо конспиративной комнате восседает властитель дум — «легальный марксист» или ученый народник. Вокруг него почтительно стоят и смотрят ему в рот студенты. Вдруг из толпы появляется дерзкий человек и становится в оппозицию к мыслям властителя дум.

Всеобщее движение. Негодующие взгляды в сторону смельчака. Все ждут скорой расправы Голиафа с Давидом.

Но что это?.. Давид, оказывается, не так прост. Его мысли отличаются удивительной глубиной. Его полемические стрелы попадают в самую точку. Ско-

рее, надо опасаться за печальный финал Голиафа, с которого спесь уже как рукой сняло.

Мало-помалу аудитория разделяется: одни невесело теснятся около испытанного вождя, другие тянутся к дерзкому пришельцу, жадно внимая его словам и награждая аплодисментами его полемические выпады.

Среди этих «других» оказались и Глеб, и Зина, и почти все из их кружка.

Замелькали зимние дни, побежали месяцы, до предела заполненные учебой и новой работой — вместе с приезжим.

Совместная работа, как ничто, сближает, помогает понять друг друга. За обнаженный лоб и богатую эрудицию Владимиру Ульянову пришлось поплатиться кличкой «Старик», резко противоречившей его юношеской подвижности и неиссякаемой энергии. Со временем все больше привлекало в нем Глеба Кржижановского постоянное душевное горение, равносильное всегдашней готовности к подвигу.

Быть может, это шло от семейной трагедии — от памяти о старшем брате Александре — и накрепко связывало Владимира с традициями русской революционной борьбы. Однако Глебу еще больше нравилось его умение владеть оружием Маркса, глубокое знание современной жизни. Его фантастическая работоспособность поражала, заставляла идти за ним. Без всякого нажима с его стороны, как-то естественно, само собой он стал главой их марксистской группы.

Однажды, уже весной, Глеб уличил себя в том, что чувство особой полноты жизни он испытывает только рядом со «Стариком».

Вместе они дерутся с народниками.

Вместе подбирают самых развитых, смекалистых рабочих в марксистские кружки.

Вместе «открывают им глаза» и идут дальше — «в массу».

На словах это выглядит просто: переход от пропаганды к агитации. Но попробуйте втолковать истину неграмотному человеку, работающему по тринадцать часов в день и свято верящему, что царь-батюшка — добрый, хороший, что Евстигней Прокофьевич — душа-хозяин, а вот мастер Илья Климентьевич и управляющий Карл Карлович — так те, да! — попробуйте внушить ему...

Не сразу, не вдруг это удается. Не однажды еще Глеб натолкнется на стену непонимания, даже будет изгнан теми, чье освобождение и счастье — цель его жизни. Не раз, осыпаемый насмешками врагов, рискуя собственной судьбой, он стиснет зубы, сожмет кулаки и вернется, чтобы опять взяться за дело — чтобы делать дело!

И хотя совсем-совсем неблизким станет казаться теперь то светлое будущее, которое уже виделось рядом, когда в тесном студенческом кружке читали пророческие строки Маркса о социализме, все равно Глеб Кржижановский будет приближать его, добывать «простой черной» работой: учить и учиться, узнавать, чему рады люди труда и нужды, о чем жалеют, чего хотят.

Володя Ульянов заметит, что Глеб нос повесил, расспросит, шутливо, но участливо повздыхает, взбодрит, припомнив любимое изречение Дантона:

— Смелость, смелость и еще раз смелость!

И опять Глеб с новой решимостью отправится на Путиловский завод — кропотливо, терпеливо «сближаться», объяснять, втолковывать.

Так это делает сам «Старик». Не успеешь оглянуться, он уже как будто бы затерялся среди рабочих. Но важна не видимость, важен результат. Ведь в конце концов штраф, который в начале занятия был только целковым, удержанным из получки Семена Ивановича Петелина, теперь оборачивается против царя, открывает несправедливый — каждому ясно! — порядок «всей нашей жизни».

Так в первых рабочих кружках Питера вместе с Владимиром Ульяновым действует и Глеб Кржижановский. Отдает все, что у него есть, все, что может, нелегкому делу. Потом это назовут внесением социалистического сознания в рабочий класс, соединением рабочего движения с социализмом, а пока:

— Смелость, смелость и еще раз смелость! Работа, работа и еще раз работа.

Несмотря на то что она берет уйму сил и времени, в положенный день Глеб заканчивает институт. Заканчивает не как-нибудь, не «лишь бы». Его имя золотыми буквами высекают на мраморной доске.

Директор приглашает его в свой кабинет, усаживает в кресло, обращается по имени — отчеству, уважительно и ласково:

— Перед вами путь к истинной учености, в нашу великую науку. Мы будем рады оставить вас при кафедре — совершенствуйтесь, дерзайте. И я уверен, я убежден, что вскоре мы сможем поздравить вас с достижением и победой — так же, как теперь поздравляем Классона. Всего тремя годами раньше вас, в девяносто первом, он окончил институт, а уже...

«Классон...— настораживается Глеб и вспоминает: — Роберт Эдуардович Классон... Как же не знать? Наш видный питерский марксист, пути ученого в его жизни скрестились с путями революцио-

нера. Но, кажется, он делает выбор не в пользу последних...»

Да, действительно, еще во время Международной электротехнической выставки Классон забросил все и вся — потонул в работе на строительстве линии трехфазного тока от Лауфенского водопада к Франкфурту-на-Майне. Еще бы! Первая в истории электропередача на такое дальнее расстояние!.. Вернулся освещенный славой своего патрона Доливо-Добровольского, этого «русского Эдисона» на службе у «Всеобщей компании электричества». И потом, казалось, все пошло по-прежнему. Ведь совсем недавно, минувшей масленицей, в просторной квартире инженера Классона, слывшей политическим салоном, собирались якобы на блины революционеры-марксисты и как раз там «Старик» познакомился с Надей.

Правда, уже тогда наметились разногласия Ульянова с Классоном, который хочет сочетать марксизм с культурным капитализмом. И как видно, споры их были не случайны. Все реже встречи Роберта Эдуардовича с революционными марксистами, все больше у него поводов не прийти, отказаться от поручения. Конечно, сооружение первой в России гидроэлектростанции трехфазного тока на Охтинских пороховых заводах, которым он теперь поглощен,— дело далеко не шуточное.

Но...

— Что же вы молчите, Глеб Максимилианович? — напоминает директор института и торопит: — Ответьте что-нибудь на мое предложение.

— Благодарю вас. Сердечно благодарю! Но... К сожалению, я должен принять предложение Нижегородского земства.

— Земства?! Сомневаюсь, чтоб они могли вам га-

рантировать хоть сколько-ннбудь прнличиое жалованье.

— Жалованье?.. Ах, да! Жалованье... Что вы! Какое там жалованье у земского техинка?

— Техника?! Вы едете в земство, да еще техником!.. Вы с ума сошли. Не губнте себя. Подумайте.

Что тут скажешь?

Конечно, заманчиво остаться прн кафедре — заняться Наукой с большой буквы. Но ие объяснять же господнну директору, даже и благоволящему к тебе, что ты — профессиональный революциоиер, что Ульянов посоветовал ухватиться за предложеиие земства н осиовательно изучить кустарные промыслы, а значит, жизнь крестьянства. Эта работа должиа помочь иащупать путн к соединенню рабочнх н крестьяи, а стало быть, и к успеху «иашего общего дела».

И вот уже полгода он на совесть трудится в Нижнем Новгороде, потом по зову «Старика» возвращается в Пнтер, занимает скромное место химика в лабораторнн Алексаидровского завода.

За Невской заставой Шлиссельбургскнй тракт какой-то уж вовсе неуютный, серый. Суетливый паровичок посвистывает, отдувается, стелет клубы дыма по истоптанной, прокопченной земле.

В сумраке, пропахшем гарью, в отсветах печей-вагранок могучие бородачн выбивают нз неподъемных опок отливку за отлнвкой. Только белые глаза сверкают, остальное все чериым-черио от пыли, копоти, окалнны: и лица, и пожженные робы, н руки.

Образец за образцом несут в лабораторию: еще аналнз, еще...— на содержаине серы и фосфора в выплавленной стали, на усадку ее, на излом, на удар.

Поглядн хоть на одного лаборанта, хоть на другого — молодцы, ладные, сноровистые, грех обижать-

ся. Служаки усердные, для хозяев,— что Кржижановский, что Бабушкин. Мастера и знатоки. Да к тому же еще не нравничают, не фордыбачат — подчиняются беспрекословно и главному инженеру, и начальнику завода, и — кому там еще? — ну, всем, кому следует.

Подчиняются?..

Да, конечно, так-то оно так... Но по чьим планам действуют?

Александровский завод облюбован не случайно. Ульянов поделил весь Петербург на районы, и здешний, Невский, «отведен» Глебу — на нем лежит его «революционное обслуживание».

В тесной лаборатории широкое окно. Оно выходит в глухой проулок. Под окном прохаживается Зина. Еле заметный кивок, мимолетная встреча «кавалера» с «барышней», обмен ничего не значащими фразами — и самые свежие данные о злоупотреблениях мастеров, нарушениях закона, сбавках платы отправлены к Ильичу, для «художественной обработки».

Вскоре самодельные листовки — эти «возмутительные подметные листки, неизвестно кем изготовленные, неизвестно как и неизвестно откуда во множестве появляются на заводе». Их передают из рук в руки, читают, перечитывают. Не потому, понятно, что в них что-то новое, необычное, нет. Всем и прежде ведомо, о чем там речь. Но одно дело — ведомо, иное, совсем иное — напечатано. Да как! Все имена, все прозвища прописаны, дни, часы, размеры штрафа — ну все, все точно указано, не придерешься, не подкопаешься...

Глядите, какой шум поднялся, какая заваруха! Сам инспектор фабричный пожаловал. Начато расследование. Полицейские шныряют — ведут с прист-



растием дознание. Всюду, куда ни глянешь, во всех цехах возбуждение, споры, пересуды:

— Ловко продернули! Не в бровь, а в глаз.

— Есть, стало быть, люди — за нашего брата стоят.

— Не одни мы.

Только химики в заводской лаборатории — вот ведь старатели! — только они знай ладят свои анализы, и ничто вокруг никак, ну просто никак их не касается.

В отличие от плехановской группы «Освобождение труда» ульяновская будет названа энергичнее и прямее: «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

Чем он занимается?

Чтобы узнать это, лучше всего заглянуть в отношение директора департамента полиции начальнику петербургских жандармов.

Сей документ чужд фантазии, опирается только на факты, добросовестно и во множестве доставленные наблюдателями-профессионалами. В нем очень обстоятельно и толково описано, как с некоторых пор довольно безобидные марксистские кружки Питера по чьей-то воле собрались в социал-демократическую организацию — соединение интеллигентов-революционеров и рабочих. Централизм и строжайшая дисциплина — основа организации. Во главе ее группа из семнадцати человек, и пятеро из них руководят всей текущей работой — Ульянов, Мартов, Кржижановский, Старков, Ванеев.

Их листовки, несмотря на примитивную гектографическую форму, весьма заметно распространяются в стенах главнейших фабрик и заводов столицы. В сих подметных листках, хотя и говорится о частных нуждах рабочих данной конкретной фабрики,

но неизменно делаются далеко идущие политические выводы — доказывается враждебность для пролетария всех существующих установлений и как первопричина бедственного положения рабочих называется власть его императорского величества.

Устраиваются сходки, маевки, стачки.

Владимир Ульянов, ездивший недавно за границу якобы для лечения, установил контакт с эмигрантской группой «Освобождение труда».

Равно установлены связи с марксистскими кружками в Москве, Киеве, Вильно, Нижнем Новгороде, Самаре, Саратове, Орехово-Зуеве, Ярославле, Орле, Твери, Владимире, Иваново-Вознесенске, Минске... Поименованная организация становится (если уже не стала) основой революционной пролетарской партии в России...

Такая осведомленность департамента полиции, понятно, приводит к тому, что вскоре и Ульянов, и Глеб, и многие, многие их товарищи перебираются в другой дом, на Шпалерной улице — на казенные квартиры.

Глухая ночь с восьмого на девятое декабря девяносто пятого года. Скрипучая пролетка. Здоровяк пристав едва втискивается в пролетку рядом с Глебом, так что конвойному жандарму приходится ютиться у их ног. Но даже на стылом, пропитанном сыростью Балтики ветру так и прет на тебя сапожным дегтем, намокшими ремнями, ядреным потом.

Разговоры самые прозаические: о каком-то Романенке, выигравшем в дурака — в подкидного дурака, не во что-нибудь! — двадцать шесть целковых. Об антоновке, которая «в самый раз» к рождеству в капусте уквасится. О том, что надо бы гуся купить загодя, «как только мороз вдарит», а то ближе к празднику подорожает, и не подступишься. Даже не смо-

трят на Глеба — не то, чтобы думать о нем. Это — самое страшное: обыденность, обыкновенность его драмы. Для них все это привычная работа, как у прозектора в анатомическом театре, как у могильщиков на кладбище.

Тихо вокруг. Не мерцают окна. Спят люди. Не слышно и цокота копыт по мостовой: где-то в мозглой тьме исчезла пролетка, умчавшая Васю Старкова...

Лязгает засов. Кованые ворота скрежещут и затворяются. Сырая темень проглатывает Глеба.

Потом в свете засиженных лампочек — лестницы, ряды железных клеток — без конца.

Как холодно, как неприютно в трюме этого корабля, плывущего невесть куда по чьей-то злой прихоти!

Наконец, вот она — «твоя»! — одиночная камера...

Раз, два, три, четыре, пять шагов в длину. Три в ширину. Маленькое, но предельно поднятое, словно вздернутое, окошко. Дверь с форточкой, в которую смотрит надзиратель. Над форточкой глазок — недреманное око. Справа лист железа. Что это? Откидной стол? Откидной стул? Откидная кровать? В белесом потолке одиноко мерцает крохотная лампочка.

Все предусмотрено. Все продумано без тебя — за тебя. Все настаивает: покорись, не перечь, сдайся.

Да-а... Легко отмахнуться от этого, преодолеть это, когда рассуждаешь не здесь... Анатолий Ванеев увезет отсюда туберкулез, который прикончит его в сибирской ссылке. Петр Запорожец заболеет неизлечимой формой мании преследования — сойдет с ума, умрет в психиатрической больнице.

Не так угнетает Глеба скованность, ограниченность, как томит безделье. Деятельный и живой, он

не знает, куда себя девать, и не в силах это претерпеть.

Он пытается сдерживаться, как-то бороться с этим, но ничто не помогает: отчаяние подавляет его. Подавляет и когда он, ничего не признав, никого не выдав, ведет долгие, отнюдь не душеспасительные беседы с важным именитым чиновником — с самим Кичиным, усердно внушающим, что «нам известно все, карта ваша бита, единственный путь к спасению — чистосердечное признание...» И когда остается в обществе своего неизменного провожатого — молодого любезного офицера, всем видом как бы упрекающего:

«Ведь ты — мой ровесник... Курил бы свои — собственные, а не мои сигары, сверкал бы свежевыбритыми щеками, благоухал острыми духами. Лицо твое было бы слегка припухшим не от того, что промаялся всю ночь на тюремной подушке, а прогулял, прокутил до зари в обществе очаровательных дам... Ну зачем тебе все это? Поприще народного заступника, Сибирь, чахотка, нужда? Заче-ем?!»

Очень, очень худо бывает, даже если, слегка подтянувшись за кольцо фрамуги, украдкой от надзирателей смотреть на мир божий. Внизу, под тобой, словно в другом измерении, в искаженном, неестественном свете — забор, башенка, часовой. И голуби, голуби — шуршат над узниками, вытаптывающими черное кольцо в свежем снегу, садятся на карнизы окон, привычно требуют свою долю казенных харчей.

Под утро, как всегда, не спится.

Глеб ворочается, прислушивается к скрипучему дыханию тюрьмы. Чу! Кто-то кашлянул... Ругается — должно быть, во сне... А это? Где это? Далеко где-то — уголовные поют.

Спаси, господи...

Брезжит в окне.

Из-за двери сочится «чижолый», настойный людской дух, смешанный с сытным запахом упревшей похлебки.

Шарканье сапог по коридору.

И опять:

Спаси, господи...
Спаси...
Спаси...

«Гимн сдавшихся рабов»,— называла это Зина.

Зина! Вот главное! Вот, о ком думать. Но что с ней? Арестована вместе со всеми? Уцелела? Спаслась?..

«Не знаю. И не могу знать. Не мо-гу!.. Не могу! Зина! Зина! Если б ты!.. Зина!.. Мама!..»

Какой-то яростный грохот вдруг прерывает мысли. Глеб вскакивает, прислушиваясь. Мимо камеры жандармы волокут что-то тяжелое, должно быть, ящик, ругаются:

— Опять тому, в сто девяносто третью?

— Ему!

— Да что он их, жрет, что ли, книги эти?..

«В сто девяносто третью? — насторожившись, прикидывает Глеб.— Кто там? Там же «Старик». Стой, стой, стой...»

— Чего стучите? В карцер захотели?

— Господин надзиратель! Мне бы в библиотеку...

По тюремному телеграфу Кржижановский предупреждает товарища, а потом заказывает в библиотеке те самые книги, которые вернул Ульянов. Нехитрый ключ к нехитрому шифру — и отмеченные точками буквы складываются в слова:

«Дорогой друг! День, потерянный для работы, никогда не повторится. Смелость, смелость и еще раз смелость!»

Разительна, просто разительна, а сейчас — здесь! — и неожиданна его деловитость. Кто бы и чем бы ни грозил этому человеку, он не уступит.

Ни дня даром! Ни часа. Ни минуты.

Даже болезнь свою он поставил на пользу делу: недавно, еще «на воле», перенес воспаление легких и под этим предлогом вырвался за границу — «подлечиться». А сам отправился к Плеханову, Аксельроду, Засулич — присмотрел в «модных Европах» не сувениры, не парижские обновки, а новейший мимеограф — для печатания листовок и провез его через таможню в чемодане с двойным дном.

Даже тюрьму он хочет превратить в университет для себя и товарищей.

Книги, книги...

Сказать бы о них с той же силой, с какой Тургенев написал стихотворение в прозе «Русский язык»!: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий,— вы одни мне поддержка и опора, о великие, могучие, правдивые и свободные книги!» Благодаря вам четырнадцать месяцев, проведенные в стенах печально прославленной петербургской «предварилки», стали месяцами борьбы, труда и победы.

Да, именно победы. Сначала над собой, когда заставил себя регулярно — обязательно регулярно! — как «Старик», работать. Постепенно вошел во вкус, втянулся: учиться никогда не поздно, никогда нелишне.

— Свиданье вам! — испугав, гаркнул в отворенную форточку надзиратель.— Пожалуйте за мной.

Сердце забилось, кровь застучала в висках: «Свиданье! Свиданье! Свиданье!»

С кем?

Пустой вопрос! Ну конечно, родная, это ты! Значит, ты на свободе.

На свободе!..

Бдительный страж тяжело пыхтит за спиной, отдувается, покрякивает оттого, что новые сапоги, должно быть, жмут ему, и посвистывает на всем пути по тюремным коридорам, которые кажутся Глебу невыносимо длинными — гораздо длиннее, томительнее, чем прежде. Посвистывает, чтобы другие конвоиры слышали, и опасный государственный преступник — упаси бог! — не встретился бы с кем-нибудь из его сообщников, арестованных по тому же делу и находящихся под следствием.

Наконец, щелкает ключ: Глеб в клетке. Оглядывается — в другой клетке, напротив, Зина.

Побледнела, исхудала, но по-прежнему — по-прежнему, черт возьми! — самая, самая...

По праву невесты она добилась свидания.

«Свидания»... Через две решетки!

Она пришла поддержать его, приготовилась к встрече, повторяла наверняка не раз ободряющие, ласковые слова. Но увидела своего «Глебасю» и не выдержала.

Много страшного успел он уже повидать здесь, но этот взгляд любимой, обращенный к нему, этот взгляд на всю жизнь остался в памяти. В нем было и отражение того, как он плохо выглядит, как измотан, постарел. И то, что ей боязно смотреть на него. И что при этом она невольно опасается за свою судьбу — приходит в отчаяние. И еще многое, многое... Попробуй описать все, что может высказать один взгляд, а тем более взгляд женщины.

Глебу надо было собрать все силы и волю, чтобы улыбнуться непринужденно, сказать как ни в чем не бывало:

— Мне здесь хорошо. Ничего не надо. Не волнуйся. Береги себя...— И еще и еще в том же роде,

когда сами по себе слова мало что выражают и гораздо важнее, как они произнесены.

Ну вот! Она улыбается ему в ответ. Повторяет те же — ничего не значащие — слова, но глаза, глаза говорят:

«Прости мне минутную слабость. Не будет жалостливой слезливой сцены встречи бедных влюбленных, которую так ждут от нас, так хотят видеть. Будет — и здесь будет! — как было: поделенная радость — две радости, поделенное горе — полгоря. Только так. Ведь мы вместе. Вместе, несмотря ни на что».

— Ни слова о делах,— напоминает жандарм.— Избегайте фамилий, иначе свидание будет прекращено.

— Можно и так.

— Пожалуйста.

Начинается пустяшный — зряшный из зряшных — разговор о ловле сусликов, о сборе земляники, о прогулках к памятнику Минина и путешествиях на Гуцульщину.

Такой пустяшный и скучный разговор, что жандарм, только что с интересом оглядывавший Зину, начинает клевать носом, едва не засыпает, сидя на стуле, через силу поднимается.

Если б он знал, что «Суслик» — это кличка Глеба, «Земляника» — Василий Старков, «Минин» — Ванеев, а «Гуцул» — Запорожец!

Вскоре после свидания с одной из передач — письмо от матери. В нем не только привет, не только тревожные заботы о здоровье, о теплом белье и шерстяных носках для Глебушка... Удалось сделать главное: обусловлен шифр, установлены правила конспирации, порядок передачи сигналов туда и оттуда.

 В общем, связь с волей постепенно налажена — от-

сюда, из тюрьмы, через Глеба и остальных товарищей «Старик» продолжает руководить «Союзом борьбы».

Снова книги... Вот получен из библиотеки томик Пушкина, только что возвращенный Ульяновым.

Отвернувшись от «волчка», Глеб начинает «читать» — собирает в слова едва заметно помеченные буквы: передать то-то и то-то, узнать там-то и там-то. Конкретные требования, просьбы, советы. И под конец: «Держись, дорогой друг!»

А дальше — что такое? — сплошные точки под строками:

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Да, прав, тысячу раз прав поэт. Посев, сделанный «Союзом борьбы» на питерской ниве, уже дает густые всходы...

В декабре девяносто пятого Иван Васильевич Бабушкин, избежавший участи товарищей, пишет и пускает по заводам листовку «Что такое социалист и государственный преступник» — по поводу ареста руководителей «Союза борьбы». Опровергая и высмеивая обвинения официальной пропаганды, Бабушкин доказывает, кто истинные враги, кто друзья рабочего класса, и подписывается весьма символически, особенно для тех времен: «Ваш товарищ рабочий».

Через месяц и он был арестован, но дело не заглохло. Ведь пока еще не арестованы Михаил Сильвин, Надежда Крупская, Фридрих Ленгник, Зинаида Невзорова и некоторые другие...

В мае девяносто шестого всю Россию охватила праздничная горячка по случаю торжественной коронации Николая Второго, затем потрясла трагедия московской Ходынки и забастовка питерских тек-

стильщиков. Три дня фабрики и заводы были закрыты — по случаю «священной» коронации. Когда же рабочие потребовали оплатить им прогульные дни, хозяева возмутились:

— Что за наглость? Не хотят участвовать в нашем общенациональном празднестве! Да это же... подрыв самых основ.

Тут-то и проявил себя «Союз борьбы», поредевший, немногочисленный, но сильный марксовой правдой, направляемый рукой «Старика». Под воздействием этих «революционных дрожжей» рабочие решили не отступать от своих требований.

Сперва забастовали на Российской бумагопрядильной мануфактуре, потом и на других фабриках.

Молодые марксисты стремились «войти в самую гущу взбудораженной массы», стать к ней как можно ближе, жить одной с ней жизнью. Особенно старался Ленгник. Зина помнит, как Фридрих надевал рабочую рубаху, для пущей убедительности мазал лицо сажей и спешил на очередной митинг.

К середине июля он был одним из немногих уцелевших на свободе руководителей «Союза борьбы». Рвался на части, но, как всегда, встречал товарищей подтянутый и строгий, этот молодой человек с красиво расчесанными усами и густой бородой. Он поспевал всюду и за всех.

Вместе с Михаилом Сильвиным они даже собрали в лесу неподалеку от станции Парголово нечто вроде съезда рабочих вожаков Питера. Обсудили ход стачки, обдумали, как действовать дальше, а потом Ленгник рассказал о Международном товариществе рабочих — Интернационале и предложил дать мандат на Международный социалистический конгресс в Лондоне от питерского пролетариата плехановской группе «Освобождение труда».

Летом девяносто шестого года — первый раз в истории России — бастовали тридцать тысяч столичных текстильщиков. Их поддержали металлисты. Стачки перекинулись в Москву и другие промышленные города, произвели впечатление в рабочей Европе.

Потом Зина рассказывала обо всем этом Глебу так:

— Все силы явной и тайной полиции были поставлены на ноги. Мы работали, как в лихорадке. Листки выпускались за листками и жадно, как никогда, разбирались рабочими. Каждый из нас дрался не только за себя, но и за тебя — за арестованного товарища... Каждый, мне кажется, оправдывал или, во всяком случае, старался оправдать крылатые слова «Старика»: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами...»

Гордо и смело

И опять был декабрь, и рождество, и Новый год...

Опять индевело окно все той же одиночки в крещенские, а потом в сретенские морозы.

Только февраль наконец принес приговор: на три года в Восточную Сибирь, высылка по этапу.

«Этап»!..

В былые, не столь уж отдаленные, времена устав об этапах в сибирских губерниях учреждал на сем горестном пути шестьдесят один перегон. Сотня арестантов, скованных по рукам и ногам канда-

лами да еще друг с другом цепями — по три пары вместе, брела и брела: лето и зиму, весну и осень — полтора, а то и два года!

Там, на этапе, рожали, там и умирали...

Ныне «эпоха цивилизации и гуманизма» — порядки помягче. К тому же прокладывается железнодорожный путь через всю Сибирь к Тихому океану. Правда, не всюду еще готовы мосты, но для передвижения арестантов используют где поезд, где пароход, где лошадей.

Но все же. Все же путешествие из Петербурга в Красноярск не своей волею остается тем же — пять тысяч верст от тюрьмы до тюрьмы в компании уголовников.

Передают, что Владимир Ульянов так вошел в работу над своей книгой, которая станет знаменитым «Развитием капитализма в России» — завершающим, разящим ударом, нокаутом российскому народничеству,— говорят, будто он так увлекся, что, когда объявили приговор, невольно посетовал:

— Рано... Я не успел еще весь материал собрать.

Перед самой отправкой в ссылку приговоренных по делу «о социал-демократическом сообществе» выпустили на свободу — три дня передохнуть перед нелегкой дорогой. Встретились как старые, бог весть сколько лет, сколько зим не видавшие друг друга товарищи. Но радость быстро померкла: Зина в тюрьме. И Надежда Крупская там же. И Ленгник не избежал общей участи.

Да и вообще, если вдуматься, какая насмешка — эта свобода на три дня! Лучше бы вовсе не выпускали, а так... Словно объявили человеку: «Сегодня погуляешь, а завтра мы тебя убьем».

Не милы Глебу Кржижановскому ни шумные улицы города, который он так любил, ни февраль-

ское, чуть подобревшее солнце, ни встречи с родными.

Собрались всемером — Ульянов, Кржижановский, Ванеев, Старков, Мартов, Запорожец, Малченко,— сфотографировались на память.

Кто знает, что их ждет впереди, какие судьбы уготованы каждому? Как сложатся их дальнейшие взаимоотношения, будет ли память друг о друге такой же доброй, как теперь? Одно можно сказать определенно: всем придется нелегко, всех впереди ждет труд, снова труд.

Большая, упрямая работа, начатая в тюрьме по примеру Ильича, не заканчивается для Глеба и в ссылке. Наоборот, уже на этапе, рядом с людьми, она разворачивается в полную силу. По дороге из Питера в Москву он начинает довольно успешно «обращать в свою веру» народника Пантелеймона Николаевича Лепешинского, человека способного, сильного.

В Часовой башне Бутырской тюрьмы Глеб Максимилианович вместе с товарищами по «Союзу борьбы». Здесь же, в общей камере московской «пересылки», Лепешинский, польские рабочие и их вожаки социал-демократы Петкевич, Абрамович, Стрежецкий...

В ожидании следующего этапа идут нескончаемые разговоры. То и дело возникают принципиальные споры. Поляки поют свою любимую «Варшавянку». Красивый, поднимающий настроение мотив, да вот беда, русские не понимают почти ни слова: где уж подпевать?..

Глеб с трудом разбирает только припев:

Вперед, Варшава!
На бой кровавый,

Святой и правый.
Марш, марш, Варшава!

— Нет, не так надо петь! — вдруг прерывает он товарищей.

— Что значит «не так»? — Петкевич смотрит на него с изумлением и обидой.

— Что это за Варшава? — Глеб энергично расхаживает по камере, вместо ответа как бы советуется сам с собой, развивает свою мысль: — Чья Варшава? Пана кондитера или пана колбасника? А может, пани гризетки и пана магната? «На бой кровавый, святой и правый» — вот это хорошо. Но надо вынести это вперед, в начало, не прятать в середине строфы! Вот так, сразу:

На бой кровавый,
Святой и правый...

— Под самое ударение,— задумчиво кивает бледный, какой-то чересчур усталый Ванеев.

— Чтобы как набат! — подхватывает Глеб.— Как залп!

Но тут же останавливается, склоняет голову набок, сомневается:

— Почему вообще Варшава? Зачем? Вы станете петь: «Вперед, Варшава!» Мы — «Вперед, Самара!» Они — «Вперед, Бердичев!..» Что получится? Нет!.. Что если?.. Что если...

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

— А что? — Базиль — Старков спрашивает так, будто бы прислушивается к собственному голо-

су, и так же, сам с собой, соглашается: — Ничего. Весьма ничего. Не хуже, чем у нас в Саратове поют...

— Да, да, да...— Глеб размышляет вслух о своем.— Набросайте мне примерный перевод всей песни. Можете? И вообще не очень-то ясно, против кого, за что тот кровавый бой...

— Это же песня, Глеб! Нельзя же так, по-бухгалтерски!

— Почему? Труженик-поляк против русского самодержавия или поляк «вообще» против русского «вообще»? Это, по-вашему, неважно? К тому же для меня слово «бухгалтерия» — отнюдь не ругательство, особливо бухгалтерия революции...

— «Бухгалтерия революции»? То есть бардзо непонятное понятие...

— Да, да, други мои! Надо, очень надо нам учиться считать — считать, прикидывать да по семь раз примеривать, прежде чем отрезать... А сейчас, ну-ка, у кого есть карандаш? И бумаги бы — хоть четвертушку!

Старков отыскал в щели пола обломок графита. Стрежецкий пожертвовал клочок бумаги, ревниво хранимый в тайнике вязаной рубахи. Затем Глеб вдохновенно уединился — если возможно уединиться в общей камере — под окном.

Начало никак ему не давалось — не выходило, хоть плачь!

Попробовал еще, еще...

Только бумагу зря запачкал! А стирать пальцем вон как неловко!

Плюнул. Взялся за вторую строфу, и дело пошло. Он писал стихи и до этого, еще в реальном училище. И всегда, как правило, слова ужимались в строки мучительно, тяжело, как бы протестуя. Он заменял одно слово другим, и тут же под руку лезло

третье, лучшее. Но стоило поставить его в строку, и оно вдруг делалось бесцветным, скучным, словно отравленным чернилами. С раздражением, со злостью он разрывал все на куски, с ожесточением отшвыривал их от себя и принимался снова, снова — в каком-то захватывающем отчаянии.

А тут вдруг прорвало — другим словом не назовешь. Представились картины питерской жизни трудового люда — и сразу на бумаге нацарапалась строка:

Мрет в наши дни с голодухи рабочий.

Вспомнился Ильич с его сверхжадностью на время — и:

Смерти подобно нам время терять.

По уже сложившейся привычке — всегдашнему зуду в руке — хотел поменять слова, переставить. Да стоит ли? Надо ли? Дальше, дальше скорей! Как бы Некрасов сказал вот про это — про то, что не зря все: и молодость загубленная, и судьба сломанная? И про Толю Ванеева? Сдает, сдает прямо на глазах... Как бы Некрасов написал, а? Может быть, вот так:

В битве народной не сгинут бесследно
Павшие жертвой великих идей...

— Отец Пимен! Обедать,— позвал Старков.— Нынче вместо баланды щи настоящие, из кислой капусты, даже кусочек солонины плавает! Оторвитесь!..

Но Глеб только отмахнулся, продолжая отбивать кулаком такт, ритмично бубня про себя:

...Их имена с нашей песней победной
Станут священны мильонам людей...

Может быть, Некрасов и не так бы сказал...

«А я так. Только так! А как бы побольнее ушибить самодержавие? Чтобы ему — самому их императорскому величеству — в морду, в морду!..»

Силой пришлось оттащить Глеба к миске.

К вечеру и вторая, и третья строфа, и припев были готовы. Но по-прежнему не давалось начало. Выходило как-то сухо, или наивно, или недостаточно стремительно — мало энергично. И он оставлял все это в уме, жалел бумагу: ведь добрый зачин — половина песни.

Наконец, Глеб Максимилианович не выдержал — сердито оттолкнулся от стены, заходил из угла в угол. Потом остановился посредине камеры, пристально глянул в окно.

Ни зги! Ни проблеска, ни отсвета в непролазной жуткой мути. Только слышно, как стонет и беснуется запоздалая мартовская метель. Воет, грозит, властвует от земли и до неба: сплошь, повсюду. И чудится: нет там, за стенами тюрьмы, ни Москвы, ни людей, ни цивилизаций, не будет, никогда не будет конца этой всесокрушающей, всепоглощающей заварухе, никогда не дождешься просвета — ни-ког-да...

Стоп, стоп, стоп! — Он метнулся и, весь во власти музыки, отрубил кулаком в такт своим шагам:

Вих-ри враж-деб-ные ве-ют над на-ми...
Трам-там-там-там-там-там-там-там-там-там...

Сколько еще идти сквозь метели и непастья?

Пройдем ли?

Кто дойдет?

Глядя на задремавшего Анатолия Ванеева, он снова заспешил:

Вихри враждебные веют над нами.
Темные силы нас злобно гнетут...

А как дальше? Что сказать дальше? «В бой роковой...» Роковой? Стоит ли пугать? Да, именно роковой. Не надо обманывать ни себя, ни других. Не надо. «В бой роковой мы вступаем с врагами...» Опять покосился на Ванеева. Нет. Не вступаем — уже вступили. «Нас еще судьбы безвестные ждут...»

Вот, вот! Так, только так!

Пурга пуще прежнего шалеет, надрывается за окном.

Но ведь за мартом неизбежно придет апрель. Каждый гимназист-приготовишка скажет: «Как зима ни злися...» — и тому подобное. Ты веришь, Глеб? Только честно. Честно! Иначе не то что песни слагать — лучше сразу бросить все, уйти прочь.

Веришь ты?!

Разойдясь, расшагавшись, он замаршировал, будто в боевой праздничной колонне с товарищами — наперекор, навстречу врагу с песней-вызовом:

Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело...

так, что Ванеев вздрогнул, открыл глаза, улыбнулся:

— «Гордо и смело...» — хорошо, Глеб. И гордо и смело получается. Надо приберечь это на прощанье...

Когда наступило двадцать пятое марта — день отправки в Сибирь, могучий, богатырского сложения Абрамович широко расставил ноги, притиснул спиною дверь, а все остальные стали в круг и запели:

Вихри враждебные веют над нами...

Со всех ног надзиратели бросились к мятежной камере. Но не тут-то было.

Кровью народной залитые троны
Кровью мы наших врагов обагрим,—

неслось из-за двери и угрожающе раскатывалось, будто бы на всю Москву.

Грохот кованых сапог о кованый дуб. Стук прикладов. Ругань. Но по-прежнему страж не сломлен, дверь блокирована. Арестанты стоят, крепко взявшись за руки, словно держат круговую оборону. Боевое крещение «Варшавянки» продолжается.

Лишь когда допели до конца — впустили.

Обескураженные, даже смущенные стражники и жандармы тут же принялись «сортировать» бунтовщиков для немедленной отправки (не тащить же в карцер в день отъезда!).

— А ну, выходь!

— Па-аживей!

— Становись!..

Уже когда вели по двору, глухие, казалось бы, стены тюрьмы отозвались прощальным эхом и одновременно напутствием, клятвой:

Месть беспощадная всем супостатам,
Всем паразитам трудящихся масс!
Мщенье и смерть всем царям-плутократам,
Близок победы торжественный час!

Долго еще, говорят, ходили потом рассказы-легенды о том, как с песней шла в Сибирь партия ссыльных.

Не было прежде в Бутырках таких ссыльных. Не было таких песен.

Далеко, далеко — за тридевять снегов, за тридесять лесов — закатали автора, а песня пошла гулять по России — делать его дело.

Немилостива, сурова Сибирь...

Впрочем, ссыльный поселенец Глеб Кржижанов-

ский вместе с Василием Старковым определен на жительство в село Тесинское, что в тридцати семи верстах от Минусинска, на реке Тубе, притоке Енисея с правой стороны. Это юг Сибири. И лето здесь как лето, зима как зима.

Вслед за Глебом сюда приехала мама. И сестра Тоня. Приехала, осмотрелась, обжилась — и вышла замуж за Базиля — Старкова! Так что все Кржижановские теперь вместе.

Все?..

Зина! Родная, родная моя!.. Где ты? Что с тобой? Отзовись!

Сразу после его ареста — девятого декабря позапрошлого года — Зинаида Павловна Невзорова вошла в центральную группу «Союза борьбы», заменила любимого в самом прямом смысле. И ей и Надежде Константиновне Крупской удалось еще поработать немало: зиму, весну, лето, а там...

Четыре месяца в каземате Петропавловской крепости!

Девушка в каземате... Какие нелепые, несоединимые слова!

Потом ее выпустили до окончания следствия — на поруки матери. Глеб знает: свой невольный «отпуск» в родном Нижнем Новгороде Зина провела недаром — помогала Петру Заломову и другим тамошним марксистам восстановить разгромленные кружки, учила новых подпольщиков шифровальному искусству, конспирации...

А следствие по делу второй группы «Союза борьбы» все тянется, тянется. Что-то еще будет? Какой приговор? Первая группа... Вторая группа... А крамола не пресекается, и власти ожесточились.

Что будет с тобой, Зина?

 Говорят, ссылка не каторга. Что верно, то верно.

Однако ох как несладко живется Глебу! Пособие нищенское: восемь рублей на душу в месяц. Да и то отобрали у мамы: новое разъяснение — матери не считаются членами семей.

Но неподалеку — одни говорят, за семьдесят, другие — может, за сто верст, по сибирскому размаху и то и то «вовсе рядом»,— живет другой ссыльный поселенец — Владимир, сын Ильи Ульянова.

Он по-прежнему деятелен — хлопочет над своей книгой, в меру отдыхает, развлекается даже. Повидаешься с ним — и дышать легче. В испытании, в горе растет, крепнет их дружба. Недаром Владимир Ильич почти в каждом письме к сестрам, к матери вспоминает о Глебе:

— ...В Тесь я поехал вместе с Базилем. Проводил там время очень весело и чрезвычайно доволен был повидать товарищей и пожить в компанийке после моего шушенского сиденья. Компанийка живет, однако, хуже, пожалуй, чем я. Т. е. не в отношении квартиры и пр.— в этом-то они устроились лучше,— а в отношении удовлетворенности. Глеб прихварывает изрядно, хандрит частенько; Базиль тоже, оказалось, вовсе не так уж «процветает», хотя это самый уравновешенный из тесинцев.

...Теперь у Глеба есть кое-какая работишка, благодаря которой они смогли перебиться и кризис финансовый миновал.

...Я не теряю надежды, что и унылое настроение у них пройдет.

...Разрешение у меня на пять дней и я еду отсюда в пятницу или в субботу прямо в Шушу...

...Я получил письмо от Глеба, что он подал уже прошение о приезде ко мне на 10 дней на праздники. Надеюсь, что ему разрешат. Для меня это будет очень большое удовольствие. Из Теси пишут еще, что

Зинаиде Павловне вышел приговор — 3 года северных губерний и что она перепрашивается в Минусинский округ. Так же намерена, кажется, поступить и Надежда Константиновна, приговор которой с точностью еще неизвестен.

...У меня теперь живет вот уже несколько дней Глеб... После одного дня, когда мороз доходил, говорят, до 36° R (недели полторы назад), и после нескольких дней с метелью («погодой», как говорят сибиряки) установились очень теплые дни, и мы охотимся очень усердно... хотя и очень несчастливо.

...Глеб уехал от меня 3-го дня, прожив 10 (десять) дней. Праздники были нынче в Шу-шу-шу настоящие, и я не заметил, как прошли эти десять дней. Глебу очень понравилась Шу-ша: он уверяет, что она гораздо лучше Теси (а я то же говорил про Тесь! Я над ним подшучивал, что, мол, там лучше, где нас нет), что здесь есть лес близко (по которому и зимой гулять отлично) и прекрасный вид на отдаленные Саяны. Саяны его приводили в восторг, особенно в ясные дни при хорошем освещении. Кстати, Глеб стал теперь великим охотником до пения, так что мои молчаливые комнаты сильно повеселели с его приездом и опять затихли с отъездом.

...какой у Глеба голос?.. Гм, гм! Должно быть, баритон — что ли. Да он те же вещи поет, что́ и мы, бывало, с Марком «кричали»...

...Здоровье Глеба у меня несколько поправилось благодаря правильному режиму и обильным прогулкам, и он уехал очень ободренный.

Да, ссылка не каторга. Ездили друг к другу в гости, гуляли, охотились, пели песни...

Только почему сошел с ума в этой самой ссылке такой крепкий, закаленный, видавший виды человек, как рабочий Ефимов? Почему застрелился один

из первых революционных марксистов России, профессиональный революционер «Н. Е.» — Николай Евграфович Федосеев? Эх, да что там толковать!?

Но так или иначе, работа, ставшая для Глеба Максимилиановича Кржижановского целью жизни, не прерывается ни на день. Все мосты позади сожжены. Теперь только вперед. Иного пути, иного будущего у него нет.

Он использует каждую возможность встретиться с людьми. По соседству, в том же Минусинском округе, множество ссыльных. Стало быть, уже есть группа. Да вот беда, большинство народники. Ну и что ж? Лепешинский тоже был народником, а теперь... Будем, не теряя времени, открывать глаза, убеждать, перетаскивать на нашу сторону, вербовать новых бойцов для будущих сражений — для победы.

В том, что она будет, он не сомневался.

Мама тоже поверила в это! Ни разу не упрекнула его хотя бы за то, что все ее омытые пóтом и слезой копейки, вложенные в его «карьеру», он, по сути, пустил на ветер. Безропотно поднялась с насиженного места, проехала бог весть как этапный путь, пошла за сыном в ссылку. Она всегда рядом, всегда вместе с ним — в беспрерывных хлопотах по хозяйству, в постоянных заботах о нем. Беззаветная, безответная. Как все действительно больные люди, никогда не жалующаяся на болезни, она всегда поможет, всегда поймет. И — он твердо уверен в этом — до последнего вздоха останется не только матерью, но и верным товарищем.

Сестра Тоня... Теперь ее называют Антонина Максимилиановна — заняла место фельдшерицы, ездит по окрестным селам. Лучшего связного трудно представить. Молодой муж ее Василий Васильевич Стар-

ков нашел работу и Глеба пристроил спрямлять русло, регулировать сток реки Минусинки. Подходящее жалованье. Прекрасный предлог для общения с людьми. Первая встреча с гидротехникой и в теории и на практике: может быть, это еще пригодится Глебу Максимилиановичу Кржижановскому. Как знать?..

Здесь же, в ссылке, он пишет новую песню «Беспуйтесь, тираны...», которая так полюбилась Ильичу.

Каждый раз при встрече они поют ее с особым воодушевлением.

Как хорошо, что сюда, к нему, наконец-то едет Зина!..

«Хорошо» употреблено неуместно, да что поделаешь, если в русском языке нет слов для выражения всех обуревающих его чувств? Да, да, едет! Едет! Ей назначена была Архангельская губерния, а она — добилась-таки своего! — «перепросилась» в Сибирь, к жениху.

В голову лезут строка за строкой из «Русских женщин» Некрасова — как наперекор всему едут жены декабристов в тартарары, к любимым, страждущим на царской каторге — во глубине сибирских руд.

Глеб находит эти аналогии чересчур напыщенными, краснеет от своих мыслей, но ничего не может с собой поделать.

Родная! Уж скорее бы ты приехала!

Скорее бы!

Не дождаться, кажется...

Зина! Родная моя!

Но дожил все-таки. Дожил!

В мае девяносто восьмого, едва открылась навигация, в Шушенское приезжает Надежда Константиновна, а в Тесинское — Зина.

Зина приехала к нему...

Сюда же, в Тесинское, выслан и Фридрих Ленгник. Потихоньку, помаленьку растет, формируется здесь революционная группа. Вместе с ней в непрерывном действии растет и Глеб Кржижановский. Сегодня — схватка с только что прибывшим народником, завтра — споры с товарищами о философии Юма, Гегеля, Канта, Шопенгауэра, послезавтра — надо отправиться на связь в соседнее село.

Село, как уже отмечалось, близкое, да идти до него далеко. А вокруг Сибирь-матушка с ее сюрпризами, и, случается, в пути не до смеха. Но чувство юмора не изменяет Глебу Кржижановскому. Посмеиваясь, он говорит домашним об очередном своем походе:

— Незнание отмщается, самоуверенность тоже.

Судьбы нашего путника не замедлили подтвердить эти банальные истины. Вышел он в десять часов утра, после легкого чаепития, в охотничьей амуниции, с большими надеждами в душе.

Бродил по лугам и болотам, убил кряковую, наслаждался благорастворением воздухов и наконец дошел до того ручья под Убрусом, от которого, по его мнению, до Шошина остались сущие пустяки.

Изустал он, сел на горке, закурил папиросу, на небо взглянул... Глядь, ан солнце-то по низам поехало и краешком макает в серые-пресерые тучи... А в Жерлыке-то вода холодная-прехолодная и по грудь поднялась. А ночь-то темная-претемная и с приправой из дождичка.

Заспешил наш путник чуть не вприпрыжку. Что за диво? Кажется, всего один Жерлык надо было перейти, а ему пришлось раз пять через какие-то протоки чуть не по горло шествовать... Кажется, одна линия Убруса возвышалась, а тут, куда ни посмотри,

Убрусы тянутся, и в довершение всего — лес, лес, лес...

Идет наш путник вперед с хладнокровием и опять приходит на то же место... кр-рах, бум, бом!! — почва исчезает из-под ног, и он повисает, вцепившись в какие-то кусты, над безвестной глубиной.

Выкарабкался наш путник на край обрыва, сидит, нос повесил. Увы, и ружья нет: оно пропало в глубине. Чирк спичкой: обрыв сажени в три! Начал соображать и местность расследовать. Нашел тропку, спустился на дно, отыскал ружье, повеселел.

Пытался заночевать под деревом, но кто-то больно ужалил. Тогда зарылся в стог на лугу... Утром обнаружил, что был возле самой цели своего похода, мельница уже видна. Но взглянул наш путник на себя и охнул: стал он похож на ком из разнообразных наслоений — грязи, разорванной одежды, сена, репьев. Вдобавок еще усталость, грозящая опрокинуть в двадцатичетырехчасовой сон...

Что потом? Как было? Как шло? Опять лучше обратиться к письмам «летописца Ильича», бережно хранимым его матерью:

— ...Н. К., как ты знаешь, поставили трагикомическое условие: если не вступит *немедленно* (sic!) в брак, то назад в Уфу. Я вовсе не расположен допускать сие, и потому мы уже начинаем «хлопоты» (главным образом прошения о выдаче документов, без которых нельзя венчать), чтобы успеть обвенчаться до поста (*до* петровок): позволительно же всетаки надеяться, что строгое начальство найдет это достаточно «немедленным» вступлением в брак?! Приглашаю тесинцев (они уже пишут, что ведь свидетелей-то мне надо) — надеюсь, что их пустят.

...Просил исправника пустить ко мне на свадьбу тесинцев,— он отказал категорически, ссылаясь, на

то, что один политический ссыльный в Минусе (Райчин) взял отпуск в деревню в марте этого года и исчез... Мои доводы, что бояться исчезновения тесинцев абсолютно не доводится,— не подействовали.

...В Теси играют свадьбу и переезжают скоро в Минусинск.

...У меня сегодня гостит Глеб, который приехал один на 3 дня... Мы прогуляли целый день. Погода у нас очень хорошая — ясные, морозные и тихие дни; снегу все еще нет.

...Вчера вернулись мы с Надей из Минусы... где провели неделю у Глеба и Базиля очень весело и встретили Новый год среди товарищей. Тостов при встрече Нового года была масса, и особенно горячо встречен был тост одного товарища «за Эльвиру Эрнестовну и за отсутствующих матерей».

...На коньках я катаюсь с превеликим усердием. Глеб показал мне в Минусе разные штуки (он хорошо катается), и я учусь им так ретиво, что однажды зашиб руку и не мог два дня писать.

...Сегодня мы проводили гостей... приезжали минусинцы, Глеб, Базиль, З. П., тамошние рабочие и пр...

...Минусинцы... теперь сильно увлеклись шахматами, так что мы сражались...

...Провели время очень весело и теперь опять беремся за будничные дела.

...Глеб и Базиль подают... прошение о разрешении им на лето перевестись сюда (в Минусе летом очень плохо); не знаю, разрешат ли.

...Зина — такая же, как всегда, веселая и живая.

...Сегодня мы ждем гостей: Глеба с женой и Базиля из Минусы. Глеб, говорят, получил разрешение переехать на железную дорогу, чтобы занять место инженера. Конечно, он воспользуется этим, чтобы

накопить сколько-нибудь денег на дорогу. А иначе ему и Базилю не так бы легко было выбраться отсюда, а зимой-то и совсем невозможно.

...Глеб переезжает на днях в Нижнеудинск (Иркутской губ.) на службу на железной дороге...

Да, в конце ссылки, по «знакомству» — с помощью товарищей по Технологическому институту, которые уже успели сделаться «начальством» на только что отстроенной сибирской магистрали, его берут помощником машиниста. Не инженером, как предполагалось, не машинистом, а помощником.

— Такая вакансия сейчас есть. Хотите — пожалуйста, не хотите — как знаете. Мало ли что у вас диплом и амбиция...

— Амбиция — плохой советчик, пусть помолчит. Главное, чтоб работать.

Что еще добавить о ссылке?

Именно там молодой Кржижановский стал первым читателем ленинского труда «Развитие капитализма в России».

Владимир Ильич регулярно присылал ему главу за главой своей рукописи — просмотреть, обменяться мнениями. Глеб Максимилианович постоянно выговаривал Ильичу за то, что тот слишком много вычеркивает — слишком сурово ужимает написанное.

Когда же книга была закончена, Крижижановский убедился, что Владимир Ильич совершенно прав и в данном случае. Но все же... До сих пор ему жаль, что, по-видимому, безвозвратно утеряны рукописи первоначальных набросков этого исторического труда.

Поучительным примером стало для Глеба Кржижановского и другое событие...

 Август — сентябрь восемьсот девяносто девятого года. В Шушенское приезжает Михаил Сильвин вме-

сте со своей невестой. Она из Питера. В тяжелой посылке, привезенной ею для Владимира Ильича от его сестры Анны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой,— «химическое письмо». Так в минусинские степи дошло послание госпожи Кусковой, ее знаменитое «Кредо» — «Верую», где доказывалась полная неосмотрительность и несостоятельность обращения политической проповеди к пролетариату, которому на ближайшее время уготована лишь экономическая борьба, а политика — дело либеральной и, по существу, буржуазной интеллигенции.

Оценивая «Кредо», ссыльные сходились лишь в одном:

— Важный документ в решающий момент.

Об остальном судили и рядили вкривь и вкось:

— С нашей-то отсталостью, с нашим-то рабочим — социализм?! Права Кускова.

— Призывы призывами, а жизнь жизнью. Надо смело взглянуть в глаза действительности, какой бы суровой она ни казалась...

— Не доросли мы пока. Лучше синицу в руки, чем журавля в небе!

Владимир Ульянов без обиняков оценил «Кредо» как программу российского оппортунизма.

Он очень волновался и, как помнится Глебу Максимилиановичу, «кипел негодованием». Тут же начал разрабатывать план отповеди сторонникам «Кредо», набросал проект протеста против «сего евангелия новой веры», задумал сделать протест коллективным.

Вскоре почти все, кто четыре года назад входили в питерский центр «Союза борьбы», собрались в селе Ермаковском.

Ермаковское «Старик» облюбовал не случайно: там жил Ванеев, состояние которого считали уже без-

надежным, и Владимир Ильич стремился хоть как-то облегчить, скрасить его последние дни (Анатолий Александрович умер через две недели после единогласного принятия и подписания протеста).

Понятно, единогласие было достигнуто не вдруг, не без жарких споров и дебатов — отнюдь. Сразу же обозначилась оппозиция к проекту «Старика» и «справа» и «слева». Тяжело дышавший Ванеев, у постели которого собрались товарищи, негодовал по поводу мягкого, как ему казалось, тона резолюции, настаивал на более категорическом, более решительном осуждении отступничества и предательства сторонников «Кредо». Ленгник требовал убрать из резолюции все, что говорило о связи нового течения русских «молодых» социал-демократов с философскими шатаниями оппортунистической части немецкой социал-демократии.

Владимир Ильич горячо доказывал, что «Кредо» — тревожный симптом, прозевать его, упустить нельзя ни в коем случае. «Экономизм» — опасная болезнь нашего революционного движения.

— Все это так,— соглашался Ленгник.— Но помоему, очень рискованно судить о родстве «Кредо» наших «экономистов» и взглядов Эдуарда Бернштейна, ссылаясь на его книгу, которая только что вышла в свет и которую никто из нас не читал. Бернштейн — видный ученик Маркса, я не могу допустить, чтобы он дошел до такого извращения теории своего великого учителя.

Ильич хмурился. Доводы Ленгника его не убеждали. Но он все же согласился оставить в своем проекте протеста лишь общее упоминание о «бернштейниане»:

— В конце концов, не это главное. Главное вот
 что: «Традиции всего предшествовавшего револю-

ционного движения требуют, чтобы социал-демократия сосредоточила в настоящее время все свои силы на организации партии, укреплении дисциплины внутри ее и развитии конспиративной техники». Кто-нибудь возражает против этого? Так... Никто. Давайте подписывать.

В числе семнадцати свои имена под «Протестом российских социал-демократов» поставили Ванеев и Ленгник, Базиль и Тоня, Глеб и Зина... Так, с их подписями этот программный ленинский документ и разошелся по свету, стал воевать не только с русскими «экономистами», но и с оппортунистами Запада — приверженцами Эдуарда Бернштейна.

Очень памятна Глебу Максимилиановичу последняя в Сибири встреча с Ильичем...

Морозной лунной ночью они шли по берегу Енисея, шли рядом. Перед ними и вокруг, тяжко придавив землю, искрились спрессованные ветром снега. Снега и снега — всюду, куда хватит глаз, везде, где луна светит. И казалось, что нет, не будет и не может быть силы, способной одолеть их.

Вдруг Ильич остановил Глеба, оглядел его, склонив голову, остался, видимо, доволен, улыбнулся:

— Настоящий сибиряк,— и шутливо пояснил: — Дерзость и сила во взгляде. Мужественная обветренность и опаленность лица. Основательность. Бородатость. Доха. Малахай.

— А сам-то! Сам!..

— Что? И я похож?

— Ни дать ни взять — два чалдона,— Глеб Максимилианович добродушно усмехнулся.

— И все-таки видно, что не коренные,— посерьезнев, заметил Ильич.— А что составляет отличи-

тельные особенности настоящего, стопроцентного сибиряка?

— Стопроцентного? — переспросил Глеб, задумавшись.— По-моему, коренной сибиряк не знает, что такое лапти.

— Верно!

— Он отроду не видал помещичьих усадеб...

— Тонкое наблюдение!

— ...и соломенных крыш поэтому не видел...

— Но и о фруктовых садах не имеет никакого понятия! — подхватил Ильич, засмеялся, по круче сбежал на лед, исполосованный длинными тенями торосов.

Повернувшись, отбил ногой льдышку, остановился, произнес, словно только для себя:

— Как ярко увидал эти края Чехов еще десять лет назад — по пути на Сахалин!.. Не в обиду нам, волгарям, будь сказано... Помнишь? Ты читал? Пускай, мол, Волга — нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей — могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. На Волге человек начал удалью, а кончил стоном, который зовется песнью. На Енисее жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась!..

Ильич присел, почти касаясь коленями льда, и как бы прислушался.

— Вон и сейчас, под глухим льдом, не сдается — протестует, борется, кипит.

Глебу показалось, что и он тоже чувствует, как тесно могучей реке, слышит, как она взламывает оковы — хлещет в проломы, несдержимо разрастается наледями, похожими на горы. Казалось, он видит там, вдали, за синими отсветами окаменевшего льда и окоченевшего неба, стремительный, всезахва-



тывающий, всесокрушающий разлив грядущих половодий.

А Ильич тем временем все мечтал и мечтал вслух:

— ...Эта силища будет использована. Люди научатся превращать ее в движение, свет, тепло — и незнание, что такое фруктовый сад, перестанет быть отличительной чертой сибиряка. Да-с, дорогой Глеб, сын Максимилиана!..— Он распрямился, продолжил очень уверенно, убежденно, без тени прежней улыбки: — Какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!..— И тут же внезапно словно перебил себя сам: — Чтобы это случилось, надо поживее выбираться отсюда, ехать за границу, ставить нашу газету.

— Володя!.. А ты не преувеличиваешь роль газеты? Есть же и другие средства борьбы: местная агитация, манифестации, бойкоты и травля царских шпионов. Неужели все это должно отойти на второй план перед газетой? А как же выступления против буржуазии и правительства?! А стачки, наконец?! Что же, все это побоку?!

— Погоди, Глеб! Не горячись. Все, что ты называешь,— основа нашей работы. Но без объединения в центральном органе все эти формы революционной борьбы теряют девять десятых значения. Не создают общий опыт партии, традиции, преемственность! Ясно же, как дважды два, что газета поможет распространить их, упрочить, ввести в систему...

— И однако!.. Ты требуешь сосредоточить все — все! — наши силы на создании газеты. Не оттого ли, что за время ссылки тебе самому пришлось нажать главным образом на литературные дела? А ведь мы — в России, в такой стране, где...

— Именно! Именно потому, что мы — в России, я требую сосредоточить все силы на организации

газеты. В Германии, во Франции у рабочих парламентские возможности, агитация на выборах, народные собрания, профессиональные союзы... А у нас? Пока не завоевали политической свободы,— ничего! Заменой всего этого — понимаешь, Глеб? — всего! — должна быть только революционная газета. Без нее у нас невозможна никакая широкая организация всего рабочего движения.

Глеб задумался.

— В заговоры мы не верим... В разрушение правительства партизанскими наскоками не играем... Остается, действительно, учить, пропагандировать газетой.

— Давай, дорогой друг, действовать. Не теряй ни минуты.— Хитро подмигнув и скосившись в сторону непроницаемо глухого льда, Ильич со значением добавил: — Енисей-то пока еще спит. Так что придется нам покипеть за него — для него. Счастливого пути, Глеб! Доброго кипения!

Доброе кипение

Снег и ветер в лицо. Свист, рев, грохот.

Распаленный, распалившийся паровоз рассекает колкий воздух, покоряет пространство, одолевает расстояние.

Спокойно положив левую ладонь на рукоять реверса, молодой худощавый машинист правой оперся о кожаный подлокотник и смотрит, смотрит вперед, не отрываясь, не моргая — как зачарованный.

Шпалы, шпалы, припорошенные снегом, сажей да угольной пылью...

Нескончаемым живым серебром струятся, манят дальше, дальше — вперед! — рельсы...

Мелькнут — и пропадают верстовые столбы, путевые будки, полосатые шлагбаумы, стальные клепаные мосты, сороки на телеграфных проводах, мохнатые лошадки, вмерзшие в иссиня-розовые, голубые, и зеленые, и палевые снега...

А вон впереди, в опасной близости от полотна, одна из тех самых знаменитых сибирских коровок, из молока которых делают отменное масло. Масло то, как говорится, «на корню» закупают датчане, перепаковывают покрасивее, ставят свою фирменную марку и продают англичанам как лучшее в мире.

Большой палец сам собой тянется к медному кольцу. И рядом со смерчем дыма, рвущимся из конуса трубы, взмывает — стелется по ветру пронзительная струя пара:

«Т-т-ту-ту-ту-у-у!..»

В исступлении завывает ветер. Но куда там? Где ему противостоять горячей стальной груди? И в такт со стальным сердцем, вместе с ним бьется сердце человека. Левая рука плавно давит на рукоять — машина прибавляет, наддает, с маху опрокидывает пургу:

«Вперед! Вперед! Ту-ту-ту-ту-у-у-!..»

Как хорошо, как легко, вольготно катить на машине, которая сама уже воплощение тепла, движения и так непримиримо контрастирует со стылым оцепенением сибирских степей!

Великая магистраль...

Сколько труда в тебя вложено, сколько жизней тебе отдано, чтобы вот так катить из края в край земли — от океана до океана!

Машинист оглядывается: за спиной, послушные его руке, красиво вписываясь в излучину пути,

катятся вагоны. Вагоны с ситцем из Иваново-Вознесенска, с вином из Туркестана, с уральским железом, углем, кавказским мазутом, волжским хлебом, с братиками-солдатиками, с пушками и с арестантами — такими же, каким сам он, машинист, был года три назад.

Как хочется остановить поезд на перегоне, сбить замки с вагонных засовов:

— А ну, товарищи, врассыпную!

Вот он, тормозной вентиль, под рукой...

Но — спокойно остается ладонь на рукояти реверса. Только зубы стиснуты да губы сжаты — не то от ветра, не то еще от чего.

Спокойно, медленно, но верно вперед, вперед.

И вообще...

И вообще, неизвестно, кому на пользу пойдет этакая «оптовая» перевозка крамолы «из России в Сибирь»? В кого-то еще будут стрелять тогда эти пушки? Бабушка надвое гадала.

Позвольте! Что значит слово «тогда»? К чему оно относится? Откуда взялось?

Знаем откуда. Погодите. Дайте срок...

— Надвое гадала,— стучат колеса. Подтверждают, обнадеживают.— На-дво-е... На-дво-е...

Да и Сибирь уже не та Сибирь. Вот они рельсы-то. Зовут, струятся. И не годы, а считанные дни до Москвы, до Питера, а там уж и рукой подать до Европы, до «Старика»...

А колеса все стучат, стучат:

— Двадцатый век наш!.. Двадцатый век за нас!.. Чудо-век!.. Чудо-машина!.. Чудо-магистраль!..

Впереди из вьюжного снега вылезает бак напорной башни, встает водокачка, похожая на причудливо обрубленный ствол дерева-гиганта. Поднимается крепкое здание вокзала. Дымки над избами по-

селка. Стая голубей. Мальчишки на коньках. Бабы с коромыслами у колодца.

Шипит воздух в тормозах. Машина замирает под хоботом колонки. Все уже привычно вокруг: перрон, красная фуражка начальника, синяя — жандарма, станционный базар — мед, жареный налим, кедровые шишки.

Пока помощник с кочегаром «поят коня», молодой машинист обстукивает бандажи колес, ощупывает бронзовые втулки — не перегрелись ли, доливает смазку из длинноносого бидончика, достает часы на серебряной цепочке, щелкает крышкой, не спеша поднимается по лестнице-стремянке...

Опять ладонь на теплой, отполированной рукояти. Из конца в конец поезда — от передних до хвостовых вагонов — лязгают буфера. Хрипя на морозном сквозняке, вздыхает машина. Пар натужно урчит в трубах инжектора — гонит воду в котел.

Выходной семафор. Стрелки. Убегающие в снежную заваруху рельсы.

Пусть снег и ветер в лицо. Пусть жить приходится, держа душу за крылья. Пусть до цели дальше, чем до конца стелющегося впереди, перед тобою полотна...

— Двадцатый век наш!.. Двадцатый век наш!..— пророчат колеса.

— Наш... наш... наш...— повторяет сердце.

Быстро, один за другим мелькали дни, занятые делами подпольщика и работой ради хлеба насущного. Сначала Глеб Максимилианович стал слесарем в депо Нижнеудинск, потом — помощником машиниста. В судьбу его вмешалось одно немаловажное обстоятельство... Каждому, конечно, ясно, что построить великую сибирскую магистраль киркой, лопатой и тачкой — подвиг не меньший, чем возведе-

ние египетских пирамид. А пустить ее в дело? Наладить регулярное движение поездов, организовать службы пути, тяги, связи? Тут нужны люди не с лопатами.

Короче говоря, при таком положении слесарь с дипломом петербургского института — слишком большая роскошь для дороги, которой не хватает инженеров.

— Нонсенс какой-то! — говорит по этому поводу начальник дистанции.— Полная бессмыслица! Мало ли что — неблагонадежный. Здесь у нас не Россия: до бога высоко, до царя далеко...

Необходимое ученье, экзамен, прочие формальности — и Глеб Кржижановский машинист локомотива.

Но снова начальство скребет затылки:

— Опять ерунда! Разве порядок, разве разумно, чтобы такой способный, такой энергичный инженер отвечал всего за один паровоз?! В какие-то считанные недели одолел всю премудрость — охватил все тонкости профессии. Другому годы нужны. Да что годы? Многим и всей жизни не хватает, чтобы стать машинистом: так, помощниками, и умирают. А этот не успел взяться за реверс — лучше всех работает! Ни аварии, ни простоя. Угля на версту пробега меньше всех сжигает!

Вскоре Глеб Максимилианович переведен помощником начальника депо на станцию Тайга.

Начальник депо Иван Петрович Арбузов и жена его Екатерина Васильевна — симпатичные, добрые, простые люди. Полная противоположность многим сибирским инженерам, старающимся жить по-господски, держаться высокомерно, надменно, не допускать к себе тех, кто пониже рангом.

Скромно и дружно живут Кржижановские.

 Радетельный и работящий, Глеб Максимилиано-

вич до свету приходит в депо — точно за ночь соскучится и спешит на свидание к паровозам. Ощупает, «обнюхает» каждую машину. Если она не пойдет, огорчается, сердится, помогает слесарям. Любит дело, ничего не скажешь. Не за страх, а за совесть старается. Опись какую-нибудь составляет или график осмотра и то с интересом, с душой, словно видит перед собой сокровенный, одному ему доступный смысл.

Начальство очень довольно молодым инженером. И рабочие не жалуются. Глеб Максимилианович вежлив и внимателен без фамильярности. Терпеть не может матерщину: говорит, что в технической спецификации паровоза таких слов нет, а стало быть, все, что касается машины, можно объяснить, не прибегая к их помощи.

Дело спрашивает строго, но заботлив, чуток, хорошую и дешевую столовую завел, «комнату отдыха», «одежную», библиотеку для рабочих. Тут и жена помогла добыть нужные книги: и Чернышевского, и Добролюбова, и Писарева, и Толстого, конечно.

Увлекающийся, пылкий, помощник начальника депо не всегда ровен, но всегда справедлив. Дело понимает не только сверху, но и снизу, так что к нему идут за советом, как к опытному мастеру.

Часто, как водится в таком деле, капризная техника «откалывает коленца» — загадывает загадки. Разгадывать их приходится Глебу Максимилиановичу, который при этом не боится запачкать руки. В общем, для тех рабочих, кому открыта лишь официальная сторона его жизни, он все равно:

— Свой, хотя и начальство.

Ну, а сам он? Доволен судьбой? Не ропщет? Не сомневается в правильности избранного пути? Вон как он «делает карьеру»! Не отдаться ли ей целиком? Не перестать ли печься о будущем человечества и

сосредоточить все внимание, все заботы на будущем одной — собственной — персоны?

Лучшим ответом будет то неоспоримое обстоятельство, что уже вскоре депо Тайга станет одним из очагов готовящейся революции, опорным пунктом, а по мнению слуг царя и отечества, «осиным гнездом большевизма» в Сибири.

Да, если говорить положа руку на сердце, работа дает Глебу Максимилиановичу и удовлетворение и хороший кусок хлеба. И кроме куска хлеба, еще опыт, знание людей, жизни — от самых истоков, самых корней, основ и низов, которое очень еще пригодится товарищу Кржижановскому.

А пока...

Работа, работа и работа — простая, будничная, весьма далекая от банальных представлений о романтической, полной происшествий и приключений жизни революционера. Жизнь как жизнь — трудовая и трудная, как у всякого, кто хорошо знает, что жатву от посева отделяет не один день, не одна неделя, кто не ждет немедленно, сейчас же разительных перемен от людей и народов, кто привык подчинять каждый свой шаг, каждый порыв одной большой цели.

Однако почва под ногами быстро становилась горячей: и Глеб Максимилианович и Зинаида Павловна удостоились особо пристального внимания со стороны ротмистра Ливенца. Сей ревностный служитель железнодорожной жандармерии взял за правило раз в неделю обыскивать их квартиру и просматривать всю корреспонденцию.

Он приходил с виноватой улыбкой, долго разматывал в передней башлык, снимал калоши и шаркал сапогами о домотканый половик. Протискивался в дверь боком, делаясь похожим на парикмахера, который спрашивает клиента: «Не беспокоит?» Поводил

плечами, как барышня, делал вид, что ему, человеку, отнюдь не чуждому просвещения, тягостна и омерзительна предстоящая процедура, но что поделаешь, господа? Долг службы, так сказать, превыше всего.

— Да, да...— Глебу Максимилиановичу хотелось опрокинуть ему на лысину тарелку со щами, но он шутил, стараясь попасть в тон «гостю»: — Понимаю-с, понимаю-с, ваше преосвященство! Интересы добра, гуманизма и справедливости... Раз в неделю — банный день... Готов! Готов-с послужить верой и правдой, не щадя живота, святому кресту на святой матушке Софии во граде Константинополе. Прикажете выворотить карманы или сами всемилостивейше сие совершить изволите?

— Какие вы, право! — обижался Ливенец.— К вам со всем сердцем, а вы... Зинаида Павловна! Ну скажите вы им, ей-богу!..

Впрочем, терпеть оставалось недолго. Шел уже девятьсот первый год, и Кржижановские могли возвратиться из Сибири, правда при условии «минус тридцать семь». В переводе с уголовно-полицейского жаргона на язык нормальных людей это означало, что на первых порах бывшим ссыльным нельзя жить в университетских городах и крупных рабочих центрах.

На несколько недель Глебу Максимилиановичу с женой удается вырваться за границу: в Мюнхен — к Ильичу и в Цюрих — для связи с группой «Освобождение труда». Там они знакомятся с виднейшими русскими революционерами-марксистами — Плехановым, Аксельродом, Засулич, с обстановкой тогдашней партийной борьбы. Но главное, Ильич решает, что Глебу и Зине делать дальше.

Дело предстоит и простое и сложное — двигать, воплощать в жизнь план строительства партии, про-

думанный Ильичем еще в сибирских снегах. Простое — потому что теперь, кажется, все ясно: страна должна покрыться сетью искровских комитетов, и острие партийного слова — обратиться против отщепенцев, отступников от марксизма, соглашателей, сбивающих рабочий класс с революционного пути. Сложное — оттого, что не все, далеко не все из тех, кого привыкли называть товарищами, думают так, и очень нелегко разобраться, где друг и где враг. И еще: от «Искры» до пламени, которое должно из нее возгореться,— дистанция!..

Хватит ли всей жизни, чтоб ее одолеть?

Хватит ли?..

Но — так или иначе — для организации искровского центра в России Ильич выбрал Самару. И уже в самом начале девятьсот второго здесь появляется чета Кржижановских. Появляется не без помощи своих людей — Арцыбушева и Ленгника.

Молодой деятельный инженер Ленгник для всех только служащий Самаро-Златоустовской дороги. Для Глеба Максимилиановича он — товарищ по Технологическому институту, по «Союзу борьбы», по ссылке в Теси, один из семнадцати, подписавших протест, энергичный и решительный искровец, или, как они теперь друг друга называют с легкой руки «Старика», «искряк».

Итак, снова Самара — город, где он родился и вырос, откуда пошел в жизнь. Но теперь не до воспоминаний детства...

Официальная служба Глеба Максимилиановича — начальник депо, неофициальная... Да, все идет, как прежде, в Тайге. Уже в конце января, едва успев оглядеться и обосноваться на новом месте, Кржижановские созывают съезд искровцев, действующих в России, чтобы объединить их.

Не такая уж тесная квартира начальника депо с трудом вмещает собравшихся. Приятно это видеть, чувствовать буквально локтем. Это обнадеживает, придает силы: ведь по тем временам полный дом профессиональных революционеров — уже много, очень много. Сильвин, Арцыбушев, Радченко, Ленгник, Кржижановский и Кржижановская, Мария Ильинична и Дмитрий Ильич Ульяновы... (Их матушка Мария Александровна как раз живет тогда в Самаре.)

После горячих споров и бурных дебатов создано бюро российской организации «Искры», или Центральный Комитет «Искры». Во главе его поставлен Глеб Кржижановский, он же «Брут», он же «Клэр», «Ганс», «Лань», «Травинский», «Смит», а секретарем выбрана Зина.

Споры и дебаты ведутся не попусту. Определен порядок связи революционеров между собой и с редакцией «Искры», порядок денежных сборов и распределения средств, задачи искровцев по отношению к социал-демократическим кружкам, комитетам и местным печатным органам. А самое главное, решено скорее разъехаться по стране — присоединить к организации как можно больше местных кружков и комитетов, пусть товарищи признают «Искру» — только ее! — центральной общепартийной газетой.

Зинаида Павловна подробно описала все это Ильичу. Ленин тут же откликнулся на ее письмо:

— ...Ваш почин нас страшно обрадовал. Ура! Именно так! Шире забирайте! И орудуйте самостоятельнее, инициативнее — вы первые начали так широко, значит и продолжение будет успешно!

Конечно, будет, если продолжать не в одиночку. Среди рабочих Самары, среди машинистов, слесарей, путейцев у начальника депо немало толковых друзей,

расторопных помощников, надежных товарищей. Но работа в искровском центре пойдет вовсю, если будут деньги.

Очень нужны деньги!

Без них никакое, в том числе революционное, дело с места не сдвинешь. Попробуйте, к примеру, наладить передвижение по стране — да еще по такой обширной стране! — целого отряда неуловимых подпольщиков. А ведь им нужно не просто разъезжать, но «поддерживать транспорт «Искры»» — попросту говоря, возить громоздкие, тяжелые кипы газет — возить нелегально, из-за границы,— через границу, минуя таможенников, минуя жандармов, полицейских, стражников и шпионов... Попробуйте без денег снимать квартиры в разных городах, подчас для отвода глаз, весьма, весьма богатые, снабжать агентов «Искры» паспортами, которые хоть и называются самодельными, но «нарисованы» на самых лучших — самых настоящих бланках, добываемых бог весть как из тайников казенных канцелярий.

Попробуйте все это проделать на те жалкие крохи, что отрывают — добровольно, с охотой даже — но отрывают от себя и своих семей труженики депо — рабочие, социал-демократы...

Если не рассуждать о презренности известного металла, а делать дело, то надо отбросить прочь всякое ханжество, засучить рукава и браться за работу — что и приходится Глебу Максимилиановичу.

Опять — и здесь! — выручает «Старик», хоть живет он сейчас в далеком Лондоне. В доме Ульяновых Кржижановский знакомится с богатым сызранским купцом Ерамасовым. Этот молодой образованный и начитанный человек подружился с Ильичем, когда он, исключенный из университета, жил в Самаре.

Глядя тогда на Ульяновых, Ерамасов дивился, как стойко переносят они непоправимое — казнь Александра Ильича, и на всю жизнь полюбил эту семью. Чтил ее, даже преклонялся перед ней. Еще в те времена Владимир Ильич перевел «Манифест Коммунистической партии», а Ерамасов с усердием распространял его в рукописи. Теперь он щедро дает деньги на революцию. Просит лишь об одном — чтобы никто не знал: революция революцией, а коммерция коммерцией, не дай бог, дойдет до конкурентов.

Вскоре Глебу Максимилиановичу удается «подключить» к субсидированию своего «предприятия» еще одного, на этот раз самарского купца Александрова. В общем, денег пока хватает — искровский центр действует.

Больше взрывчатки накапливается в окружающей жизни, крепче в российском воздухе пахнет грозой.

— Да, Россия беременна революцией,— в один голос признают люди, стоящие по разные стороны баррикад.

Одиннадцатого декабря девятисотого года, в канун смены старого века новым, в Лейпциге вышел первый номер «Искры». Даже эпиграф газеты звал на борьбу: «Из искры возгорится пламя». А строки передовицы, написанной Лениным, рабочие запоминали от слова до слова.

Потом «Искру» печатали в Мюнхене, в Лондоне, в Женеве... Но надеждой, примером, столицей международного революционного движения становилась Россия. Где бы «Искра» ни выходила, она выходила для России и попадала в Россию. С «Искрой» началось образование из разрозненных групп и кружков единой Российской социал-демократической рабочей партии. И ради этого действовал и действует Самар-

ский центр во главе с Глебом Максимилиановичем Кржижановским.

Уже есть явки во всех промышленных районах: всюду поставлены, живут и трудятся верные люди — крепнут опорные пункты надвигающейся революции. Бесперебойно — не хуже, чем в почтовом ведомстве,— приходит и расходится куда надо «первая общерусская марксистская газета». По надежным адресам исправно держится связь и с Ильичем, а значит, с редакцией «Искры» — штабом возникающей партии.

Если бы Глеб Максимилианович страдал манией величия и вдруг уподобил себя полководцу, то, стоя в те дни у карты, он мог бы смело втыкать красные флажки, завоевывая в империи Николая Романова город за городом:

...Петербург... Москва... Киев... Иваново-Вознесенск... Ярославль... Саратов... Харьков... Ростов-на-Дону... Баку...

Но он не страдает ни манией величия, ни каким другим недугом. Даже мания преследования ему неведома, хотя самарские полицейские и сыщики дают для нее все больше поводов.

Ленин советует ему:

— Клэру обязательно спастись и для этого немедля перейти на нелегальное... Берегите себя пуще зеницы ока — ради «главной задачи».

«Главная задача» теперь для партии — подготовка Второго съезда.

Главная задача для Глеба Кржижановского — подготовка Второго съезда. Он трудится в Организационном комитете по созыву этого съезда.

Трудится...

Не заботится ни о своей судьбе, ни о своей без-
 опасности. Боится только за жену, да все равно дает

ей поручение за поручением — одно опаснее другого.

Обыск в квартире и предупреждение начальства торопят события. Жить легально в Самаре больше нельзя. Приходится перебираться в Киев.

Товарищи, служащие на железной дороге, снова помогают устроиться. На этот раз Киевское отделение жандармского управления конфиденциально предупреждает, что господин Кржижановский может быть допущен «к службе исключительно только канцелярского характера» — без какого бы то ни было общения с рабочими.

Начальник Юго-Западных дорог инженер Немешаев внимательно перечитывает секретное послание, задумчиво подчеркивает слово «исключительно». В результате после уже привычной, любимой работы в депо Глебу Максимилиановичу остается довольствоваться службой на складе, в лаборатории сопротивления материалов, ревизором.

Но разве в этом суть? Разве это главное?

Открыт съезд, который он и Зина вместе с товарищами готовили и на который им с Зиной не попасть, потому что невозможно сейчас выбраться из России.

Вместе они ловят каждое слово, доходящее трудным путем из Лондона. Волнуются. Следят, насколько можно с берегов Днепра следить за тем, что делается на берегах Темзы.

В жестоких схватках, в борьбе «там» принят Устав. Те товарищи, которые больше склонны чтить букву, радостно говорят по этому поводу:

— Оформилась...

А для Глеба Максимилиановича и Зинаиды Павловны:

— Родилась партия!

В ее первый Центральный Комитет, состоящий

всего из трех человек, заочно выбран товарищ Кржижановский.

Конечно, приятно, если ты не забыт, если оценен твой вклад в общее дело. Но — некогда праздновать и умиляться.

За работу!

Самарский центр отходит на второй план. Для основной ячейки ЦК выбран Киев. Нужно поскорее спаять разрозненные комитеты, поддержать товарищей, изнемогающих в борьбе с царизмом.

Изощренная, веками отлаженная полицейская машина давит. Полицейский «социализм» Зубатова подрывает ряды борцов изнутри. Непрерывное становление дела и непрерывные провалы... Но все равно нужно работать — и Глеб Кржижановский работает. Организует, создает партийный аппарат. Партии, какая задумана Лениным, нигде никогда еще не было. Создавать приходится первый раз в истории. Да еще в такой стране, как матушка-Россия с ее просторами и расстояниями.

На фоне всего этого трудно переоценить роль, которую играет регулярное появление «Искры». Уже одна мысль о том, что вопреки всем провалам за пределами полицейской досягаемости работает «наша редакция» во главе «с нашим «Стариком»», поддерживает в самые трудные минуты, придает силы.

Но вдруг...

Вдруг! Неправдоподобно! Невероятно! По революционному Киеву разносится недобрая весть:

— Первейшим результатом партийного съезда оказался раскол именно в группе редакторов «Искры». Мало этого, Ленин должен очутиться в полнейшем одиночестве...

Изо дня в день он шлет в Центральный Комитет письма, одно тревожнее другого:

— Дорогие друзья!.. Никакой, абсолютно никакой надежды на мир больше нет. Вы себе не реализуете и десятой доли тех безобразий, до которых дошли здесь мартовцы, отравив всю заграницу сплетней, перебивая связи, *деньги,* литературные материалы и проч. Война объявлена, и они... едут уже воевать в Россию. Готовьтесь к легальнейшей, но отчаянной борьбе...

Часто Ильич пишет прямо Глебу Максимилиановичу:

— Дорогой друг! Ты не можешь представить себе, какие вещи тут произошли,— это просто черт знает что такое, и я заклинаю тебя сделать все, все возможное и невозможное, чтобы *приехать...* малейшее промедление и колебание грозит гибелью партии... Суть — та, что Плеханов внезапно повернул, после скандалов на съезде Лиги, и подвел этим меня, Курца и всех нас отчаянно, позорно. Теперь он пошел, без нас, торговаться с мартовцами, которые, видя, что он испугался раскола, требуют вдвое и вчетверо... Плеханов жалко струсил раскола и борьбы! Положение отчаянное, враги ликуют и обнаглели, наши все в бешенстве. Плеханов грозит бросить все немедленно и способен сделать это. Повторяю, *приезд необходим* во что бы то ни стало...

— Дорогой друг! Еще раз настоятельно прошу приехать тебя, именно тебя, и затем еще одного-двух из ЦК. Это безусловно и немедленно необходимо. Плеханов изменил нам, ожесточение в нашем лагере страшное; все возмущены, что из-за скандалов в Лиге Плеханов позволил переделать решения партийного съезда. Я вышел из редакции окончательно. «Искра» может остановиться. Кризис полный и страшный...

Добыв надежные документы, Глеб Максимилианович спешит за границу — к Ильичу.

Швейцарская таможня и пограничная охрана никаких неприятностей не преподнесли. Вежливый, даже приветливый чиновник в отглаженном мундире, в белоснежной сорочке с накрахмаленным воротничком, с галстуком, натянутым строго по вертикали, не спросил ни паспорта, ни имени, ни национальности, проверил только, не везет ли иностранец больше, чем разрешено, папирос или табаку. И дверь распахнута — ты в Женеве.

В той самой Женеве, где тридцать три года назад возникла русская секция Интернационала, а потом — первая русская марксистская группа. Здесь живут Плеханов и Ленин. Здесь рождается «Искра».

Было еще не поздно, и со своим скромным саквояжиком Глеб Максимилианович отправился искать Рю де Каруж — знаменитую «Каружку», где жили русские политические эмигранты.

Первые встречные соотечественники, а их нетрудно было узнать в толпе по манере спорить на всю улицу, размахивая руками, указали, как пройти. Один из них — знакомый еще по Минусинску — тут же спросил Глеба Максимилиановича:

— Как прикажете: здороваться с вами?.. Или?

— Или?..— не сразу понял Глеб Максимилианович.

— Вы к кому приехали? С кем вы — с «твердокаменными» или с нами, «мягкотелыми»?

Нет, он не шутил. По лицу его видно было, что он уже давно этим не грешит.

Словом, в Женеве тут же, с места в карьер, Глеб Максимилианович окунулся в эмигрантские дрязги

и склоку. Вернее сказать, так ему тогда показалось, что все это — дрязги и склока.

Встречая Мартова, Дана и других товарищей по Петербургу — по лучшим годам юности, он просто не узнавал их при том «градусе взаимного озлобления», до которого они дошли. Большинство из них считали главной причиной всех бед и несчастий Владимира Ильича. Трудно было даже вообразить, что совсем недавно эти люди вместе со «Стариком» создавали «Союз борьбы», «проходили» по одному делу, сидели в тюрьме, трогательно заботились друг о друге, искренне беспокоились за судьбу товарищей в ссылке.

Радушно принял Глеба Максимилиановича Плеханов, заботливо усадил, угостил отличным кофе со сливками, пожаловался как бы в шутку, с присущей ему склонностью к балагурству:

— А у нас тут после съезда произошла такая свалка, что скоро обе половины съедят друг друга и от них останутся только хвосты.

— По правде говоря, Георгий Валентинович, я не очень понимаю, в чем суть принципиальных расхождений,— признался Кржижановский.

— И никто не понимает! — подхватил Плеханов.— Да их и нет.— Он развел руками, поудобнее уселся в большом мягком кресле.— Просто идет личная борьба между Лениным и Мартовым. Вот и все. Сначала Мартов, как мальчишка, играл в обиженного — становился в оппозицию. Потом, когда я ради сохранения единства партии предложил Ленину наилучший выход — вернуть в «Искру» обиженную часть старой редакции, Ленин закапризничал и заупрямился.

— А вы, Георгий Валентинович? С кем вы, председатель Совета партии?

— Я?..— Он немного подумал, помешкал.— Я выше драки и ставлю перед собой неблагодарную задачу развести разъярившихся «драчунишек».

— Н-да.— Глеб Максимилианович нахмурился.

Он сочувственно принял жалобы Георгия Валентиновича. Ему еще дома казалось, что в расколе слишком большую роль играет личный момент — возросшая неприязнь Мартова к Ленину и Ленина к Мартову. А интересы дела требуют, чтобы они эту неприязнь преодолели. И надо их заставить помириться — работать вместе так же дружно, как прежде.

Но почему-то, соглашаясь с Плехановым, любуясь тем, как этот человек опускает ладонь на подлокотник кресла, поглаживает холеную бороду, приподнимает согласно своим веским словам густые черные брови, Глеб Максимилианович никак не мог отделаться от пришедшего на память навязчивого анекдота, ходившего в те дни по Женеве. С Георгием Валентиновичем познакомили приехавшего из России социал-демократа. И тот все время повторял: «Товарищ Плеханов!.. Товарищ Плеханов!» Георгий Валентинович слушал, слушал его и вдруг насмешливо оборвал: «Заметьте и запомните, молодой человек, следующее: товарищ министра — министру товарищ, но министр товарищу министра — отнюдь не товарищ».

Может быть, это всего лишь анекдот, но весьма характерный...

Обращало на себя внимание отцовски-покровительственное, снисходительное отношение Георгия Валентиновича к другим, бросалась в глаза его барственная привычка смотреть и говорить как бы свысока. Даже в подборе слов это сказывалось: «мальчишескую», «закапризничал», «драчунишки»... Остроумный, образованный, он самим фактом своего

пребывания на сей грешной планете, всем своим обликом словно внушал: «Когда твой папенька только еще ухаживал за маменькой, я уже был марксистом. Я — автор «Монистического взгляда на историю», а ты — мой ученик. Потому слушай и не перебивай».

Такой манерой держаться он сразу ставил грань между собой и собеседником. Разговаривая с ним, нельзя было избавиться от ощущения того, что перед тобой необыкновенный человек. Вся жизнь его была известна Глебу Максимилиановичу, как любому русскому революционеру.

Еще бы!.. Сын помещика из Липецкого уезда Тамбовской губернии, гимназист, юнкер, студент Петербургского горного института, Георгий Плеханов еще в восемьсот семьдесят пятом году установил связи с народниками и рабочими столицы. В следующем году был исключен из института за участие в демонстрации у Казанского собора и пылкую речь против самодержавия.

Кто не знает, что Плеханов — один из редакторов народнической «Земли и воли», глава «Черного передела», а потом русский революционный эмигрант, близко знавший вождей европейской социал-демократии? Был он знаком и с Фридрихом Энгельсом. В восемьдесят втором году Георгий Валентинович перевел на русский язык «Манифест Коммунистической партии». Порвал с народничеством. Основал в Женеве первую русскую марксистскую группу «Освобождение труда». На конгрессе Второго Интернационала он сказал всему социал-демократическому миру, что ошибочно судить о России как об одной из самых отсталых стран — русская революция непременно восторжествует как пролетарская.

— Та-ак,— обернулся он под конец их встречи в сторону Глеба Максимилиановича.— Несомненно

одно. Ради сплоченности старой редакции «Искры», этой непобедимой армады русской социал-демократии, стоило пойти на гораздо большие жертвы, чем та или иная уступка в толковании параграфа Устава партии о членстве.— И со вздохом заключил — посетовал, вставая: — Дальнейшая вина за раскол в партии лежит целиком на Ленине.

Понятно, что в те суматошные дни чаще всего Глеб Максимилианович встречался с Лениным. Вот он! Сидит в углу отдельного зала кафе «Ландольт», где обычно собираются большевики. Издали виден его громадный чистый лоб. Опершись локтем на стол, приставил ладонь к бровям, как козырек, поглядывает на товарищей, чего-то ждет и тут же встает навстречу, едва завидев вошедшего Глеба...

Вот они вместе идут по затихающим улицам, обмениваются, казалось бы, ничего не значащими фразами:

— Хороша Швейцария! — Глеб Максимилианович вздыхает и тут же, словно спохватившись: — Нравится здесь?

— В Лондоне лучше было...

— А в Женеве?

— Плеханов настаивал на переезде редакции к нему под руку. Я всячески боролся, но пришлось уступить...

...Конечно, без особого труда Глеб Максимилианович улавливает затаенный смысл каждой недомолвки, угадывает скрытую причину грусти, может быть, тоски Владимира Ильича. Но почему-то разговор о том, о главном, что свело их здесь, так на этот раз и не завязывается.

А вот следующая встреча. Типичный для Швейцарии двухэтажный домик в рабочем предместье Се-

шерон, где живут Владимир Ильич, Надежда Константиновна и ее мать Елизавета Васильевна, сразу напомнившая Кржижановскому его недавно умершую матушку.

Ленин стоит у двери. Он в темно-синей косоворотке навыпуск, придающей его коренастой фигуре какой-то особо «российский» вид. Да и вся обстановка в этом скромном доме на окраине не вяжется с чинным, благонамеренным укладом жизни в Женеве, заставляет невольно подумать: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»

Внизу, кроме столовой — кухня. Рядом — комната Елизаветы Васильевны, хлопочущей по хозяйству.

Жестом Ленин приглашает гостя наверх, и скрипучая деревянная лестница приводит их в помещение попросторнее. Большой стол в комнате Ильича, стол поменьше — у Надежды Константиновны. Там и тут по железной кровати, аккуратно застланной пледом, по нескольку стульев и полок для книг. Полки надежно сколочены из свежих досок, не успевших еще заветриться.

Хорошо запомнился рабочий стол Ильича, заваленный вырезками, рукописями, газетами, и тяжелая четырехугольная чернильница. Когда, войдя, Глеб Максимилианович спросил, готов ли ответ на предыдущее письмо (все официальные переговоры между враждующими сторонами велись в письменной форме), Ленин тут же кивнул.

— Конечно.

— Где же он?

— Здесь,— Владимир Ильич указал на чернильницу и тяжело вздохнул: — Если бы все дело было только в этом!..

— Но неужели дело в том, как толковать букву первого параграфа Устава?!

До сих пор Ленина отличали от всех, с кем виделся Глеб Максимилианович в Женеве, предельное спокойствие, выдержка. Если и Мартов и Дан всячески старались перетянуть Глеба на свою сторону, то Ленин, напротив, меньше всего агитировал. При том чувстве собственного достоинства, которое в высокой степени свойственно ему, при нерушимой цельности его внутреннего «я», он по-прежнему оставался на редкость скромным — чуждым какой бы то ни было самовлюбленности — и при первой же встрече предупредил: «Хочешь беспристрастно разобраться, обратись к протоколам съезда».

Но на этот раз...

— Да пойми же наконец! — не сдержался он.— Дело не в букве Устава, а в том, какую партию мы построим по нему!

— Какую партию — не знаю, а склоку здесь развели знатную! — сорвался и Глеб Максимилианович. Не хотелось об этом говорить, не хотелось затрагивать недостойные их былого питерского содружества мотивы, но и промолчать уже было нельзя: — Мартов просто...— он попробовал подыскать слово помягче, махнул рукой,— просто брызжет слюной. Тот самый Мартов — добрейший и милейший, который, казалось, мухи не способен обидеть! Тот самый, за которого ты так хлопотал, так боялся, когда он замерзал в Туруханске!.. Говорит, будто бы ты сказал ему накануне съезда: «Чего ты, Юлий, боишься редакции из трех лиц? Мы будем вместе бороться против Плеханова...» Неужели это правда?

Ленин вскинул на него взгляд, как бы говоря: «И ты, знающий меня столько лет по Питеру, по ссылке,— ты можешь так спрашивать?! Можешь сомневаться во мне?! Не ожидал». Но подавил обиду,

 погасил иронию, произнес как можно спокойнее:

— Оставим это утверждение на совести Юлия. Но — ты должен меня знать — когда нужно защищать правильную мысль, я буду бороться с Мартовым против Плеханова и с Плехановым против Мартова. И личные мотивы тут ни при чем. Я теперь борюсь не за редакцию «Искры», а за ЦК. После трусливой измены Плеханова мартовцы обнаглели и хотят захватить ЦК таким же пролазничеством, бойкотом и скандалом.

Глеб Максимилианович недоверчиво покачал головой, отступил на полшага.

— Думаю, что мир с ними — конечно, мир в интересах дела! — все же возможен. А худой мир лучше доброй ссоры, особенно теперь, накануне революции.

— Глеб! Дорогой!..— Ленин понизил голос и ласково положил руку на плечо друга.— Неужто не видишь, как мне тяжело?! Неужто я не понимаю всего убийственного значения раскола?! Да, идет революция. И именно потому — и прежде всего потому! — России нужна партия революционеров, а не соглашателей! Спасение одно — съезд. Лозунг его: борьба с дезорганизаторами.

— Немедленный съезд — расписка в нашем бессилии.

— Напротив! Съезд докажет нашу силу, докажет, что не на словах только, а на деле мы не допускаем командования всем движением со стороны клики заграничных скандалистов. Мартовцы отравляют партию сплетнями, распространяют небылицы про большинство съезда, дискредитируют избранных съездом членов ЦК — большевиков. Создавшееся в партии положение связано с шатанием мысли и интеллигентским индивидуализмом, проявившимся при обсуждении первого пункта Устава... Надо, чтобы Россия восстала твердо за ЦК!

— Но обрати внимание, Володя, какая получается ситуация. Ведь, по сути дела, все, решительно все против тебя.

— Отнюдь не все. И ты это знаешь не хуже меня.

— Ну хорошо. Пусть так. Но даже среди тех немногих, кто голосует с тобой, на мой взгляд, преобладают такие, которые делают это главным образом по личной преданности тебе. Вот и выходит, что ты один против всех.

— Даже если бы это было так — а это не так,— все равно... Я хочу быть членом партии работающих, а не болтающих. Ты знаешь, Глеб, еще с юности, с детства даже меня не упрекнешь в пристрастии к закону божьему. Но всегда во мне вызывал сочувствие пафос библейской притчи, направленной против тех, кто продает первородство за чечевичную похлебку...

Несмотря на это, Глеб Максимилианович по-прежнему пуще всего страдал за судьбу дела там, дома, в России,— сегодня, сейчас. Он видел причину всех бед лишь в «распре вождей», искренне спешил помирить их и, надо сказать, преуспел: некоторое перемирие между Лениным, Плехановым и Мартовым было заключено.

Потом, через несколько лет, стало хорошо видно, что борьба Ленина против Мартова шла меньше всего из-за личной вражды, что это была принципиальная, неизбежная и непримиримая схватка революционера с соглашателем-реформистом, а тогда...

Окрыленный и довольный, возвратился Кржижановский в Киев и стал уверять товарищей, что опасность раскола миновала, что «наша старая «Искра» по-прежнему непобедимая армада».

Прошло несколько недель — и в Киев полетели из Женевы тревожные письма: снова разрыв, снова бой
 по всей линии. Враждующие стороны сходятся только

в одном — обе изрядно и поделом поливают Глеба-миротворца за его «болотную» попытку.

Вместе с другими членами ЦК Глеб Максимилианович рассылает по комитетам письмо, зовущее к примирению. А Ленин требует, чтобы друг изжил иллюзии, предупреждает об опасности, не очень-то стараясь подбирать выражения:

— Подумайте же, наконец, хорошенько о всей политической позиции, взгляните пошире, отвлекитесь от мелкой будничной возни с грошами и паспортами и выясните же себе, не пряча головы под крыло, куда вы идете *и ради чего* вы канитель тянете...

— Взбешен я робостью и наивностью Лани до чертиков...

(«Лань» — одна из партийных кличек Глеба Максимилиановича.)

— Раскол был бы лучше, чем то, что̀ есть теперь, когда они опоганили сплетней «Искру»... Нам нужны деньги. Хватит на 2 месяца, а потом шиш. Мы ведь теперь «содержим» негодяев, которые в ЦО плюют и блюют на нас...

Ну и гора навалилась на тебя, Лань — Кржижановский! Мало того, что дела из рук вон плохи, так еще Зина встретила новый — девятьсот четвертый — год в тюрьме. И на все призывы Ленина он отвечает в прежнем духе:

— Ваше письмо о войне с ЦО огорчило меня сверх меры... Могу представить себе, что притязания различных Добчинских и Бобчинских выросли до бесконечности и сделались окончательно нетерпимыми.

Но состояние разброда и разъединенности теперь, в настоящий исторический момент, представляется мне громадным несчастьем — я бы сказал, полным политическим самоубийством... объединению и умиротворению партии должны быть принесены в

жертву все другие — менее важные — соображения. Разумеется, что единство должно быть не внешним, «не грамматическим», а боевым единством армии, готовой к решительному сражению. Мы должны достичь такого единства немедленно, или наша историческая позиция будет утрачена навсегда.

Да, как это ни горько, но за излишнюю доверчивость и впечатлительность приходится жестоко поплатиться...

Не дано было в ту пору Глебу Максимилиановичу понять политический смысл разногласий, разглядеть, что Ленин воевал с опаснейшим врагом революции — оппортунизмом, что не объединение с меньшевиками было нужно, а полный и окончательный разрыв — полное и окончательное размежевание. Раскол «на другой день после съезда, создавшего партию», попрежнему казался ему катастрофой.

Как все это огорчало Ильича — и позиция, и поведение верного друга, члена ЦК — как возмущало, оскорбляло, ранило!

— Нет ничего нелепее мнения, что работа по созыву съезда, агитация в комитетах, проведение в них осмысленных и решительных (а не сопливых) резолюций *исключает* работу «положительную» или противоречит ей...

— Партия разорвана фактически, устав обращен в тряпку, организация оплевана,— только благодушные пошехонцы могут еще не видеть этого...

— Я думаю, что у нас в ЦК в самом деле бюрократы и формалисты, а не революционеры. Мартовцы плюют им в рожу, а они утираются и меня поучают: «бесполезно бороться!»... Только бюрократы могут не видеть теперь, что ЦК не есть ЦК и потуги быть им смешны. Либо ЦК станет организацией *войны с ЦО*, войны на деле, а не на словах, войны в комите-

тах, либо ЦК — негодная тряпка, которую поделом выкинут вон.

Поймите, христа ради, что централизм разорван мартовцами бесповоротно. Плюньте на идиотские формальности, занимайте комитеты, учите *их* бороться за партию против заграничной кружковщины, пишите им листки (это не помешает агитации за съезд, а поможет ей!), ставьте на технику подсобные силы. Руководите войной с ЦО или бросьте вовсе смешные претензии на «руководство»... утиркой плевков.

Поведение Клэра позорно... Меня ничто не злит так теперь, как наш «так называемый» ЦК...

«Клэр — значит светлый, ясный, яркий»,— с уважением говорили товарищи. «Клэр — значит светлый, ясный, яркий»,— дружески шутил «Старик». Глеб Максимилианович втайне гордился тем, что среди других кличек у него была и такая. И вдруг:

«Поведение Клэра позорно...»

Неужели только он, Ленин, оказался по-настоящему зорким? Неужели мудрость вождя состоит прежде всего в предвидении событий задолго до того, как они произойдут? Что, если именно в этом раннем распознании революционного грехопадения мартовцев и проявляется прозорливость Ильича?

Перебирая в памяти их женевские беседы, мысленно восстанавливая и переживая вновь одну встречу за другой, Глеб Максимилианович все больше сомневался: в самом деле, если исключить то, что он называет склокой, отбросить свои собственные и плехановские представления о борьбе Ленина с Мартовым, что тогда останется?..

Владимир Ильич настаивал: меньшевизм — прямое продолжение «легального марксизма» и «экономизма». Эти разные формы одного и того же течения

объединяет стремление во что бы то ни стало выбросить из марксизма главное — учение о социалистической революции, а значит, сложить оружие, прекратить борьбу.

Так ли все это? Могли ли вы что-нибудь возразить против этого, уважаемый Глеб Максимилианович?..

Если это не так, то почему мартовцы, с которыми вам каждый день приходилось работать бок о бок в комитетах,— почему они восхваляли все ту же кружковщину, а по сути, организационную распущенность, анархическую недисциплинированность? Почему последовательно и настойчиво мешали делать все, что шло на пользу революции, все, чего требовала программа партии революционеров?

Да-а... Разве с такой партией, какую хотели построить Плеханов, Мартов, Дан,.. можно было идти воевать и рассчитывать на победу?

Долгими зимними ночами в опустевшей квартире, в остывшей, по-холостяцки неуютной постели не спалось Глебу Кржижановскому. Тревога за жену, за собственное будущее. Думы, думы...

Неужели большевизм и меньшевизм — два несовместимых восприятия действительности, два взаимоисключающих политических течения?

«А ты как думал? Ведь это же так просто! Как ты мог не заметить, не понять сразу?! Вот что значило с самого начала надеть на себя шоры былых симпатий и привязанностей. Вот что значило подойти к делу с предвзятостью и слепой верой в авторитеты...»

Тем временем Центральный Комитет уже был захвачен мартовцами. В нем преобладали примиренцы и мартовцы, упрямо продолжавшие считать принципиальные разногласия склокой и ни за что не желавшие созывать новый съезд партии.

«Какая гадость! Какая подлость и предательство!» Глеб Максимилианович вместе с Ленгником решили выйти из ЦК.

Нет, это не был жест отчаяния или протест одиночек. Кржижановский уже не мог работать с теми, кто действовал не по Ленину, не хотел разделять с ними ответственность.

— Дорогой друг!..— тут же поддержал его Ильич.— Ради бога не спеши с решениями и не отчаивайся... Не смущайся своим временным удалением от дела и лучше воздержись от нескольких голосований, но не уходи совсем. Поверь, что ты еще будешь очень и очень нужен и что все друзья рассчитывают на твое близкое «воскресенье»... Запасись некоторым терпением и ты увидишь скоро, что наша кампания прекрасная и что мы победим силой убеждения... Лучше бы всего, если бы ты изловчился выбраться на недельку сюда,— не для дел, а исключительно для отдыха и для свиданья со мной где-либо в горах. Право же, ты еще будешь очень нужен... Обязательно соберись с силами, и мы еще повоюем!

Сколько горечи, сарказма, беспощадной критики Ленин обрушил на друга — и особенно на него! — когда тот упорствовал в своем заблуждении... Сколько тепла, участия, заботы теперь — к человеку, нужному и делу и самому «Старику», к товарищу, который измучен, вымотан до предела, нуждается в помощи, в отдыхе.

От протеста, от нежелания оставаться рядом с мартовцами и примиренцами Глеб Максимилианович переходит к активному сотрудничеству с большевиками — и только большевиками.

Теперь он понял свою политическую ошибку и беспощадно бичует свою примиренческую позицию,

то, что придавал особое значение личной спайке. Он жестоко поплатился за переоценку этого момента и близорукость политического расчета, за то, что вовремя не увидел, каким зорким в историческом смысле оказался действительно только один Владимир Ильич.

Оставив ЦК, Кржижановский работает в Киевской организации большевиков, работает истово, на всю мощь души — иначе не умеет. Агитирует за созыв Третьего съезда. Готовит его. Как и тогда, в Самаре, опять нужны деньги. И опять не очень ясно, где их взять...

Но вот Леонид Борисович Красин дает ему «магическую» записку... Вот Глеб Максимилианович входит в сверкающий зеркалами и мрамором вестибюль гостиницы, поднимается по лестнице, уставленной корзинами с цветами...

В роскошной, пропахшей гиацинтами и дорогим турецким табаком приемной — почитатели таланта великой русской актрисы Комиссаржевской. Она только что закончила триумфальное выступление на киевской сцене. И ее аудиенции терпеливо ждут видные адвокаты, профессора, статские советники.

Глебу Максимилиановичу очень неловко среди них, особенно когда он ловит на себе, точнее, на своем потертом сюртуке взгляд самого товарища прокурора, и ему начинает казаться, что он не туда пришел, что надежда получить здесь деньги на революцию — недоразумение. Конечно, Вера Федоровна известна демократизмом, сочувствием к студентам, и свой репертуар она противопоставляет бездумно-развлекательным представлениям большинства театров. Но ведь Глеб Максимилианович никогда не встречался с ней, а на первое знакомство предстоит нечто вроде ограбления.

Волнуясь, он протягивает лакею ту самую записку от «Никитича», которую Никитич — Красин назвал магической...

И в самом деле — чудо! Приглашение войти, приказ: больше никого не принимать за нездоровьем Веры Федоровны.

Не присаживаясь, Кржижановский смотрит на артистку. Перед ним усталое лицо труженицы. Прекрасные добрые глаза женщины, которой ничего не надо объяснять, глаза товарища-единомышленника...

Не только то радостно, что деньги добыты — да еще какие деньги! — а и то, что такие люди с нами. Все лучшее, что есть в России, с тобой, Глеб. «Смелость, смелость и еще раз смелость!»

Держи душу за крылья

— Глебася!.. Ну что ты не спишь?

— А сама-то! Что с тобой, Зина?..

— Половина второго уже.

— Так и вижу перед собой Питер. Кровь на снегу. Словно я там был.

— И мне все кажется, будто в меня целится казак.— Зинаида Павловна придвинулась к мужу.— Вчера на Крещатике встретила товарища... Он был там, в Питере, девятого января... Рассказывает, что после расстрела толпы многие демонстранты забрались на ограду Александровского парка — чтобы кавалеристы не достали. Послышался сигнал рожка. Кавалеристы дали три залпа. Люди посыпались — так он и сказал: «посыпались»— о людях... Убитые повисли на ограде. Другие валялись под ней, убрать было невозможно, и раненых перевязать некому.

— А шли, как на праздник, с иконами, с портретами царя. С доверием к царю-батюшке!.. Говорили: «Солдаты — для порядка». Кричали: «Ура, солдаты!» — Глеб Максимилианович стиснул кулаки, резко приподнялся, уперся в подушку.

— Всей бойней заворачивал дядюшка его императорского величества Владимир. Говорят, ему принадлежит изречение: «Лучшее лекарство от народных бедствий — это повесить сотню бунтовщиков».

— И раньше мы понимали, что революция придет не в парчовых ризах, а теперь увидели, почувствовали... Дорого приходится платить за науку. Дорого! Что-то мы недоучли, чего-то не сумели, не смогли. А должны были... Пойдем пройдемся.

— Сейчас?!

— Все равно не заснуть...

Тяжкие дни выпали на их долю с тех пор, как Зинаида Павловна вернулась из-под ареста.

Двадцать четвертого января минувшего года Япония разорвала дипломатические отношения с Россией. Через два дня из Порт-Артура отплыл английский пароход с необычными пассажирами на борту. Все они были японцами, всех до того постоянно встречали на набережных, у причалов, поблизости от береговых укреплений и батарей.

Пока они размещались в каютах первого класса, пока прогуливались по палубе, созерцая дымчато-голубые дали и закат на море, все, что касалось важнейшей русской крепости на Тихом океане и тридцати военных кораблей, базирующихся в ней, — все было уже передано ими японскому штабу.

Ночью, когда господа командиры крепости и русской эскадры поднимали последние заздравные бокалы на именинах супруги адмирала Старка, одиннадцать японских миноносцев атаковали военные ко-

рабли, мирно дремавшие на рейде Порт-Артура, и подорвали три лучших из них. Одновременно шесть японских крейсеров с миноносцами напали на крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец» в порту Чемульпо.

Началась русско-японская война.

Остатки русского флота были блокированы, и японцы беспрепятственно высаживали на материк все новые десанты. Их войска отрезали Порт-Артур от русских сухопутных сил в Маньчжурии. Все попытки командующего армией генерала Куропаткина помочь осажденной крепости окончились провалами — сначала под Вафангоу, потом под Ляояном. На укрепление этих позиций за семь месяцев истратили семь миллионов рублей. Японцы бомбардировали их из русских орудий русскими снарядами, захваченными прежде. Но шансы на победу были у русских: они превосходили неприятеля численно. И вдруг, не введя в бой все силы, не использовав резервы, Куропаткин приказал отступить. Не помогла Порт-Артуру и битва на реке Шахэ, план которой, рассчитанный на внезапную атаку конницы, стал заранее известен противнику.

Порт-Артур героически оборонялся. Его солдаты, матросы, унтер-офицеры погибали, но не сдавались. Погибли адмирал Макаров, генерал Кондратенко, вдохновлявшие защитников крепости. Сто двенадцать тысяч японских солдат полегли под стенами твердыни. Но двадцатого декабря генерал Стессель предательски, вопреки воле военного совета, сдал Порт-Артур. Сдал, к удивлению... самих японцев, полагавших, что крепость продержится еще два месяца. Врагу достались три сотни исправных орудий, двести тысяч снарядов к ним, семь миллионов патронов, запасы продовольствия...

И Глеб Максимилианович и Зинаида Павловна тяжело переживали эти события.

Конечно, известно было, что верхушка страны надеялась: «Мы Японию шапками закидаем»,— и рассчитывала, что победа укрепит власть, отвлечет внимание народа от революции. Недаром министр внутренних дел и шеф жандармов Плеве признавался:

— Маленькая победоносная война необходима, иначе нам внутри России будет грозить беда.

Конечно, и Глеб Максимилианович и Зинаида Павловна хорошо понимали и то, что на Дальний Восток отправляют большей частью молодых, плохо обученных солдат или запасных, а кадровиков берегут для борьбы с «внутренним врагом»...

Но несмотря на все эти «конечно», нельзя было отрешиться от того, что ты — русский. Было так больно, так стыдно, что твои генералы продажны и бездарны, что их бьют, хотя у России вдесятеро больше солдат, чем у Японии.

Нет, ни Глеб Максимилианович, ни Зинаида Павловна не стали, подобно меньшевикам, оборонцами. Подавляя чувство оскорбленного национального достоинства, оба они, как настоящие большевики, считали: поражение царизма ускорит революцию. Оба вместе, как говорится, «последовательно отстаивали и проводили» политику пораженчества. Скрытно, при постоянной угрозе полевого суда за изменничество и подстрекательство, в обстановке военного времени пробирались на заводы, в казармы, депо. Втолковывали, что далеко не случайно Россия оказалась неподготовленной к войне. Ни на Дальнем Востоке, ни в Сибири не было военных заводов. Программа морских вооружений не выполнена. К началу войны не завершено строительство и переоснащение Тихо-

океанской эскадры, не закончены укрепления, не усилены гарнизоны...

Вспоминая свою работу машинистом, Глеб Максимилианович особенно остро представлял и живо объяснял товарищам все, что касалось Сибирской магистрали. Временами он будто бы видел заиндевевшие лица солдат, едущих на восток. Участок вдоль берега Байкала еще не достроен, и через озеро приходится переправляться на ледоколе... Единственная ветка к «театру войны» сделана наспех, на живую нитку, не хватает паровозов, вагонов, нет станционных служб. Владивосток и Порт-Артур отрезаны друг от друга неприятельским флотом, а основное «средство связи» — ординарцы. Нет ни телефонной сети, ни радиотелеграфа, хотя он изобретен десять лет назад — «у нас, в России»!..

Вновь и вновь обращается Кржижановский к людям, передает им горькую правду ленинских слов:

— Отсталыми и никуда не годными оказались и флот, и крепость, и полевые укрепления, и сухопутная армия.

Связь между военной организацией страны и всем ее экономическим и культурным строем никогда еще не была столь тесной, как в настоящее время.

Да, все это так, все это не случайно. И лекарство против этого только одно — революция. Любить отечество, быть патриотом теперь — значит биться против своего, русского помещика, против русского заводчика, против русского царя. Потому, что тысячу раз прав Ленин:

— Русский народ выиграл от поражения самодержавия. Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции царизма. Война далеко еще не кончена, но всякий шаг в ее продолжении расширяет необъятно брожение и возмущение в русском народе, прибли-

жает момент новой великой войны, войны народа против самодержавия, войны пролетариата за свободу.

Ради этого Организационный комитет большинства готовит Третий съезд партии, ради этого трудится Глеб Максимилианович Кржижановский. Приглашает товарищей, добывает деньги, паспорта, отправляет за границу делегатов, участвует в издании новой ленинской газеты «Вперед».

Съезд определил тактику большевиков в революции...

«Кровавое воскресенье» дало размах небывалым еще в России выступлениям рабочих. На расстрел демонстрантов питерцы ответили всеобщей стачкой. Уже в понедельник, десятого января, Питер стал похожим на город, захваченный неприятелем. По улицам патрулировали казачьи разъезды. Там и тут собирались возмущенные рабочие, начинались митинги. То и дело возникали стычки с войсками, раздавались выстрелы. Вечерами столица тонула в темноте: забастовщики отключили электричество и газ.

Волна стачек протеста всколыхнула всю страну. В Москве началась всеобщая забастовка. В Киеве также все были потрясены петербургскими событиями. Одни со страхом, другие с надеждой ждали, что будет дальше. Ну, а третьи... Третьи, и в их числе Кржижановские, делали то самое, «что будет дальше...»

Забастовки в Иваново-Вознесенске, Туле, Нижнем Новгороде, Твери, в Поволжье, на Урале, в Сибири, Ревеле, Риге, Тифлисе, Батуме, Баку...

Набатный звон колоколов, стога и скирды, горящие призывом к выступлениям крестьян по всей стране...

 Восстание в Лодзи...

Словно масла в огонь подливают поражения под Мукденом и при Цусиме.

Причины? Не раз о них задумываются Кржижановские. С болью и негодованием говорит о них Ленин:

— Сотни миллионов рублей были затрачены на спешную отправку балтийской эскадры. С бору да с сосенки собран экипаж, наскоро закончены последние приготовления военных судов к плаванию, увеличено число этих судов посредством добавления к новым и сильным броненосцам «старых сундуков». Великая армада,— такая же громадная, такая же громоздкая, нелепая, бессильная, чудовищная, как вся Российская империя,— двинулась в путь, расходуя бешеные деньги на уголь, на содержание, вызывая общие насмешки Европы, особенно после блестящей победы над рыбацкими лодками, грубо попирая все обычаи и требования нейтралитета. По самым скромным расчетам, эта армада стоила до 300 миллионов рублей, да посылка ее обошлась в 100 миллионов рублей,— итого *400 миллионов рублей* выброшено на эту последнюю военную ставку царского самодержавия.

Теперь и последняя ставка побита. Этого ожидали все, но никто не думал, чтобы поражение русского флота оказалось таким беспощадным разгромом. Точно стадо дикарей, армада русских судов налетела прямиком на великолепно вооруженный и обставленный всеми средствами новейшей защиты японский флот. Двухдневное сражение,— и из двадцати военных судов России с 12—15 тысячами человек экипажа потоплено и уничтожено тринадцать, взято в плен четыре, спаслось и прибыло во Владивосток только одно («Алмаз»). Погибла большая половина экипажа, взят в плен «сам» Рождественский и его ближайший помощник Небогатов, а весь японский

флот вышел невредимым из боя, потеряв всего три миноносца.

Русский военный флот окончательно уничтожен. Война проиграна бесповоротно... Перед нами не только военное поражение, а полный военный крах самодержавия.

Ровно через месяц совсем иное сражение с совсем иным исходом: против целой эскадры восставший броненосец «Князь Потемкин Таврический», который Ильич назвал непобежденной территорией революции. «...в Румынии революционный броненосец передал консулам прокламацию с объявлением войны царскому флоту, с подтверждением того, что по отношению к нейтральным судам он не позволит себе никаких враждебных действий. *Русская революция объявила Европе об открытой войне русского народа с царизмом.* Фактически, русская революция делает этим попытку выступить от имени нового, революционного правительства России».

Наступает октябрь девятьсот пятого года. Приходится сбросить маску — действовать в открытую, играть ва-банк. В разгар всероссийской политической стачки Кржижановский — председатель забастовочного комитета Юго-Западных дорог. Понятно, это обстоятельство не вызывает восторга у его железнодорожного начальства, а черносотенная газета «Киевлянин» изо дня в день уличает большевика во всех смертных грехах, поносит как изменника.

Переходя с митинга на митинг, призывая рабочих к сплочению, к вооруженной борьбе, все время ждешь «случайного» выстрела из-за угла — держишь револьвер наготове. Но за твоей спиной — тысячи железнодорожников — забастовочный комитет становится хозяином положения не только на линиях, но и в Киеве.

Все это очень приятно, очень радостно, но дело, дело прежде всего! Глеб Максимилианович распоряжается работой транспорта так, как «нам надо» — останавливая или пуская движение на данном перегоне, через данный узел, не перестает выступать перед рабочими. Должно быть, он не так плохо говорит, если после его речи на тридцатитысячном митинге в Жмеринке рабочие выносят его на руках.

Киевские большевики готовятся к вооруженному восстанию. Поэтому особая забота — о привлечении на сторону революции солдат городского гарнизона. Весьма и весьма успешной оказывается работа среди саперов и артиллеристов.

Погожим октябрьским утром в «штаб» Глеба Максимилиановича приходят делегаты саперного полка:

— Полк готов к боевым действиям на стороне большевиков. Привлечем к восстанию артиллеристов, а потом вместе с бастующими рабочими захватим крепость.

— Так, так, так...— Глеб Максимилианович с трудом сдерживает радостное волнение, думает вслух: — Это дело! Дело...

Вместе с тем тут же почему-то приходят мысли о девятом января в Петербурге. Да, дело-то всерьез заворачивается. Что, если?..

Делегаты между тем вздыхают, жмутся:

— Вот только боезапасов у нас маловато. Начальство о чем-то догадывается, подозревает. Офицеры всю взрывчатку запрятали.

— Что-нибудь придумаем.

Что же может придумать в таком случае председатель забастовочного комитета?

Но ведь председатель забастовочного комитета еще и инженер-технолог: химик...

С большим риском, с прямой опасностью для

жизни в лаборатории Киевского политехникума вместе с «нашим» профессором Тихвинским Глеб Максимилианович готовит особо сильные взрывчатые соединения. Кстати, чуть позже, после Московского вооруженного восстания, этот богатый производственный опыт очень пригодится Глебу Максимилиановичу: точно такую же взрывчатку, вернее, бомбы, начиненные ею, он будет успешно испытывать с Леонидом Борисовичем Красиным в угрюмых финляндских шхерах.

А пока... бомбы со взрывчаткой, которую делают в лаборатории Киевского политехникума, спрятаны — где бы, вы полагали? Трудно догадаться. В самом центре города — в городской думе.

Власти растерялись, но и большевики, потратившие до того немало сил на преодоление разногласий в партии, не очень-то ясно понимали, как быть дальше. Глухая тревога охватывала Глеба Максимилиановича: как завершить бесконечную цепь митингов? И тут вступила в действие логика борьбы: если ты не развиваешь успех, даешь врагу опомниться, он неминуемо воспользуется твоим замешательством.

Комитетчики со дня на день откладывали выступление, все прикидывали, когда выгоднее напасть на крепость. А тем временем охранка еще раз доказала, что не зря ее зовут «недреманным оком». Из орудий, которые приготовили революционные солдаты, были вынуты замки, а сами артиллеристы обезоружены. Выступивших саперов встретили пулеметы, а рабочая манифестация, направлявшаяся к думе с красными знаменами и пением «Варшавянки»...

Хорошо, на всю жизнь, как жестокая порка, помнится... Семнадцатое октября. Море людей на Крещатике. Праздничные, улыбающиеся лица хмельных обывателей:

— К чему нам теперь бунтовать? Мы своих правов и миром достигли!

— Государь наши нужды уважил...

— Манифест! Слобода! Поцелуемся, брат городовой!

Хоругви, слезы умиления, объятия. «Боже царя храни» заглушает «Варшавянку», взметнувшуюся оттуда, где шагают Глеб Максимилианович и Зина с товарищами.

Всеобщая политическая стачка парализовала государственную власть и хозяйство страны. Повергла правящие верхи в панику: многие из тех, кого принято называть «власть имущими», уже подумывали о спасении бегством за рубежи. Видный политический деятель граф Витте, не советовавший в свое время затевать войну с Японией и очень популярный в цивилизованной Европе, предложил царю:

— Лозунг «Свобода» должен стать лозунгом правительственной деятельности; раз правительство станет во главе движения, оно сразу приобретет опору и получит возможность ввести движение в границы и в них удержать, иначе грозит русский бунт, бессмысленный и беспощадный, который все сметет, все повергнет в прах... Выбора нет: или стать во главе охватившего страну движения, или отдать ее на растерзание стихийных сил.

Ради «умиротворения» Николай «Вторый» вынужден был уступить — издать Манифест, провозгласивший «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Всемилостивейше было обещано привлечь к участию в Государственной думе «те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав», и установить «как незыблемое правило, чтобы никакой

закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной думы».

Графа Витте самодержец всероссийский назначил председателем вновь созданного совета министров, дабы внести успокоение в жизнь страны.

Большевики полностью разделяли отношение к сим конституционным поблажкам, высказанное в известном двустишии:

Царь испугался, издал манифест:
Мертвым — свобода, живых — под арест.

Но нельзя было дать противнику перехватить инициативу. И вот Глеб Максимилианович, Зинаида Павловна идут впереди демонстрации, вместе с товарищами...

Вдруг, как взрыв, повсюду и рядом:

— Казаки!..

Сразу наступает тишина: от угла, где остановились демонстранты, до городской думы — над всем морем голов. Ее прорезает свист.

Кто-то вскрикнул. А кто-то упал без крика. Судорожно вцепился в свой белый колпак пирожник — тот самый: только что целовался с городовым!.. Обычность, безысходная будничность всего происходящего. И одновременно какая-то его невзаправдашность... Распоротое нагайкой пальто. Рассеченная губа... Бессильная ярость — ярость от сознания собственного бессилия.

Вот тебе и «неприкосновенность личности»! Вот вам и «свобода собраний»!

После расстрела демонстрации начался грандиозный погром — хорошо продуманный и поставленный полицией, сработанный молодцами из черной сотни, а спустя немного — еще более кровавое усмирение восставших саперов. Повальные обыски. Аресты.

По всему Киеву искали осатаневшие «слуги престола и отечества» председателя забастовочного комитета — «этого мятежника», «этого смутьяна, зачинщика и подстрекателя бунтовщиков». Кто знает, попади он к ним тогда в руки, может быть, с ним бы расправились на месте, но спасло чудо. Вместо опасного большевистского руководителя Кржижановского жандармы задержали безобидного бухгалтера Кшижановского. Пока недоразумение выяснялось, Глеб Максимилианович и Зинаида Павловна были уже далеко — в Петербурге.

Северная столица еще утопала в «конституционных свободах». И это сразу бросалось в глаза: мальчишки-газетчики на углу Невского и Садовой, не страшась, трунили над самим премьер-министром:

— Витте пляшет, Витте скачет, Витте песенки поет...

В Питере Кржижановских встретил Владимир Ильич и тут же «поставил на дело» в большевистских организациях.

Не так долго пришлось на этот раз поработать вместе с Лениным дома, в России. Московское восстание подавлено. Петербург безмолвствует. Ленин бесстрашно едет в Москву, к товарищам. Возвращается. Выступает перед партийцами, перед рабочими. Снова едет в Москву. Потом в Стокгольм, на Четвертый съезд партии. Сколько он работает в то время — невероятно даже для него. Но атмосфера накаляется — готовится расправа. И решено как можно скорее увезти Ильича за границу.

Памятен разговор с ним накануне его отъезда. Тихий августовский вечер. Ильич пробирается в квартиру Кржижановских после трудного рабочего дня. Но, как прежде, он оживлен, бодр, косится в сторону аппетитного дымка над тарелками.

Сам собой разговор заходит о последних событиях.

Разливая бульон, подкладывая гостю кусок повкуснее, Зинаида Павловна вздыхает о том, что начавшиеся партизанские выступления — верный признак отлива.

— Весь этот частный террор,— подхватывает Глеб Максимилианович,— все эти налеты-«эксы» — все это спад революции.

— Напротив! — Ильич решительно отставляет пустую тарелку.— Они дают возможность организовать решительные двойки и тройки для новой волны. Посев слишком реален. Семена упали именно в те слои почвы, говорить о бесплодии которых — все равно, что признать отсутствие пульса у такой преисполненной сил страны, как наша.— И, приподнявшись из-за стола: — Революция подавлена. Да здравствует революция!

Но впереди еще самые трудные годы. Торжество победивших врагов. Столыпинские «преобразования». «Столыпинские галстуки» на шеях товарищей. И — еще страшнее — уход, измена, предательство тех, кого привык считать верными до конца. Изо дня в день зрелище того, как они осмеивают, оплевывают святые идеалы.

Кто знает, как бы он прошел сквозь безвременье, если бы не его, «Старика», незримое присутствие рядом, его жизненный и житейский пример, поддержка, постоянный мысленный совет с ним.

Третий пункт путейского устава, по которому в пятом году уволен инженер Кржижановский, запрещает ему работать на железных дорогах России. Департамент полиции предусмотрительно закрыл перед

ним двери фабрик и заводов. И еще после ссылки правительство оговорило «недозволительность проживания Глеба Максимилиановича Кржижановского» во всех промышленных и университетских городах. Словом, шагу ни ступи — все «нельзя», «нельзя», снова начинается нелегальная жизнь.

Подпольная работа в уцелевших организациях Питера. Случайные заработки. Уроки. Ох, как медленно, как мучительно тяжело тянется проклятый девятьсот шестой год! Как долго он не кончается!

Только к девятьсот седьмому в Петербург возвращается Леонид Борисович Красин... С ним Глеб Максимилианович подружился еще в студенческие годы. Казалось, природа отпустила этому человеку неиссякаемый запас духовных и физических сил. Ораторские способности, гибкая и тонкая аргументация как-то сразу выделяли его, делали заметным среди товарищей. Нелегкую премудрость технологических наук он одолевал с такой же легкостью, с какой переплывал Волгу. Исключая его из института за участие в демонстрации на похоронах Шелгунова, директор очень жалел о потере такого студента. Это несмотря на то, что еще «вчера», во время сходки, студент с блеском обличал того же директора!..

Прошли годы первой ссылки — Леонид Красин завершил образование. Стать хорошим инженером помогли ему и широкая, богатая начитанность, и подготовка диалектика-марксиста, и способность «мыслить геометрически» — сразу понимать чертежи, владеть счетной линейкой.

Вместе с Классоном он строит электрическую станцию на Бакинских нефтяных промыслах, становится известным в деловых кругах России как ближайший друг и сотрудник «несравненного Роберта

Эдуардовича», как инженер, «под которого можно дать деньги».

Там же, в Баку, Леонид Красин организует подпольную типографию.

До сих пор памятна Глебу Максимилиановичу тогдашняя встреча с ним. Кржижановский как член первого Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии повел с Красиным переговоры. Красин тут же с готовностью откликнулся на предложение о сотрудничестве. Это он помог быстро напечатать первомайскую прокламацию, ставшую как бы манифестом Центрального Комитета.

В революцию пятого года Красин — незаменимый помощник Ильича, который высоко его ценит.

Как член ЦК, он создает знаменитую подпольную типографию в Москве, на Лесной улице, а как видный инженер строит электрическую станцию в Орехово-Зуеве, у Саввы Морозова.

Знакомство с этим крупнейшим фабрикантом открывает Красину доступ в среду фрондирующей либеральной верхушки Москвы, а личное обаяние помогает сблизиться с актерами Художественного театра — добывать деньги для большевиков.

Перебравшись в Питер, Леонид Борисович занимает пост заведующего кабельной сетью «Электрического общества». Обстоятельство, мешающее даже опытным ищейкам понять, что Красин — активный участник революции, что он дружит с такими людьми, как Камо, готовит и испытывает бомбы с такими, как Глеб Кржижановский.

Вскоре по его протекции на улицах столицы появляется не совсем обычный монтер. Внешне он ничем не отличается от своих собратьев по профессии — свежая рубашка с накрахмаленным воротничком,

строгий черный галстук, строгая тужурка, шляпа, кожаная сумка на широком ремне. Мало кто знает, что имя этого человека высечено на мраморной доске в вестибюле того самого института, мимо которого он сейчас шагает, что он был начальником крупнейшего в России депо, входил в руководящую пятерку петербургского «Союза борьбы», в первый ЦК Российской социал-демократической рабочей партии.

Но, странное дело, нет в нем ничего от того, что принято называть «все в прошлом». Наоборот, бодро, легко шагает он по земле, подставляя лицо недоброму осеннему ветру.

Вот к нему подходит какой-то очень уж невзрачный — совсем без особых примет — человек, передает что-то и тут же исчезает. Кто знает, что он передал? Наряд на установку трансформатора или ремонт линии? А может быть, очередное послание Ильича? Ведь главная линия от сего «монтера» тянется теперь за рубеж — к центру партии.

Он поправляет сумку, прибавляет шаг, задиристо, как бы переспоривая кого-то, мотнув головой:

«С самого начала, говоришь, начинать? Пусть! Ветер, говоришь, валит с ног, стужа одолевает? Не впервой. Пусть ветер! Пусть стужа! Пусть, черт побери! Смелость, смелость и еще раз смелость!»

Быстро выдвигается он на службе в солидном «Обществе электрического освещения 1886 г.» — в этой своеобразной немецкой концессии, где к русскому специалисту в лучшем случае отношение снисходительно-недоверчивое. Сначала его переводят в ординарные инженеры, потом доверяют руководство энергоснабжением всего Васильевского острова. Затем — перевод в Москву: за три года — от монтера до заведующего кабельной сетью огромного города. Вот так.

Словом, все повторяется, как когда-то в Сибири, на железной дороге: невольное внимание начальства к талантливому работнику — продвижение по служебной лестнице. И по-прежнему жизнь течет как бы в двух измерениях. Не успевает перебраться на новое место, а в департамент полиции уже летит сообщение от начальника Московского жандармского управления:

«23 июля сего года в г. Москве в квартире инженера-технолога Глеба Максимилиановича Кржижановского состоялось особо законспирированное собрание московских представителей верхов партии...»

Да, как обычно, информация точнейшая, но, к счастью, не исчерпывающая. Ведь в квартире поименованного инженера-технолога не только собираются верхи, но с подпольщиками России встречаются партийцы, пробравшиеся из-за границы, от «Старика». Здесь при самом деятельном участии Зинаиды Павловны, в совершенстве владеющей мастерством художественной имитации почерков и подписей, «оформляют» нужные паспорта. В уютной скромной квартире — кипы революционных книг и брошюр. Сюда обращаются те, кому в эту трудную глухую пору удается бежать из тюрьмы и ссылки,— приходят за помощью и находят ее.

Десятки революционеров работают об руку с Глебом Максимилиановичем в кабельных сетях Питера и Москвы — в трансформаторных будках хранятся деньги и документы: ведь вход туда смертельно опасен и категорически запрещен посторонним... Но и это еще не все. По-прежнему Кржижановский — не последний добытчик средств для партии. Он участвует в издании большевистского легального журнала «Мысль». А многим товарищам помогает тем, что просто «берет к себе на службу».

Дело здесь не обходится без недоразумений, порой досадных, как, например, в случае с рабочим Дунаевым. Уж сколько объясняли ему, как втолковывали, что будущий начальник — не начальник, что он наш, свой и надо вести себя тихо. А Дунаев взял и устроил забастовку.

— Что же ты делаешь?! — вызвал его взбешенный Глеб Максимилианович.— Разве не предупреждали тебя?

— Знаю. Предупреждали. Все равно. Не могу. Душить вас, проклятых буржуев, надо!

Вот и поди столкуйся...

Но это, понятно, курьез. А вообще московские кабельщики понемногу становятся штурмовым отрядом большевиков, и за них не придется краснеть в Октябре.

Вскоре московский директор «Общества электрического освещения...» Роберт Эдуардович Классон затевает сооружение первой в России районной станции на торфе, неподалеку от Богородска,— «Электропередача».

Коммерческим директором становится Глеб Максимилианович Кржижановский. Начальником строительства приглашен сравнительно молодой, но уже опытный и очень властный инженер Александр Васильевич Винтер. Всей бухгалтерией и канцелярией верховодит Иван Иванович Радченко — старый революционер, знакомый Глебу Максимилиановичу по партийным делам.

Понятно, и в монтеры и в рабочие коммерческий директор старается набрать побольше «своих», нужных не только строительству людей, среди которых, между прочим, оказывается и большевик Аллилуев.

В общем, так же как и сооружение кабельной сети, строительство «Электропередачи» превращается

в надежное «гнездо революционеров». Недаром однажды, неожиданно придя на деловое совещание своих служащих, глава «Общества электрического освещения...» господин Буссэ был не слишком приятно удивлен и улыбнулся весьма многозначительно:

— О! — произнес он.— Собрание революционеров! И далеко не малочисленное... Та-ак, господа... Видимо, скоро наша станция станет центром не только электрической энергии. Пусть, пусть. Я не возражаю. Делайте с миром что угодно. Но! Не забывайте об одном: прежде всего, превыше всего прибыль от электрической станции. Она не должна, не может, не имеет права упасть ни на копейку. Прошу заметить, я требую от вас, чтобы она регулярно, бесперебойно поступала в кассу нашего общества.

— Не беспокойтесь, господин Буссэ...

Все эти годы можно считать еще и годами учебы. Да, пожалуй, даже наверняка так: постоянное общение с видными энергетиками, дружба с крупными инженерами и учеными, знакомство с последними достижениями науки и техники, богатый опыт, практика... Да, в Москве и Богородске, как когда-то питерским студентом, Глеб Кржижановский занят прямой подготовкой к тому главному делу, которое предстоит ему начать, воплощая в жизнь мечту об электрификации России.

Не случайно так бережно хранится у него маленькая фотография: Кржижановский, Классон, Радченко, Старков, Винтер, Буссэ на месте будущей «Электропередачи» — Богородский уезд Московской губернии, тысяча девятьсот двенадцатый год...

Вообще-то ничего особенного, обыкновенная, порыжевшая от времени любительская фотография, плохая композиция: шестеро солидных мужчин средних лет сбились кучкой и добросовестно глядят

в объектив. И пейзаж далеко не захватывающий: луговина, кочки, какие-то общипанные, чахлые деревья.

Но ведь именно там, именно тогда сделан первый шаг, положено начало. Не случайно передовые люди страны — инженеры, ученые, политики, умевшие смотреть вперед, радовались тому, что:

— Колоссальное сооружение возводится под Богородском. Это будет грандиозная электрическая станция для обслуживания энергией огромного фабричного района.

Воображение тревожили не только размах затеянного, но и открывавшиеся перспективы: электрифицировать целые экономические районы за счет строительства очень выгодных крупных станций вблизи от источников местного топлива и объединения их энергии в общей сети электрических передач, которая со временем — чем черт не шутит?! — может охватить все государство.

Такое объединение, однако, оказалось невозможным для России Романовых. Все ее крошечные, воздвигнутые хозяевами и хозяйчиками станции вырабатывали за год меньше двух миллиардов киловатт-часов. Обширнейшая империя, растянувшаяся на полсвета по Европе и Азии, занимала по производству электрической энергии лишь восьмое место в мире.

Для того чтобы над Россией по-настоящему вспыхнул свет, ей нужна была революция.

Усердно, старательно работает на революцию, приближает ее Глеб Максимилианович Кржижановский...

Тысяча девятьсот четырнадцатый год...

Опять проводы новобранцев, патриотическое усердие черносотенцев, молебны о даровании победы

христолюбивому воинству. Опять приходится быть пораженцем — жить и работать, стиснув зубы, сжав кулаки. Опять, как десять лет назад,— война. С той только разницей, что размах ее несравнимо шире: мировая.

По числу загубленных судеб, по количеству спаленного, взорванного, потопленного труда она превзойдет все, какие были до нее за последние сто двадцать лет, вместе взятые. Мобилизовано семьдесят четыре миллиона человек. Искалечено двадцать миллионов. Убито и умерло от ран десять миллионов, от эпидемий и голода — десять. Истрачено двести восемь миллиардов долларов. Пущено ко дну пятьсот военных, больше тысячи вспомогательных и шесть тысяч торговых кораблей.

В ходе войны Глеб Максимилианович все отчетливее понимал, что она шире, грандиознее русско-японской и по провалам царизма. Новая война не оправдывала надежд ее организаторов, не разрешала противоречия, которые привели к ней. Наоборот, Ленин убедительно доказывал это в своих последних работах, и Кржижановскому становилось ясно, что все эти прорывы на фронтах — на западе, на юге, на севере, словом, все, что делалось на «театре войны», в который превратился земной шар — его материки, моря и океаны,— все это в конечном счете прорвет фронт империализма в его самом слабом звене — России Романовых.

Как инженер, Глеб Максимилианович особенно остро чувствовал и переживал, насколько отстала страна в хозяйственном и техническом отношении. Поставив на мировую бойню больше всех «пушечного мяса», Россия хуже всех вооружила своих солдат. Она сделала меньше всех пулеметов, автомобилей, аэропланов. Винтовок — в два с половиной раза

меньше, чем Германия. Орудий — в шесть раз меньше. Минометов и танков у нее не было совсем, хотя другие страны выпускали их уже тысячами...

Вместе с московскими большевиками и рабочими «Электропередачи» Кржижановский участвует в свержении царской власти. Февральская революция ставит Глеба Максимилиановича на работу, где очень пригодятся его знания, его способности инженера и хозяйственника. Сразу после Февраля он, видный активист большевистской фракции Московского Совета, берет на себя руководство отделом топлива.

Что такое топливо для города, истерзанного годами мировой бойни, стынущего на ветрах той холодной весны и не менее холодной осени? Конечно, дрова, уголь, мазут — все, что может гореть и давать тепло. Топливо — это непрерывные хлопоты, заботы, тревоги о добывании и сбережении каждого пуда опилок, текстильных очесок, стружек, об их доставке и справедливом распределении, о нормировании выдачи керосина и строжайшем регламентировании отпуска электрической энергии. Топливо — «хлеб промышленности» и просто хлеб, выпеченный для миллионного города,— это люди, а значит, политика, в которой необходимо ориентироваться и которую надо делать.

Делать политику большевику Кржижановскому надо так, чтобы подготовить переход от буржуазно-демократической революции к социалистической. Именно этого требует в своих Апрельских тезисах Ленин, вернувшийся из эмиграции.

В середине сентября он обращается с письмом к Центральному, Петроградскому и Московскому комитетам партии, торопит, советует:

— Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов, большевики могут и *должны* взять государственную власть в свои руки...

Да, есть о чем поразмыслить, есть над чем поработать и Глебу Максимилиановичу Кржижановскому. Революция — неизменная цель жизни, итог ее за сорок пять лет и одновременно строжайший спрос, проверка, все ли ты делал как надо, все ли смог.

Днем и ночью занят Кржижановский труднейшей работой. Труднейшей — потому что она, как принято называть, простая, будничная, обыкновенная. Но именно поэтому она и самая важная, необходимая — без нее не двинешься с места: достать две тысячи винтовок и сорок тысяч патронов к ним, перевезти скрытно из Хамовников на Балчуг, проверить, хорошо ли смазано и упаковано оружие, спрятать, рассредоточив небольшими партиями, в подвале подстанции, в трансформаторных будках номер шесть, номер девять, четырнадцать, восемнадцать...

Сам Кржижановский и те, кого московские большевики долгие годы растили, воспитывали, сначала в кабельных сетях, а потом на строительстве «Электропередачи», готовятся к вооруженному восстанию. Запасают и прячут до поры динамит, бензин, газетную бумагу. Перетягивают на свою сторону солдат гарнизона. Прикидывают поточнее, сколько штыков, сколько самокатов, броневиков, грузовиков «за нас» и «против». Тут, смотришь, надо воспользоваться своим положением «топливного короля», чтобы выступить перед женщинами-работницами и заручиться их поддержкой. Там — необходимо срочно отправиться на явочную квартиру Московского комитета.

Застегивая на бегу пальто, Глеб Максимилианович выбегает из подъезда, оглядывается: «Ну конеч-

но! Вот он, «хвост»! Истинно демократический шпик — такой же точно, как царский. Маленький, щупленький, с поднятым воротником. Всячески старается скрыть особые приметы — торчащие уши, большие и бледные, должно быть, давно уже не ест досыта, может быть, семью содержит...»

Кржижановский вскакивает на заднюю площадку моторного вагона, «хвост» — в прицепной. Пока он пробирается через плотную массу пассажиров к передней площадке прицепа, Глеб Максимилианович разыгрывает спектакль, делает вид, что ошибся номером, быстро прорывается вперед и соскакивает на полном ходу. Пропускает трамвай, убеждаясь, что «хвост» следует в Дорогомилово, и, свободный от провожатого, спокойно шагает в сторону Таганки.

Через две недели снова письмо Ленина в Центральный, Московский, Петроградский комитеты партии и членам Советов Питера и Москвы — большевикам:

— Дорогие товарищи, события так ясно предписывают нам нашу задачу, что промедление становится положительно *преступлением*...

В Москве двести тысяч рабочих, пятнадцать тысяч большевиков. В Москве создана и растет Красная гвардия...

И вот сигнал из Питера:

«К Гражданам России.

Временное Правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов Военно-Революционного Комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона.

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль

над производством, создание Советского Правительства — это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!

Военно-Революционный Комитет при Петроградском Совете Рабочих и Солдатских Депутатов

25 октября 1917 г. 10 ч. утра».

В Москве создается Военно-революционный комитет. Одновременно контрреволюция организует Комитет общественной безопасности.

Красная гвардия занимает почтамт и телеграф, революционные солдаты — Кремль и его Арсенал.

Рабочие выступают на охрану заводов, мостов, железных дорог.

Но в Московском Военно-революционном комитете нет единства. Меньшевики откровенно говорят, что их цель — «бороться внутри комитета за замену его общедемократическим революционным органом» и «возможно безобиднее изжить все последствия... авантюризма большевистских вождей». В отличие от Петроградского Московский ВРК действует нерешительно, медлит, колеблется, даже вступает в переговоры с противником. В результате возможность обойтись без излишнего кровопролития упущена.

Двадцать шестого и двадцать седьмого октября по всей Москве начинаются стычки. И тот и другой лагерь стремятся занять новые, усилить захваченные позиции. Борьба юнкеров с солдатами пятьдесят шестого полка за Кремль превращается в настоящее сражение. На подмогу юнкерам Комитет общественной безопасности бросает офицерские отряды. На

Красной площади юнкера учиняют расправу солда-

там-двинцам, шедшим из Замоскворечья охранять Московский Совет. А потом захватывают телефонную станцию, Кремль, зверски уничтожают тех его защитников, которые еще остались в живых.

Днем и ночью сотрясают московские улицы пулеметные очереди, залпы бомбометов, разрывы снарядов, грохот броневиков.

Контрреволюция развивает успех. Юнкера, офицерские части, «домовые дружины» одно за другим занимают здания в узловых пунктах на Тверской, на Дмитровке, на Мясницкой, у Никитских ворот. Явно обозначается стремление белогвардейцев окружить Скобелевскую площадь — покончить с МК, Моссоветом, ВРК...

Ленин шлет на помощь матросов-балтийцев, революционных солдат, большие денежные средства. По призыву Военно-революционного комитета в Москву спешат отряды из Серпухова, Владимира, Коломны. С вокзалов — прямо в бой.

К утру третьего ноября сражения окончены.

Еще не утихли выстрелы, а Глеб Максимилианович спешит «проведать» Москву. Не терпится поскорее увидеть, пострадал ли город.

Нет, на улицах, по которым идет Кржижановский, к его удивлению, нет разрушенных зданий. Всюду — на тротуарах, на мостовых, на трамвайных путях — сверкают осколки выбитых стекол. Да, урон немалый, но дело поправимое: двинемся дальше...

Глеб Максимилианович боялся за судьбу Кремля, по которому пришлось палить из тяжелых орудий. С облегчением и радостью он вздохнул, увидав, что ни одна крупная постройка в Кремле не разрушена. Правда, больше других досталось Никольским воротам, но все это можно реставрировать без особых затруднений.

Исторический музей и Городская дума тоже, можно считать, уцелели...

Он спустился к Охотному ряду, пошел дальше по улицам. К счастью, ни на здании университета, ни на Румянцевском музее не заметно шрамов.

Повезло Москве на сей раз. Ничего подобного декабрьским разрушениям девятьсот пятого года вокруг не было. Тогда, в декабре пятого года, царская артиллерия била «по площадям» — сметала с лица земли целые кварталы Пресни. А ведь сейчас... Сейчас сопротивление, оказанное белогвардейцами, было куда сильнее, упорнее и технически совершеннее, чем то, которое оказали дружинники пятого года царским усмирителям. И все же... Молодцы революционные солдаты! Сразу видно, что здесь, на московских улицах, поработали настоящие хозяева города, которым и в голову не могло прийти бить «по площадям».

Итак — победа!

Но радость омрачена гибелью сотен товарищей. Через неделю схоронили их в братской могиле на Красной площади, у Кремлевской стены.

Во время боев остановились московские заводы. Не работал городской транспорт. Закрылись магазины. Запасы продовольствия и топлива подходили к концу. Как всегда случается в тяжелых обстоятельствах, на свет божий повылезли бандиты, спекулянты, недобитая «контра».

Некогда праздновать победу, некогда оплакивать жертвы. Надо срочно восстанавливать, налаживать нормальную жизнь второй столицы. И сразу в этом непростом деле Глеб Максимилианович встречает сопротивление городской буржуазии, правых эсеров, меньшевиков. А на носу зима, особенно холодная, особенно голодная...

Советское правительство перебирается в Москву. Создана первая организация для планирования строительства и управления им по всей стране — Комитет государственных сооружений. И Глеб Максимилианович Кржижановский работает в Комгосооре, закладывая основы будущих строительных дел.

Кто знает, может быть, душа его рвалась к ратным подвигам и шумной славе. Но отныне, держа душу за крылья, приходится браться за неказистое, на первый взгляд, весьма скромное, неброское и негромкое, но, безусловно, самое важное, самое трудное дело — экономику.

Если кому-то революция запомнится громовыми речами перед многими тысячами сочувственно внимающих людей, грохотом конных лав, несущихся в атаку, или ревом бронепоездов и миноносцев, поднимающих красные флаги, то для Глеба Максимилиановича она прежде всего останется непрерывной, не дающей ни сна, ни отдыха заботой о тепле и хлебе для миллионных городов, беспрерывными хлопотами по хозяйству, занимающему шестую часть света.

Московское общество «Электропередача» национализировано — Ленин подписывает постановление Совета Народных Комиссаров о расширении важнейшей электрической станции страны.

Для развития, регулирования и объединения строительства новых электротехнических сооружений при Комгосооре создано особое управление — Электрострой.

Чтобы лучше, быстрее решать технические и сметные проблемы нового строительства, учрежден Центральный электротехнический совет. В его работе участвуют крупнейшие русские энергетики — Александров, Винтер, Графтио, Классон, Коган, Кржижа-

новский, Красин, Макарьев, Миткевич, Смидович, Шателен...

Организованы комитеты по электрификации: Центрально-промышленного района — в Москве, Северного — в Петрограде, Донецкого бассейна и Урала.

В холодном, голодном, простреленном Деникиным, Колчаком, Юденичем девятнадцатом году Глеб Максимилианович работает председателем Главного управления электротехнической промышленности. Одновременно он по-прежнему руководит «Электропередачей». Понятно, все это, вся эта груда текущих неотложных дел как-то заслоняет большую мечту о настоящей, широкой электрификации родной страны, отодвигает, отдаляет ее в неопределенное будущее.

И вдруг...

Положительный заряд

Очень трудно, а подчас и невозможно определить словом настроение человека. Но то, что испытывал Глеб Максимилианович после телефонного разговора с Лениным, вполне вмещалось в одно слово — подъем.

Он теперь не ходил, а летал. Утром, после завтрака, разбил свою любимую чашку — с лукавыми рожицами гномов — и даже не пожалел о ней. Домашним, больше всех, конечно, Зинаиде Павловне, без конца рассказывал о «загаде» Ильича. Так хотелось еще и еще раз вспомнить о предстоявшем деле — помечтать о нем вслух!..

Под вечер он возвратился на заседание правления «Электропередачи», начавшееся без него, потому что он опять был вызван в Кремль.

Разговор за большим столом шел по кругу: «хлеб — торф, торф — хлеб», когда дверь с шумом распахнулась и в кабинет ворвался Глеб Максимилианович.

Мало сказать, что лицо его,— казалось, и носки бурок, и вязаный шарф, и расстегнутая тужурка излучают возбуждение и торжество.

И спокойный, рассудительный Василий Васильевич Старков, ведущий заседание, и бог энергетики Роберт Эдуардович Классон, и старый котельщик Медведев сразу почувствовали: произошло что-то чрезвычайное, прямо задевающее их всех,— насторожились в напряженном ожидании.

Глаза Глеба Максимилиановича лучатся, лукавят; он явно тянет время, интригует.

Но это ему плохо удается. Он не может сдержаться и тут же выкладывает все:

— Я вчера получил письмо от Владимира Ильича... Я только что от него. Будем разрабатывать план электрификации... Нет! Не просто строительство станций, а восстановление всей промышленности, транспорта, сельского хозяйства! Довольно!.. Хватит быть России убогой и бессильной! Не хотим ее видеть такой — и не будет больше такой России. Вот, о чем мечтает Ильич. Вот размах его мечты. И это не благое пожелание, не какое-нибудь там маниловское «парение этакое» вообще. Нет, нет и тысячу раз нет! Создадим государственную комиссию. Соберем в нее лучших специалистов, крупнейших ученых — цвет, так сказать, русской интеллигенции...

— Погоди, Глеб,— вздохнул Старков, опомнившийся первым, поднялся из-за стола, подошел к товарищу, положил руку на плечо, как бы стараясь притушить пыл.— Вот тут-то и загвоздка. Ты же знаешь, каким цветом цветет сей «цвет».

— Знаю. Большей частью — белым, в лучшем случае — розоватым, и лишь отдельные, исключительные, экземпляры — красным.

— Вот именно! Большинство «лучших» и «крупнейших» относится к нам враждебно. Можно даже сказать, подавляющее большинство.

— И все же!.. Я надеюсь. Я верю...

Однако первые практические шаги не то что поколебали его уверенность, но как-то его насторожили.

Уже на следующий день, проходя по Кузнецкому, он заметил в толпе знакомый бобровый воротник. Глеб Максимилианович хорошо знал человека, прозванного в научной среде Фарадеем с Петровки. Еще до войны портреты его можно было встретить в кабинетах физики, в аудиториях институтов и университетов. Имя его дало название одной из важнейших теорий современной электротехники.

«Да как же я мог забыть о нем?!» Кляня себя за то, что почему-то — «черт знает почему!» — упустил из виду такого ученого, прикидывая утром состав будущей комиссии, что это недопустимо и непростительно, Глеб Максимилианович кинулся к Фарадею со всех ног. Он остановил его на углу Неглинной, едва не измазавшись о каспийскую селедку, которую Фарадей предусмотрительно нес, как свечу,— перед собой, подальше, от чистых, наглаженных бортов шубы.

Сначала, видимо, еще не придя в себя от внезапной атаки на него, он рассеянно слушал вдохновенную речь Кржижановского о захватывающих перспективах работы для народа, о судьбах отечества, о возрождении производственной славы нации, не забывая, однако, отдалять от себя селедку. Эта пахучая ноша, должно быть, уже утомила его неестест-

 венно вытянутую руку — он перехватил рыбину, с

трудом уместив пальцы другой руки на обрывке газеты, обернутом вокруг хвоста, брезгливо повел носом и вдруг вспылил:

— Да вы что?! Что вы затеваете, государь-батюшка?! Сколько вам осталось? Не вам персонально — здравствуйте вечно — а вашему... как бы это поделикатнее выразиться? Режиму, что ли. Впрочем, и режимом это...— он стал укоряюще показывать кулаком, в котором по-прежнему был зажат хвост селедки, на заледенелую мостовую, на горы мусора и навоза, на обтрепанных, напоминавших тени прохожих, на мужика, что, словно торжествующий разбойник, въехал на своих розвальнях в самый центр столицы и, невзирая ни на какие запреты, драл с покоренных жителей по семь шкур за ведро мороженых «картох».— Нет! Режимом это, государь-батюшка, при всем желании, не назовешь. Режим предполагает хоть какую-то определенность, какой-то порядок...

— Послушайте! — Глеб Максимилианович старался держаться как можно спокойнее, показать, что не обратил внимания на оскорбительные выпады, урезонивал с улыбкой: — Это же несерьезно!.. Сначала вы определяли наше бытие днями, неделями, а месяцы казались вам чудом. Но теперь-то, теперь!.. Вы, как ученый, не можете не считаться с тем фактом, что мы существуем уже третий год! Ведь это же объективная действительность, объективная реальность. Пора бы понять...

— Не завтра, так послезавтра,— упорствовал Фарадей,— все равно конец.

— Но мы уже одолели Юденича, Колчака, Деникина...

— Развал экономики — это вам не Деникин. Россия производит электрической энергии меньше, чем Швейцария! А вы болтаете о каком-то возрождении.

— Потому и «болтаем».

— Ничего вы не сделаете. Не успеете. Вот! — Фарадей протянул селедку, как жезл, в сторону мужика, торговавшего картошкой: — Вот он, могильщик. Уже здесь. Уже наготове. Все на ведро пойдет. С воза! И ваша электрификация, и наша цивилизация.

— Через десять лет здесь будет новая цивилизация.

— Через десять лет здесь будет пустыня.

— Но согласитесь, что...

— Только с одним могу согласиться: демагоги вы отчаянные.

— Верно, вся наша ставка на «демагогию», а точнее, на то, чтоб нас услышали и поняли рабочие и крестьяне.

— Может быть, и сей добрый молодец в зипуне и кирасирской каске, добытой при разграблении родовой усадьбы Пушкина, Толстого или Бунина?

— Может быть, и он в том числе.

— Государь мой батюшка!..— распалился Фарадей, и бас его загромыхал на всю улицу: — Да я!.. Да вы!.. Эх! Черт бы вас разодрал, так, чтоб сам бог не склеил!

— Уймите свои нервы! — взорвался и Глеб Максимилианович, поняв, что впустую потратил весь пороховой заряд: — Не ровен час, рабочие услышат и возьмут вас за воротник.

— Что-о?! Пугать?! Да-а, вот это вы умеете. Адье!

Глеб Максимилианович не оглянулся, хотя почему-то ему очень хотелось это сделать. Обиженно вздохнул и зашагал вверх по Кузнецкому мосту, с досадой размышляя о том, что, действительно, кроме угрозы, он немногое мог противопоставить доводам

Фарадея. Как жаль, что такая светлая и сильная голова упущена...

Он шел и рассеянно ловил обрывки разговоров. Голоса прохожих доносились будто бы из-под воды, но смысл слов доходил до сознания:

— На два дня — полфунта хлеба.

— Рабочим дополнительно пять осьмух на день.

— На детские карточки — варенье и клюква, по купону номер восемь.

— Икру, слышь, дают: один фунт или полтора фунта воблы — сам выбирай.

— Толку с той икры!.. Хлеб стравишь, а сытости никакой. Лучше воблу взять. Пару картошечек в чугун, да горстку пшенца, да укропчик сушеный — и-эх, ма! — хошь с хлебом, хошь так хлебай. У меня укропу — два веника: к теще под Рязань ездил...

— Воблу с головой варите?

— А как же?! Самый навар, самая слажа...

Так, в том же роде по всей улице. Не хочешь, а уверишься, что все кругом думают лишь о еде. Нет, Глеб Максимилианович был далек от желания кого-то обидеть, не хотел поставить себя как-то вне других, над людьми. По собственному опыту он знал, как трудно переносить голод, как много внимания и сил отнимает сейчас проблема насыщения. Но... невольно в голову приходили чьи-то сердитые, обидные слова о тех, кто были рядом, вокруг:

— Народ, загнивший в духоте монархии, бездеятельный и безвольный, лишенный веры в себя, недостаточно буржуазный, чтобы быть сильным в сопротивлении, и недостаточно сильный, чтобы убить в себе нищенски, но цепко усвоенное стремление к буржуазному благополучию.

Что если это в самом деле так?..

Что за вздор лезет в голову?! Разве Глеб Кржижановский не знает, что народ его совсем не такой — еще с детства, еще с тети Нади, бросившейся в огонь ради спасения живой души?

И все же. Все же... Поди попробуй с ними. Где уж тут? До высокой ли мечты, когда на уме одно: «хлебай»?

От дальнейших размышлений его отвлекли санки, застрявшие на трамвайном рельсе при переезде через Лубянку. Задумавшись, он чуть было не споткнулся о них.

На санках лежали мешки, должно быть с картошкой. Человек в шубе с окладистой шалью каракулевого воротника тужился сдернуть их с места, но никак не мог,— тяжело дышал, кашлял.

Прохожие старались не замечать его и торопливо шли мимо.

Глеб Максимилианович взялся за веревку, дернул и едва устоял на ногах: санки оказались совсем легкими. Оглянулся: «Батюшки! Юлий!.. Юлий Мартов...» — И тут же, вместо приветствия, спросил невпопад:

— Неужели больше некому привезти?

— Да вот...— Мартов, сразу узнавший его, тоже растерялся, развел руками, потер очки, защипал бородку.— Спасибо...— Как бы оправдываясь, начал он объяснять: — Просто решил прогуляться, сочетать приятное с полезным. Думал, не тяжело будет. Это шишки,— прихлопнул по мешку, выждал паузу, чтобы собеседник смог по достоинству оценить то, что последует, и, саркастически укоряя, уязвляя Глеба Максимилиановича так, словно только он был виноват в плачевной судьбе этого вождя меньшевиков, заговорил: — Последний крик социализма! «Шишки по удостоверениям домкомов о нуждаемости в топ-

ливе»! «Шишки отпускаются в размере пять пудов на человека, по шестьдесят рублей за пуд, без тары...»

«Юлий Мартов, запряженный в санки с мешками...— думал Глеб Максимилианович и с нескрываемым любопытством разглядывал давнего знакомого.— Какая гримаса эпохи! Какая ирония судьбы! А ведь были — были! — и питерские кружки, и протест семнадцати, и первые номера «Искры»... Как недавно это начиналось — как давно кончилось! Сколько воды утекло с тех пор! Сколько всего встало между нами!»

— Да, вот так,— отвечая на его мысли, вздохнул Мартов, опять развел руками, опять стал упрекать, жаловаться: — У меня никогда не было никаких привилегий, кроме одной: страдать вместе с рабочими — так же, как они. И теперь хочу либо вместе с ними оказаться правым, либо ошибиться только вместе с рабочим классом.

Глеб Максимилианович уже раскрыл было рот, чтобы уличить Мартова примерно так:

«Октябрьская революция, по твоему глубокому убеждению, была «ошибкой пролетариата», но тогда ты почему-то не пожелал «ошибиться» вместе с рабочим классом. Нет! Тысячу раз нет! Ты и твои собратья-меньшевики «праведничали» с контрреволюцией, с белочехами, с Колчаком и прочими «честными демократами» против рабочего класса. Не знаю, в чем теперь ты собираешься «ошибиться вместе»,— знаю, все это болтовня, поза».

Но он ничего не сказал, потому что Мартов закашлялся, присел в изнеможении на мешок: опять напоминал о себе туберкулез, приобретенный в сибирской ссылке.

В это время закрытый автомобиль прогудел мимо них и, свернув, затормозил перед глухими воротами ЧК.

— Вот так,— произнес Мартов, грустно кивая в его сторону.— Вся механическая тяга тратится на подобные перевозки. Не до топлива, когда надо свозить в кутузки соль земли — интеллигентных созидателей.

Это Глеб Максимилианович уже не мог пропустить мимо ушей:

— Для вас, вероятно, не секрет,— сказал он сухо, но как можно спокойнее,— что за время пребывания в Царицыне «интеллигентные созидатели», одетые в шинели с золотыми погонами, не пустили ни один из его заводов, что, оставляя город с двухсоттысячным населением, они взорвали электрическую станцию, водопровод, железнодорожные мастерские. Готовились взорвать мост с вагонами трамвая. Взорвали нефтяные баки, бак с гудроном, из которого все содержимое — пятьдесят тысяч пудов! — вытекло на волжский лед. Крупнейшие в России царицынские заводы разорены, разрушены, станки увезены, рабочие разогнаны, постреляны...

— Откуда вы все это знаете? — Мартов повел плечами, вытянул шею, как бы освобождая ее от сдавившего воротника.— Вы это видели?

— Мне рассказывал Михаил Иванович Калинин — он только что вернулся оттуда. Посреди города на телефонных столбах болтаются веревки, на которых «интеллигентные созидатели» вешали созидателей не столь интеллигентных. Причем рационализация в этой «сфере производства» достигла такой степени, что тот, кому выпадал жребий, должен был сам подняться на столб, сделать петлю и накинуть себе на шею...

Мартов опять нервно повел плечами.

— Э, да что толковать?! — Глеб Максимилиано-
 вич махнул рукой.— Разве вы не знаете, что непре-

менная отличительная особенность города, оставленного «солью земли»,— виселица на базарной площади? Только в Елисаветграде — пять тысяч трупов: кузнецы, токари, сапожники... Целые баржи на Волге и Каме нагружали «неинтеллигентными созидателями», о судьбе которых до сих пор нельзя сказать ничего определенного.

— На войне как на войне,— возразил Мартов, привстав и поправив очки.— Белый террор — ответ на красный террор.

— Конечно...— Иронизируя, усмехнулся Глеб Максимилианович.— Само собой разумеется!.. Расскажите мне еще об «ужасах чрезвычайки».

— А вы, я вижу, мне о прелестях ее хотите рассказать?

— Не собираюсь. Хочу лишь одно заметить: когда бьют вас, вы вопите: «красный террор», «ужасы чрезвычайки», а когда бьют нас — тут же: «что поделаешь, на войне как на войне».

Мартов распрямился, характерным движением привычного оратора приподнял руки, но Глеб Максимилианович не дал ему ответить:

— И еще добавлю исключительно как инженер, только цифры. За прошлый — девятнадцатый и позапрошлый — восемнадцатый годы, то есть за два года отчаяннейшей гражданской войны, Чрезвычайной комиссией арестовано всего сто двадцать восемь тысяч человек. Именно «всего» — по всей России. Из них освобождены пятьдесят четыре тысячи — почти половина, расстреляны — девять тысяч шестьсот. При подавлении белогвардейских выступлений погибло около двух тысяч восставших, а сотрудников ЧК — около трех тысяч.

— Из этого с бесспорной очевидностью следует, что ЧК — наиболее гуманная организация из всех,

какие до сих пор знало человечество? Нечто вроде филантропического приюта или вегетарианской богадельни?

— Из этого следует, что пролетариат слишком сдержан и мягок.

— Может быть, пролетариат и сдержан, но сие заведение,..— Мартов обернулся к высокому серо-зеленому дому, возле которого они стояли, грустные глаза его, все усталое, осунувшееся, изможденное лицо изобразили му́ку,— сие заведение и созидание несовместимы.

— Вы уверены?

— Абсолютно! Где есть ЧК, там нет и не может быть созидательного интеллекта. И вы с этим еще столкнетесь. Вы убедитесь в том, как только вам понадобится не расстреливать, а строить...

Две, казалось бы, случайные встречи.

Случайные!?

Ну, нет! Закономерные, характерные. Что он там наговорил, Глеб Максимилианович, этим двум господам?..

Правильно, все правильно наговорил: слишком гуманна, слишком добра, подчас даже преступно великодушна революция наша. Освободили Пуришкевича, который своей прямотой и откровенностью подкупил сотрудников ЧК — дал честное слово рыцаря, что навсегда слагает оружие. И сколько же еще голов вогнал в петлю тот «благородный рыцарь»!..

А сами вы, господа «витии»! Брызжете слюной, ногами и руками отмахиваетесь от власти Советов. А власть Советов вам — и селедочку, чтобы с голоду не подыхали, и шишечки, будьте любезны, чтобы — плохо ли, хорошо ли — обогрелись, не закоченели.

«...Нет и не может быть созидательного интеллекта...» — говорите?

А изыскания на знаменитых Днепровских порогах, которые мы ведем, несмотря на то что район работ непрерывно подвергается набегам петлюровцев, махновцев, белогвардейцев?..

Или щедрое финансирование строительства электрической станции под Каширой — и по семь и по пятнадцать миллионов рублей — в разгар нашествия Деникина?..

Или направление Александра Васильевича Винтера в Шатуру, отпуск Советом Народных Комиссаров десяти миллионов рублей и еще более драгоценного продовольствия прошлой голодной зимой, признание постройки этого электрического гиганта срочной работой государственной важности?..

Наконец, открытие Дмитрия Сергеевича Рождественского! В самое последнее время! Трудами директора советского оптического института в Петрограде разгадана тайна строения простейшего атома — лития. Наверняка эта победа, весть о которой промелькнула в ряду сообщений о панской угрозе, о нормах выдачи соли и спичек, станет шагом на пути к оседланию фантастических сил материи...

И еще, господа «витии»! Что-то, помню я, вы не горевали, когда «созидательный интеллект», заложенный Генрихом Осиповичем Графтио в проект освещения и обогрева Питера за счет Волхова, угасал по царским канцеляриям, от департамента к департаменту, от превосходительства к высокоблагородию и от высоко- к просто благородию. А ведь мы тот проект уже воплощаем. И не шумим, не хвастаемся этим. А надо бы! Надо бы хвастать. И еще надо гордиться тем, что не только ЧК у нас, в нашем государственном аппарате, но и ЦЭС — то есть Централь-

ный электротехнический совет, а еще — Электрострой. И скоро будет много новых — различных — «строев».

Будет!..

Он шел стремительно, размашисто, не обращая внимания ни на встречных прохожих, ни на ломовиков, сердито покрикивавших на него,— убыстрял и убыстрял шаг по мере того, как нарастал темп и накал воображаемой дискуссии с реальными противниками...

«Вспомните,— мысленно обращался к ним Глеб Максимилианович,— вспомните выступление профессора Постникова еще до революции, в шестнадцатом году, на съезде электротехников. Тогда большинство маститых носителей «созидательного интеллекта» плохо слушали его, а вернее бы сказать, не хотели слушать. До сих пор возмущает памятная картина демонстративного равнодушия просвещенных бар. Но старик не испугался — адресовал свои пожелания к нам, немногим, и слова его запали в сердце:

— Что изменит лицо жизни? — спрашивал он.— Что послужит ключом исторического перелома? — И сам отвечал: — Различные историки единодушны в этом: развитие производительных, я бы назвал, вулканических сил. Век пара отступает перед веком электричества, новые силы действуют в пользу четвертого сословия — пролетариата. И вы, владеющие оружием электротехники, отдайте его в руки четвертого сословия.

Так-то, господа «витии»! Вам бы хоть теперь понять то, что уже тогда ощущал и видел старик профессор, стоявший одной ногой в могиле.

— Погодь, гражданин-товарищ! — Тяжелая шубная рукавица уперлась в грудь Глеба Максимилиановича, шибанула запахом потной овчины.

«Где это я? — Он оглянулся.— Ого! Чистые пруды. Мясницкие ворота прошагал».

Тут же перед ним со скрежетом и скрипом ухнула подпиленная ветла.

— Что вы делаете?! — Рассердился Кржижановский.— Бульвар на дрова!

— Ахти! — Богатырь дворник скинул рукавицу, отер лоб.— Все одно гнилая. Только старые валим.

— Гм... Только старые...

— Таперь можно, ступайте...

«Да! А два брата с Арбата?!» — вспомнил Глеб Максимилианович без всякой связи с предыдущим, как бы вдруг перебивая самого себя, и зашагал еще быстрее по дорожке вдоль пруда, на котором когда-то был каток, а теперь маршировали зазябшие, пестро одетые бойцы всевобуча с деревянными ружьями. Ни пристани, ни навеса для лодок, ни самих лодок — все давно растащили, давно пожгли.

Два брата с Арбата...

О них стоило вспомнить: Борис и Александр Угримовы. Дед их жил аскетом в своем волынском имении после того, как повесили Рылеева — его друга, завещал детям и правнукам ни за что не служить царскими чиновниками, но защищать Россию при любых обстоятельствах.

Выполняя его волю, отец стал почетным мировым судьей — перебрался в Москву. С самых ранних пор братья были очень дружны, безгранично доверяли друг другу, делились сокровенными мыслями, переживаниями. Привыкнув видеть их всегда вместе, кто-то и пустил в обиход эти «два брата с Арбата», приставшие к ним на всю жизнь.

Братья Угримовы учились в одной гимназии и вместе пошли в университет. Только там судьба наконец развела их, да и то ненадолго. Старший, Борис,

стал инженером-электриком, Александр — агрономом-биологом. И опять они вместе — едут совершенствоваться: Борис — в Высшем электротехническом институте Карлсруэ, Александр, по совету любимого учителя Климента Аркадьевича Тимирязева,— в Высшем сельскохозяйственном институте Лейпцигского университета.

Борис Иванович Угримов — один из первых в Москве энтузиастов электротехники. В Биржевом институте ему удалось поставить приличную лабораторию и подготовить несколько сот инженеров-электриков. Еще двадцать лет назад, на Всемирной выставке в Париже, он получил медаль за изобретение электрического котла. По доверию виднейших ученых мира помогал разобраться в тяжбе об открытии беспроволочного телеграфа между Поповым и Маркони.

Александр Иванович для исследований привез в Лейпцигский университет девяносто восемь пудов чернозему из собственного имения — с Волыни — и своей диссертацией поверг видавших виды профессоров и знавших себе цену агрономов немецких в восторженное смятение. Так и ходили вокруг него, причмокивали: «О-о! Шварцэрде!» Черная земля!.. Слыхать-то про нее слыхали еще со времен Екатерины, а вот узнали толком лишь теперь.

Вернувшись в Россию, увенчанный помимо всего прочего еще и титулом «ученика несравненного Вейсмана» — создателя хромосомной теории наследственности, основоположника генетики, двадцативосьмилетний Александр Угримов избирается президентом Московского общества сельского хозяйства, кем и пребывает по нынешний день.

Революцию он встретил без особого энтузиазма. К делам ее относится весьма скептически, к вождям, мягко говоря, недоверчиво.

Иное дело — Борис Иванович. Еще в восемнадцатом году пошел работать товарищем председателя секции физики и электротехники Всероссийского совета народного хозяйства. А летом девятнадцатого Народный комиссариат земледелия поручил ему возглавить Бюро по электрификации сельского хозяйства.

Легко сказать: организуй, возглавь... А как? Ни Ому, ни Амперу не доводилось, ни Ом, ни Ампер ничего определенного относительно Бюро по электрификации сельского хозяйства посоветовать не могут. И с этой своей заботой Борис Иванович тогда обратился в Садовники, к инженеру-большевику Кржижановскому.

Глеб Максимилианович выслушал его внимательно и просил приехать вместе с братом — будто бы хотел разузнать у того о новейших системах мелиорации, о превращении болот в культурные луга и пашни.

Александр Угримов сначала отнекивался, но к назначенному часу братья были у Кржижановского.

Хозяин принял их радушно, даже ласково: усадил, угостил чаем, выставил на стол все, что было в доме,— и сахар, и сухарики ржаные, и лесные орехи — в разговоре, как бы между прочим, вспомнил:

— Только что звонил Ленин — просил приехать к половине шестого. Я воспользовался случаем и уговорил его принять нас всех троих. Вы не возражаете?

Борис Иванович оживился. А младший брат сразу, должно быть, заподозрил какой-то подвох, нечто затеваемое «против» него,— и насторожился, напрягся.

Через четверть часа они были в приемной Совнаркома. Глеб Максимилианович прошел в кабинет Ленина, предупредив, что привез обоих «декабристов»

и что младший очень боится, как бы его тут не стали вовлекать в партию.

— Дворянские революционеры! — Ленин задумчиво усмехнулся и с улыбкой покачал головой: — В партию?! Партия обязывает.

— Старший — наш, а вот младший...— Глеб Максимилианович развел руками: — Но голова — тоже девяносто шестой пробы.

— Так и быть,— согласился Ленин,— постановим не ковать из него комиссара. Пригласите.

Братья вошли сразу вместе, оба, так что даже потеснили друг друга в дверях.

Ленин поднялся навстречу и, пожимая руки, сказал, что хорошо помнит Бориса Ивановича и рад, что тот пришел вместе с агрономом.

Агроном тут же втиснулся в глубину кресла, точно занимая оборону за его массивными высокими подлокотниками.

Борис Иванович, не присаживаясь, заговорил о своих заботах — в Бюро по электрификации сельского хозяйства, о создании которого Ленин знал. Потом посетовал, что, мол, «бюро» — слово пугающее, несущее в себе слишком много отрицательного заряда, пожаловался на то, что в Наркомземе у них пока еще нет определенного плана работы и как бы не оказаться оторванным от главного — строительства электрических станций.

— Да, бесспорно, это главное,— подумав, произнес Ленин и хотел добавить еще что-то.

Но в этот момент дежурный телефонист выглянул из-за двери в углу, возле окна. И Ленин, извинившись, поспешил туда — в свою «будку».

Должно быть, не желая обидеть оставшихся, он не притворил дверь, и они, молчаливо переглядываясь, невольно ловили доносившиеся слова:

— Деникин признал Колчака «верховным правителем России...» «Красная Горка» в руках мятежников... В Петрограде раскрыта еще одна контрреволюционная организация — «Национальный центр»...

— Главное, бесспорно, электрические станции...— рассеянно продолжал Ленин, вернувшись. Но тут же собрался, сосредоточился.— Ничего вам не могу посоветовать,— признался он, оглянулся на дверь «будки», черканул что-то черным толстым карандашом на листе из блокнота.— У меня, так же как и у вас, нет опыта в подобном деле. Ни у кого нет. Одно скажу вам: верно, слово «бюро» несет и какую-то частицу отрицательного заряда — «бюрократизм», «бюрократия»... Но ведь дело не в слове. Вы — электрик и, уверен, лучше меня знаете, как отрицательный заряд нейтрализуется положительным.

— В процессе совершаемой работы.

— Вот! Вот именно! — подхватил Ленин.— Все непреодолимые трудности, все неразрешимые проблемы преодолеваются, решаются только в процессе совершаемой работы.— По-прежнему без какого бы то ни было заигрывания он добавил: — Вы просите, чтобы я вам помог, а я хотел просить помощи у вас,— и, привстав, заходил привычно по кабинету — из угла в угол.— Думаю, излишне вам рассказывать, во что превратили наше земледелие пять лет войны. Есть точные цифры, где-то был листочек — не найду. Ну да не в цифрах сейчас дело — и так ясно, сколько отнято у земли лошадей: кавалерия требует больше, чем артиллерия, артиллерия — больше, чем кавалерия... В деревне — жалкие остатки... Вот если бы подпрячь в плуг русскому мужику электричество. Я слышал об электропахоте. Это возможно? Это действительно?..

Тут вдруг произошло неожиданное — то есть то,

чего ждали, а потом забыли ждать: Александр Иванович подался вперед, поднялся на пружинах своего мягкого убежища и заходил рядом с Лениным, заговорил о том, как в бытность докторантом ездил по деревням Шварцвальда — этого живописнейшего уголка старой Германии.

— Там, в горах, среди черных еловых лесов, рассеченных долинами, с ручьями и речушками, спешащими к Рейну,— там построены гидростанции... В деревне, которая издавна славится умельцами — они делают резные «домики» для знаменитых часов с кукушкой,— в этой деревне электричество освещало дома и мастерские, приводило в действие лесопилку, водокачку, зернодробилки, соломорезки... А их молочная! Она мне особенно запомнилась. Она очень хорошо была поставлена, их кооперативная молочная: электрические сепараторы, электрические маслобойки!..

— Как это замечательно! — произнес Ленин и остановился, точно прислушиваясь к шуму далеких водопадов, к рокоту невидимых моторов.— Нашей бы деревне все это! Но как же все-таки с электроплугом?

— Плугом? — Александр Иванович задумался, припоминая.— Все машины там были стационарные, а на полях работали обычными орудиями — с лошадьми, с волами, даже с коровами — где полегче.

— А в хозяйстве Арним-Кривен? — подсказал Борис Иванович.

— Позвольте! Позвольте! — спохватился Александр Угримов и опять пошел шагать за Лениным.— Действительно! Мы с братом... Кажется, в третьем году... Ездили по лучшим хозяйствам Саксонии и Пруссии. И два дня наблюдали любопытнейшие опыты: сравнение пахоты силой пара и силой электричества.

— Нуте-с, нуте-с!

— Поле было разбито на два одинаковых участка. По одному локомобиль тянул на тросе балансовый плуг. Рядом, на другом участке, установили столбы с проводами...

— Собственно, электроплуга там не было,— вмешался Борис Иванович.— Пахали при помощи электродвигателей,— которые тоже за стальной трос — тянули плуг.

Ильич слушал внимательно. Он тут же, не боясь обнаружить незнание, переспросил, когда Борис Иванович употребил непонятное техническое выражение, и еще о глубине вспашки, нетерпеливо поторопил, когда Александр Иванович слишком уж увлекся подробностями:

— Ну и как же? Каков результат?

— Результат не в пользу электропахоты, Владимир Ильич. Оказалось, пахота паровым плугом на восемнадцать процентов дешевле электрической.

— Электропахота остается большой, пока еще неразрешенной проблемой,— заметил Борис Иванович.

— Тем более! — Ленин не был ни разочарован, ни озадачен таким оборотом дела.— Именно поэтому и надо как можно скорее, как можно смелее браться за ее решение... Вот вам и положительный заряд для вашего бюро,— добавил он, улыбаясь, на прощание.

Вспоминая все это, Глеб Максимилианович повеселел. Так и виделись ему рядом с Ильичем покладистый, основательный Борис Иванович и порывистый, не знающий полутонов и плавных переходов — любить, так любить, ненавидеть, так от всего сердца — Александр Угримов.

«Нет, не оскудела и не оскудеет земля наша сто́ящими людьми,— думал Глеб Максимилианович, перейдя по Устьинскому мосту через Москва-реку, ско-

ванную необычно чистым в нынешнюю зиму льдом, и сворачивая к себе в Садовники.— Пусть каркают «фарадеи» и «фарадейчики» всех степеней, пусть предрекают нашу погибель мартовы всех рангов... Пусть! Мы еще поглядим! Мы еще повоюем! Есть традиция русской инженерной мысли. Помаленьку, но идут подготовительные работы для электрификации Северо-Западного, Центрально-промышленного, Донецкого районов. Мы начали их буквально на второй день после революции. Есть у нас уже и первый опыт и даже определенные успехи: проектируем и строим районные станции. Электрические станции тех текстильных фабрик в Орехово-Зуеве, в Богородске, Павлово-Посаде, которые не работают из-за того, что нет хлопка, мы оборудуем шахтными топками для торфа и дров, подключаем в общую линию, вернее, даже не линию, а сеть, связанную с «Электропередачей» и с Москвой. Так возникает весьма и весьма любопытная, весьма и весьма перспективная штуковина — я бы назвал ее первой объединенной энергетической системой страны... А в селах и уездных городах Московской губернии что делается? Всюду закладываются новые станции — закладываются, несмотря на тяготы военного времени и разрухи. Люди не страшатся «трудовой повинности», собирают медь на провода: самовары, чайники жертвуют — только дай свет! Деньги, выданные губернскому электроотделу на нынешний год, позволят электрифицировать все уездные города и каждое десятое село Подмосковья...»

Нет, не в пустоту направлял свой «положительный заряд» Ленин, когда его слушали два брата с Арбата. Начинать вам, Глеб Максимилианович, не на пустом месте, действовать не в безвоздушном пространстве! И вообще... Вообще! Легко быть оптимистом за празд-

ничным столом, ломящимся от яств,— каждый дурак сможет, а вы попробуйте теперь... Попробуйте!

Домой он вернулся в состоянии приподнятости, может быть, окрыленности, охваченный задиристой жаждой действия. Едва успел сбросить доху, кинулся к телефону:

— Борис Иванович? Добрый день! Кржижановский говорит. Да, да. Вы, конечно, слышали о предстоящих работах — о плане электрификации? Можно рассчитывать на ваше участие?.. Что же вы молчите, Борис Иванович?

— Я просто щажу микрофонный рожок — не решаюсь крикнуть «ура».

— Ах, так! Спасибо вам!

— За что?

— Так... За все. В вас я и не сомневался, а вот брат ваш... Напомните мне, пожалуйста, номер его телефона.

— Он сейчас у меня: за керосином пришел. Могу позвать.

— Если можно... Александр Иванович? Приветствую... Не знаю, как вы отнесетесь... Не знаю, как начать...

— Начинайте прямо, Глеб Максимилианович, с самого начала.

— Пожалуй что...

— Да. Так вернее всего.

— Ну, хорошо...

— Я вас слушаю, Глеб Максимилианович!

— Александр Иванович... Что бы вы сказали?.. Что бы вы ответили, если б вам предложили работать в учреждении — в советском учреждении,.. цель и смысл которого — экономическое возрождение России?

— Возрождение? А в партию вы меня тоже вступать заставите?

— От вас потребуются ваши знания. Вы нужны как ученый, и только в этом качестве... Ну, так как же, Александр Иванович, а?

— А как вы думаете, Глеб Максимилианович, что может ответить на все это человек, которому еще дедом завещано быть вместе с Россией при любых обстоятельствах?

— Вот это разговор!..

Не успел отойти от городского телефона — зазвенел другой, установленный вчера по специальному поручению Ленина — соединяющий прямым проводом кабинет Глеба Максимилиановича с «верхним» коммутатором Кремля.

— Да, да? — Знакомый баритон послышался в трубке так, словно Ленин говорил из соседней комнаты.— Как слышно? То-то! Напоминаю: давайте брошюру скорее, как можно скорее и еще скорее. Звонил полчаса назад — сказали: гуляете.

— Брал разбег, злостью заряжался.

— Злость в работе — дело доброе.

— Как-то лучше пишется, когда видишь лицо врага.

— Ну и как же теперь, увидали?

— Вполне! — Глеб Максимилианович хотел рассказать о встрече с Мартовым, но подумал: зачем, к чему это? Разве у Владимира Ильича есть время на пересуды? И продолжал о главном: — План всей работы, по-моему, сложился — в порядке первого приближения, конечно. Сначала пойдет статья «Торф и кризис топлива».

— Та, что уже напечатана в «Правде»?

— Потом только что одобренная вами — «Задачи электрификации промышленности».

— Та-ак...

— Далее — «Электрификация сельского хозяйства».

— О-о! Объять необъятное... Не слишком ли дерзок замах? Не лучше ли назвать как-нибудь поскромнее, поосторожнее, а дать пошире, поглубже?

Кржижановский с досадой закусил губу: «Почему он меня сдерживает, возвращает из поднебесья на грешную землю? Ну а если спокойно?.. Если разобраться? Сельское хозяйство далеко не та область, о которой ты мог бы сказать: «Вот мой конек». И вообще, под силу ли такая проблемища одному человеку? Глупо претендовать на всезнайство... В Комиссии надо будет поручить сельское хозяйство очень крепким людям. И обижаться не на что: Ленин сразу нащупал слабину в твоих наметках. Поделом! Не действуй методом наскока.

В трубку он сказал:

— Тогда так, Владимир Ильич,— «Электрификация земледелия».

— А еще скромнее?

— Ну... Тезисы, что ли, по вопросу об электрификации земледелия.

— Вот это уже больше похоже на дело.

— Вы считаете?

— Безусловно. Вам необходимо добиться одного... Каждому, кто будет читать вашу брошюру, из этой ее части пусть станет ясно: мы ставим своей задачей возвратить крестьянству то, что получили в виде хлеба. Вы должны убедить читателя, что организация промышленности на базе электрификации покончит с рознью между городом и деревней, даст возможность победить даже в самых глухих углах отсталость, темноту, нищету, болезни и одичание. От вас требуется только это.

— Да, «только»!..

— Дальше.

— Наконец, моя четвертая статья, Владимир Ильич,— «План районных станций России». Здесь, пожалуй, тоже немного самонадеянно, претенциозно. Лучше, может быть, не «план», а «к плану»?

— Ну, что ж... Однако общее название, общее звучание не должно снижаться или сужаться. Пусть так и остается: «Основные задачи электрификации России». И пожалуйста, когда сядете писать, смотрите не только в лицо врага, но и в лицо друга. Жму руку. Всего!

Глеб Максимилианович прошелся по кабинету, оглянулся на новый, сверкавший лаком телефонный аппарат, потрогал его, переставил подальше от края, постоял, раздумывая, опустился в рабочее кресло и вывел на титульном листе — эпиграфом:

«Век пара — век буржуазии, век электричества — век социализма».

„Город Солнца" и красноармейский паек

«В ответ на обвинение в варварстве мы можем предложить ученым людям Запада поработать вместе с нами на едином состязательном мировом конкурсе для разрешения... проблем о рациональной электрификации... Нигде начало разума, пронизывающего их электротехническую науку, не встретит такого минимума преломления в сфере частных интересов, как в нашей Советской России. Наши электропередачи будут действительно прямыми линиями — кратчайшим расстоянием как в территориальном смысле, так и в

смысле быстрейшего перехода от анархии капиталистического производства к производству планомерному... Вся страна, таким образом, покрывается сетью электропередач, сплетающихся и гармонично поддерживающих друг друга на протяжении от Финского залива до Черного моря...»

За окном бесчинствовал ветер. И казалось, чувствуешь, как на улицах у людей перехватывает дыхание, как от Финского залива до Черного моря замирают шаги, как под вьюгой, в непролазной стылой тьме тонет все живое.

А он писал о тепле, о свете, о силе:

— Все народное хозяйство Советской России получит... как бы регулярную работу двадцатимиллионной армии труда...

Воображение открывало перед ним идеальное содружество людей — то самое, о каком мечтали утописты, больше всего любившие человека, жаждавшие счастья для него,— Томас Мор, Томмазо Кампанелла в своем «Городе Солнца», где нет праздных негодяев и тунеядцев, где люди богаты и всесторонне развиты трудом, трудом славны, добры друг к другу... И вот теперь он, Глеб Кржижановский, подкрепляет их мечты, сотни лет казавшиеся человечеству несбыточными, вполне реальной, марксистски выверенной основой... Да, наши производительные силы будут такими же гармонично развитыми, так же поддерживающими одна другую, как люди нового общества, так же взаимодействующими в единой дружной согласованности.

Работать, сидя за столом, было холодно, и пришлось накинуть на плечи пальто. От металлической ручки мерзли пальцы — он отогревал их на стакане с чаем, который принесла Зина, брал чистый лист бумаги:

— За молекулой и атомом... все яснее обрисовываются ион и электрон... Химия становится отделом общего учения об электричестве. Электротехника подводит нас к внутреннему запасу энергии в атомах. Занимается заря совершенно новой цивилизации.

Назавтра, читая жене перепечатанную статью, Глеб Максимилианович удивился: что такое?! Вроде не так писал. Стал сверять с рукописью: там подправлено, там переставлены слова, точка вместо запятой. Что за притча? И самое обидное, правильно подправлено! А вот здесь, где на полях деликатный вопросительный знак, здесь уж вовсе безобразие: не согласовал начало и конец фразы... Очень спешил, говорите? Попробовал бы в «реалке» этим оправдаться... Нехорошо!

Не-хо-ро-шо...

Сердито хлопнув дверью кабинета, он перешел в контору «Электропередачи», переступил порог просторной канцелярии, где было натоплено и паркет натерт, как всегда.

Высокий лоб и большие, слегка навыкате глаза Глеба Максимилиановича, его густые сдвинутые брови — все выражало одно: недовольство. Даже аккуратно подстриженные усы и бородка не могли скрыть на лице обиды и расстройства.

Он одернул инженерскую тужурку и, тряхнув рукописью, строго спросил:

— Кто это печатал?

— Это? — переспросила заведующая канцелярией и указала на сидевшую возле окна молоденькую девушку: — Новенькая — Маша Чашникова.

Девушка не смела поднять взгляд и все разглаживала залатанный подол серого платьица, одергивала кацавейку с маминого плеча.

Неужто он, Глеб Кржижановский, мог внушить страх этому безобидному милому существу?

— А-га... Так это, стало быть, вы редактировали меня?

— Я.— С испугом, но упрямо, даже чуть вызывающе на него глянули голубые глаза, опушенные доверчиво мягкими ресницами.

— Так, так... Ну-с, вот что... Забирайте свой «Ундервуд» и отправляйтесь ко мне в кабинет.

— Я печатаю только четырьмя пальцами...

— Не беда. Важнее другое... В общем, забирайте.

Так у еще не организованной Комиссии по электрификации появился первый сотрудник.

С утра до вечера ходил Глеб Максимилианович по кабинету, заглядывал в книги, особенно часто в одну, с волнующим названием: «Государство будущего...»,— и диктовал, диктовал.

Не все из его слов было понятно Маше, но она чувствовала, что прикоснулась к чему-то необычному, значительному — участвует в чем-то важном.

То и дело в кабинет заглядывала Зинаида Павловна — приносила поджаренный хлеб, горячую картошку с луком, чай, сокрушалась:

— Глебась! Хоть бы девочку пожалел!

— Не могу: к сессии ВЦИК должен успеть. И Маша обещала не щадить ради революции свои пальчики...

Наконец желанная рукопись перед Ильичем.

Поздно — за полночь — он дочитал ее, бережно сложил, подровнял о стол края листов, прихлопнул по ним ладонью:

— Вот это уже дело. Пусть «в порядке первого приближения», как вы любите выражаться, но настоящее дело. Хотите, напишу предисловие?

Ленин согласен представить и рекомендовать твой

труд... Какой автор — если он автор — не мечтал бы об этом? А если тебя станут шпынять, ругать, бить за ошибки и промахи, неизбежные в спешке? Все это может обернуться и против того, кто написал предисловие...

— Не стоит, Владимир Ильич: текст недостаточно проработан.

— Да-а? Ну, смотрите...

— Вот напечатать бы побыстрее да получше — особенно карту. Тиснуть бы, знаете, в несколько красок — цветную! Да разве сейчас...

— Это я беру на себя! — не дает досказать Ильич. Ему не терпится, он смотрит на часы, колеблется, морщится, машет рукой: «Была — не была!»

Он не может ждать до утра и тут же звонит Бонч-Бруевичу, просит тысячу раз извинить за то, что разбудил, и прийти немедля:

— Владимир Дмитриевич! Дорогой! Выручайте. Если пойти обычным путем, не видать нам брошюры до второго пришествия: в издательствах, как всюду, тьма и куча чинов, «над», «от», «для» и прочие. Замаринуют. А нам дьявольски необходимо срочно... Выберите типографию, обратитесь прямо к рабочим. Я извинюсь перед Воровским, что действуем через его голову.

Заботясь о судьбе своего детища, беспокоясь о ней, Глеб Максимилианович не утерпел — отправился в типографию бывшую Кушнерева, а теперь Семнадцатую государственную.

Ему говорили, да и догадаться нетрудно было, что она стоит без полена дров, без фунта угля. И все же действительность превзошла самые мрачные предпо-

 ложения: машины, окна, стены покрыты сизой шубой

инея. В цехах как на улице. Да нет, на улице солнце уже пригревает хоть немного, а тут...

Но «ячейка постановила» — и за наборные кассы стали небритые люди в пальто, в полушубках, в рваных, стоптанных, подшитых валенках, в калошах, утепленных войлоком, подхваченных веревками.

Глеб Максимилианович остановился возле коренастого бледного юноши в матросском бушлате, который был ему велик. Работал он, не обращая ни на кого внимания, не отрываясь: весь сосредоточенность — подобрал нижнюю губу, припушенную бородкой, вслух, но только для себя читал абзац:

— «Подспудная энергия потоков севера, торфяных залежей центра, угольных массивов юга, Днепровские пороги и подмосковный уголь могут работать в дружной согласованности, производя силовую энергию для всей страны...» — Потом старательно ставил буковку к буковке.

Пальцы его — черные, с давно не стриженными ногтями — закоченели: каждое прикосновение к свинцовым литерам — страдание, мýка. Но он упрямо склонял голову, точно угрожая боднуть кого-то невидимого, но враждебного ему, усердно шевелил губами:

— «...бу-дет о-ко-ло двух м-л-р-д. ки-ло-ватт-часов...»

На смену одним, вконец замерзшим, наборщикам заступали другие, потом снова — прежние. В день, когда начали печатать, оттиснули... пять экземпляров брошюры.

А с картой — с картой и того труднее. Ее печатали в другой типографии. Взялись было вращать руками приводное колесо литографской машины, да куда там! Камень, смоченный кипятком, после первого рабочего прохода возвратился покрытый льдом. Валики

затвердели, краска застыла, увлажненная бумага полопалась, как тонкое стекло.

Печатники стояли вокруг машины обескураженные — не знали, что делать. Кржижановский оглянулся, как бы ища помощи, и тут же обратил внимание на молодую статную работницу, даже в нынешнюю пору, когда подчас трудно было разобрать, где мужчина, где женщина, выделявшуюся румянцем и дородством.

Она стояла чуть в стороне и раздумчиво крошила клочок смерзшейся бумаги, на котором можно было разобрать: «Шатур». Вдруг она поправила концы шерстяной шали, подоткнутые под солдатский ремень, шагнула вперед:

— А-ну, молодцы, врассыпную!

Глеб Максимилианович даже растерялся, не сообразив сразу, что она затевает. Но рабочие поняли ее — не разбежались, а стали сносить в отгороженное тесное помещение кто ящик из-под шрифта, кто корявый сук, сломленный с клена где-то на бульваре, кто заветное полено из дому...

Растопили голландку, перевезли в тепло литографские камни.

— Так. Беремся,— продолжала командовать женщина.

— Да нет. Не так,— подступил Глеб Максимилианович.— Надевайте на шкив ремень — за него целой артелью тянуть можно.

— Дело,— одобрила женщина и без лишних слов исполнила все в точности.

Глеб Максимилианович ухватился за ремень, став рядом с нею. Она не спросила, ни кто он, ни зачем здесь,— признала его сообразительность и продолжала свое дело:

— Р-раз, два — взяли!

И — «шлеп, шлеп, шлеп» — одна за другой скользят на чистый-чистый стол первые карты — первые ласточки...

— Р-раз!

Шатура, Кашира, Волхов — пока еще точками — маяками, пока лишь в одну краску.

— Р-раз!

Цветные круги от них разрастаются вширь по сероватому полю, захватывают все больше пространства, касаются друг друга, сливаются, объединяют в ярком разливе Иваново-Вознесенск, Тулу, Нижний Новгород, Москву, Питер, Ярославль, Смоленск, Тверь, Владимир, Калугу, Рязань...— выхватывают из тьмы, объединяют так же, как когда-то искровские комитеты, создаваемые Глебом Кржижановским.

— Раз, раз, раз...

Уже весь Центрально-промышленный район, весь Донбасс, Северо-Запад залиты голубым светом и будто бы обогреты животворным алым заревом.

Только поспевай складывать оттиски.

Тянут за ремень рабочие. Тянет, командует в ритме захватившего движения молодая женщина. Помогая, подчиняясь, Глеб Максимилианович любуется ею, невольно, как будто из юности, напрашивается:

Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет...

Пусть бумага грубовата. Пусть не все пятьдесят одна страница оттиснуты одинаково ясно. Пусть опечаток больше, чем хотелось бы. Все равно, никогда еще Глеб Максимилианович не держал в руках такую дорогую книгу!

Второго февраля Ленин выступает на сессии ВЦИК. Улыбаясь, он держит долгожданную брошюру, высоко поднимает ее, говорит, что завтра «Основные задачи электрификации России» получат все члены ВЦИК, съехавшиеся в Москву:

— Мы должны, не ослабляя нашей военной готовности, во что бы то ни стало перевести Советскую республику на новые рельсы хозяйственного строительства...

Третьего февраля ВЦИК поручает Всероссийскому совету народного хозяйства совместно с Народным Комиссариатом земледелия разработать проект постройки сети электрических станций и в двухмесячный срок внести его на утверждение Совнаркома.

Одиннадцатого февраля, в семь часов сорок пять минут вечера в здании МОГЭС на Раушской набережной открывается совещание представителей Электроотдела ВСНХ, Центрального электротехнического совета, Электростроя, Центрального теплового комитета, Бюро по электрификации сельского хозяйства и других государственных учреждений. Докладчик Глеб Максимилианович Кржижановский ставит задачу: организовать Комиссию по электрификации. Решено объединить усилия, избрать инициативную группу из шести человек для разработки программы дальнейших действий.

Семнадцатого февраля, в два часа пятнадцать минут дня в помещении Электроотдела ВСНХ (Мясницкая, дом двадцать четыре, квартира девяносто восемь) — следующее заседание комиссии. Товарищ Кржижановский открывает его информационным докладом о беседе с товарищем Лениным:

— Товарищ Ленин надеется, что мы в двухмесячный срок сумеем набросать, хотя бы в общих чертах, программу строительства станций, электрификации промышленности и сельского хозяйства. Необходимо обратить внимание на распространение среди населения, особенно среди крестьян, книжек популярного содержания. В целях пропаганды можно воспользоваться автомобилями с кинематографом. Наша комиссия, как один из важнейших органов, может рассчитывать на самую широкую поддержку государственной власти...

После обсуждения утверждается состав комиссии. Закрытой баллотировкой избирается президиум: Г. М. Кржижановский, Б. И. Угримов, А. Г. Коган. Принимаются предложения: подготовить доклады о работах в области электрификации отдельных отраслей народного хозяйства, просить Управление делами Совнаркома предоставить для президиума комиссии автомобиль.

Двадцать первого февраля там же, на Мясницкой, заседание открывается в два часа пятнадцать минут дня докладом Угримова о программе работ Бюро по электрификации сельского хозяйства при Народном комиссариате земледелия. Потом инженер Стюнкель говорит о работах по электрификации в объединенной текстильной промышленности. И наконец, Графтио выступает с докладом об электрификации железных дорог страны.

Двадцать четвертого февраля работа начинается в два часа двадцать пять минут сообщением товарища Кржижановского о том, что президиум ВСНХ утвердил состав комиссии. Отныне она действует при Электроотделе, который и будет ее финансировать. Официальное название — Государственная комиссия по электрификации России, или ГОЭЛРО.

Глеб Максимилианович готовился произнести все это сообразно торжественности момента. Но вышло суховато и обыкновенно — по ходу дела, и только. Может быть, так оно и правильнее? Отложим торжественность «на потом», а пока...

Он обвел взглядом хмурые, сосредоточенные лица людей, сидевших вокруг него в пустой и от того казавшейся еще больше комнате барской квартиры.

Даже стола нет — дюжина ореховых стульев с обтертыми медными шляпками обивочных гвоздей: один — председательский — стул в центре, возле печки-«буржуйки» с коленом трубы, выведенной к форточке, остальные — охватывающей подковкой, словно для игры поставлены.

Занятие людей, которые сидят на мягких стульях, не снимая пальто и шапок, тоже смахивает на забаву. Вот виднейший транспортник России достал из профессорского портфеля кусок доски... Известный механик нащепал ее острым перочинным ножиком... Ведущий теплотехник чиркнул спичку...

Язычки огня расползлись, выросли в пламя — отсветы заметались по лицам людей, склонившихся к печурке. Что их всех заботит?

Издерганы, загнаны, затравлены мелочами жизни, тяготами быта. Постоянно мерзнут, постоянно хотят есть — очень хотят! Ведь можно было убедиться в этом, приехав сюда и ненароком подслушав разговор двоих из них...

Когда Глеб Максимилианович вошел в подъезд и тяжелая остекленная дверь бесшумно притворилась, те двое были уже на площадке между первым и вторым этажом и не могли видеть вошедшего. Он же сразу узнал их: в добротных ботинках поднимался Графтио, в барских фетровых ботах с кнопочками — Круг.

Тяжело переводя дыхание, Графтио пожаловался:

— Ко всему притерпелся — одного не могу: работать на пустой желудок.

— Трудно...— задумчиво согласился Круг.— Беспрерывные и бесплодные мечтания о еде отвлекают, не дают сосредоточиться, тушат мысль.— И посетовал: — А мы вечерами все сидим как мыши, все ждем: вот сейчас постучат, дверь откроется, войдут «товарищи»: «пожалте бриться на Лубянку!»...

— Помилуйте! — невесело засмеялся Графтио.— Вы на службе у тех же самых «товарищей».

— А! Кто там станет разбираться в нынешнее лихолетье?! Куда ни покажешься, всюду одно: «кадет», «гидра», «контра». Только что, не далее минуты назад, во дворе какой-то «бушлат» подозрительно оглядел меня, и я слышал, как он сказал дворнику: «Чтой-то буржуи к нам зачастили? Не заговор ли затевают?» Смешно, да?

— Веселые времена.

— Куда уж веселей!

— Говорят, самое скучное занятие — жить в интересную эпоху...— Графтио хотел продолжать в том же роде, но заметил нагнавшего их Глеба Максимилиановича, с достоинством приподнял видавшую виды инженерскую фуражку, стал расстегивать пальто, потянул башлык, намотанный вокруг жилистой сухой шеи, обнаруживая стоячий накрахмаленный воротничок — неизменную роскошь бывалого путейца.

Далеко не юный, с глубокими складками на лбу, привыкший ставить выше всего надежность и прочность, он видом своим внушал: «Мне дорого только дело, которым я одержим. Работаю и дома в Питере, и на берегах Волхова — в створе будущей плотины, работаю в вагоне, на пароходе, в номере гостиницы.

И сейчас... вот она, моя папка. В ней все мои мысли — моя суть, весь я — застрахованы от случайностей бренного бытия. А потому ничего, никого не боимся, ни перед кем не склоняем голову».

Иное дело — Круг. Тот все оглядывался на мраморную лестницу, все, должно быть, прикидывал: могли его услышать или нет.

Глеб Максимилианович поспешил уверить, что нет, поздоровался для этого особенно радушно, тут же откликнувшись на ту слишком предупредительную готовность, с какой была протянута большая сильная рука профессора. Приветливо улыбнулся, чтоб не расстраивать его, но думал и думал между тем с горечью, с досадой, обиженно:

«Вот-те на! Добро бы кто-нибудь. А то эти оба, как будто нарочно созданные для затеваемого дела. Преданы ему. Энтузиасты, которых не пришлось ни уговаривать, ни тащить в комиссию».

О Графтио злые языки говорят, что неизвестно, кто кому больше нужен: он Советской власти или она ему. И действительно... Еще в одиннадцатом году он закончил проект Волховской гидростанции и предложил его правительству. Но перспектива получения в столице дешевой энергии поставила под угрозу прибыли электрических компаний — хорошо знакомое Глебу Максимилиановичу «Общество электрического освещения...» скупило земли по берегам Волхова, и самому «императору всероссийскому» оказалось не под силу украсить территорию обширнейшей страны мира задуманной гидростанцией. Зато уже на третий месяц после Октябрьской революции в дверь квартиры Графтио постучал представитель Смольного и сказал, что Ленин просит поскорее дать смету. В июле Совнарком отпустил нужные для строительства на Волхове деньги, и оно началось.

То же примерно и с Кругом...

Большой, медлительный — это, можно сказать, во всех отношениях фундаментальный человек: и с виду и по сути своей. Добросовестный, работящий до того, что дня ему никогда не хватает и он задерживается на ночь,— до того, что совсем недавно в Садовники пришла молодая стройная женщина и, очень мило покраснев, попеняла Глебу Максимилиановичу:

— Мы с Карлушей только поженились, а вы уже отнимаете его у меня. Мы почти не видимся.

Глеб Максимилианович успокоил ее, как мог, пожелал счастья и сказал на прощанье:

— Надо радоваться, что начало вашей совместной жизни совпадает с началом такой работы, какая выпала нам с Карлом Адольфовичем. Нечасто выпадает это, поверьте мне, дорогая Елена Николаевна. Это добрый знак на будущее. И я вас прошу: не тяните мужа от настоящего, счастливого дела — помогите ему...

Круг держится с достоинством, знает себе цену. Он всегда несколько отчужден и чуть-чуть насторожен, как, впрочем, большинство тех, чьи предки еще при Петре перебрались из Пруссии в Лефортово, верно служили России мастерством и иауками, но немало претерпели от фанатиков и шовинистов, особенно в недоброй памяти мировую войну.

Карл Адольфович, пожалуй, самый крупный наш электротехник. В Высшем техническом училище он вырастил целую школу отличных инженеров — многие из них уже идут работать в Комиссию по электрификации. Круг не только педагог, но и ученый. При всем том кажущемся спокойствии, при феноменальной выдержке, которые бросаются в глаза, когда знакомишься с ним, он вмиг теряет самообладание, загорается, как только речь заходит об электрических

приводах и современных системах энергетического снабжения.

Капитальный его труд «Электрификация Центрально-промышленного района» потребовал не один год жизни при царе, при войне, но выпущен Советской властью и стал научной основой для возрождения важнейших областей страны.

Несмотря на сочувствие к кадетам, которое он не скрывает, Карл Адольфович только что выполнил очередное поручение Ленина: закончил брошюру «Программа работ по электрификации России».

Вообще-то, если говорить вполне откровенно, по совести, это — «гусь» и «фрукт», порядочный упрямец и бунтарь. Ох, до чего же обманчива внешность!..

В самом начале работы Круг объявил Кржижановскому:

— Ничем не могу быть полезен. Вы требуете от меня какого-то провидения, фантазии, а я — человек обыкновенный; привык заниматься только точными науками.

— Ничего,— строго сказал ему тогда Глеб Максимилианович.— Придется снизойти. Придется перекинуть мост от вашего лучезарно-академического курса основ электротехники к земным нуждам нашей будущей промышленности. Впрягайтесь!

И — удивительное дело! — Круг впрягся...

«Круг и Графтио — это актив актива. Что же сказать об остальных? — думал Глеб Максимилианович, сидя перед ними в холодной, неуютно просторной комнате Электроотдела и рассеянно поглядывая сквозь давно не мытые стекла на воробьиху, что прихорашивалась на козырьке подоконника.— Нет, не беда, что Круг напуган арестами близких ему людей и боится власти, которой честно служит, главу которой уважает, ценит и, может быть, даже любит. Не

беда, что Графтио то и дело иронизирует, подпускает шутки-шпильки. Честно говоря, и я иногда не в восторге от каких-то вещей, что подчас делаются именем Советской власти. Точно так же, как он, я очень хотел бы, чтоб не было комчванства, комволокиты. Но эта власть — моя. И отдельного от нее пути для меня нет и быть не может. А для них — вот ведь в чем вся штука! — для них окружающее делится на «они» и «мы». В «мы» Советская власть никак не попадает, и на то есть причина: неуверенность в завтрашнем дне как следствие зыбкости, шаткости, неустойчивости всего вокруг. В порядке первого приближения и большого огрубления суть дела рисуется им примерно так: «Отдадимся целиком новой власти, а завтра новый Деникин нагрянет — что тогда? Кому худо? А если не отдадимся сейчас — потом она нас же не примет, не признает. Опять — кому худо?» «Нет, так не пойдет! Так дела не будет!»» — Глеб Максимилианович решительно вертанулся на стуле и обжег левое запястье о «буржуйку».

Он затряс рукой, стал дуть на нее, но поймал испуганно-сочувственные взгляды коллег, застыдился, улыбнулся, показывая, что по столь пустячному поводу в столь серьезном собрании воспитанный человек не позволит обращать на себя внимание.

Печка-времянка меж тем разошлась, в трубе потрескивало, урчало...

Глеб Максимилианович, подавляя боль, отодвинулся со стулом, произнес, улыбаясь, окончательно сглаживая неловкость:

— Ну что? Кажется, нашей Комиссии удалось расшуровать первую топку?..

— Вот бы и остальные так! — заметил Борис Иванович Угримов, подбрасывая в печку скомканную газету.

В самом деле, сколько еще застывших топок в стране... Сколько людей, привыкших вставать по гудку, давно не слышат его! Сколько чистого — слишком чистого снега по заводским дворам... Все это ждет вмешательства, участия от них, сидящих в пустой комнате барской квартиры.

Сообща, дружно они потчевали «буржуйку» кто обрывком бечевы, кто обломком плинтуса, кто куском угля, подобранным на улице. А Графтио принес башмак без подошвы и с серьезным видом уверял, что по калорийности данный вид топлива превосходит бакинскую нефть.

Башмак и вправду разгорелся. Стало вроде даже теплее.

Круг снял шапку. Графтио откинул башлык на спинку стула. Глеб Максимилианович распахнул доху. Работа заспорилась. Быстро подобрали специалистов — составили комиссии для электрификации районов: Северного, Центрально-промышленного, Донецкого и Юга России, Уральского и Западно-Сибирского, Приволжского, Западного, Кавказского, Туркестанского.

Увлекшись, Глеб Максимилианович едва не забыл, что вскоре ему назначено быть у Ленина. Он поспешно извинился, уступил место заместителю, сбежал по лестнице, впрыгнул в авто.

Усатый шофер в перчатках-крагах, в валенках, с очками пилота на кожаном шлеме крутанул заводную рукоятку раз, другой — машина не отозвалась...

Пассажир нетерпеливо заерзал, но ничего не сказал, чтобы напрасно не дергать работавшего человека. Тот не уступил: налег еще, еще... Бабахнул взрыв, облако скипидарно-въедливой гари обволокло экипаж, напоминавший карету, и он заколыхался, затрясся, содрогаясь, словно в лихорадке.

Пока выруливали меж сугробов и мусорных куч на Мясницкую, Глеб Максимилианович по привычке наделял сию самобеглую коляску подходящими прозвищами: «прощай, радость», «агония на колесах», «раздряга» — нет! — «храпучая раздряга»! Вот это подойдет.

Подпрыгивая, «храпучая раздряга» перевалила через трамвайные колеи — покатила к Лубянской площади, в сторону центра.

Истомленный одиночеством, шофер вдохновенно извергал последнюю, главным образом, уголовную хронику, живописал, как:

— В Марьиной роще два знаменитых бандита прятались — Царев и Морозов. Полтыщи душ загубили! Окружили ихний дом, Царева ранили, а он все в начальника, в начальника палил — покуда не умер... А на Садовнической набережной, недалеко от вас, в доме один, на пятьсот восемьдесят пять тысяч добра вывезли!.. Доктора останавливают на Маросейке. «Мы,— говорят,— сотрудники МЧК». Дезертиры-рецидивисты... Извозчика ножом, сами на лошадь и скрылись...

Сочувственно кивая и поддакивая, Глеб Максимилианович ловил себя на том, что сегодня ничто подобное его не волнует, даже известие о расстреле Колчака, дошедшее кружным путем из Иркутска через Дальний Восток, Лондон и Стокгольм. Сейчас в поле зрения оставались детали, так сказать, положительно заряженные, а это для него всегда было верным признаком доброго настроя, предвестием удачи.

Именно!

Ведь не случайно же он думал не о том, что уже определилась неизбежность военного столкновения с панской Польшей, а о том, что свободные от войны красноармейцы за какие-то двадцать дней напилили

и подвезли к станциям тридцать тысяч кубических сажен дров.

Он не хотел замечать сани, тащившиеся навстречу, и на них гробы, охваченные веревкой, новые, белые, блестевшие на солнце гладью досок... священника с протянутой рукой на углу Кривоколенного переулка, возле молочной Чичкина... выбитое стекло в пустой витрине посудного магазина Мишина... Не хотел думать о том, что почти вся канализационная сеть замерзла — в Москве скопилось около полумиллиона возов мусора и нечистот.

Далеко не живописные груды затрудняют въезд в Китай-город, подход к аптеке Ферейна, к парфюмерному магазину Брокара, грозят вот-вот, с первыми лучами весны, затопить и всю Никольскую и прилегающие дворы зловонной грязью — добавить к сыпняку, захватившему уже и армию, новые «радости» дизентерии, брюшного тифа, холеры. И Ленин с горечью признает, что такой зимы, как эта, нам больше не вынести.

Глеб Максимилианович хотел знать, что в Совнаркоме еще пять дней назад подумали об этом: Ленин отредактировал постановление о чрезвычайной санитарной комиссии. И хотя вездесущие господа «вумники» не преминули воспользоваться сим обстоятельством, весьма удачно рифмуя «совнархоз» и «навоз», вот уже объявлена «неделя санитарной очистки». Вот и Петрушка у входа в бывший ресторан «Славянский базар» горланит:

— Граждане! На борьбу с грязью!..— И еще что-то, чего не расслышать за всхрапами «раздряги», но видно, как собравшиеся смеются, берут ломы, как из-за Верхних торговых рядов выкатывает грузовик с курсантами, вооруженными метлами и лопатами.

 «Что там ни толкуй,— бодрился Глеб Максими-

лианович,— помаленьку становимся на ноги. И станем!»

...Увеличен паек учителям.

Освобождены от трудовой повинности артисты и врачи.

В моде новое слово — «ликбез».

В Кремле открыт для осмотра Большой дворец — вход свободный.

...Первое, на что он обратил внимание, усаживаясь рядом с Лениным, была брошюра Круга, раскрытая на столе, и в ней подчеркнутые строки:

«Выяснение количества разного рода строительных материалов и оборудования...»

— Да,— поймав его взгляд, кивнул Ленин.— Дельно. Очень дельно. Пролетарий писал.

— «Пролетарий»?! — удивился Глеб Максимилианович, с недоумением повел плечами, приподнялся из мягкого кресла, усмехнулся недоверчиво, грустно.— А в Высшем совете народного хозяйства многие товарищи — из числа самых левых, самых пролетарских, самых революционных — величают нас всех, всю нашу Комиссию, не иначе как «кучка размагниченных буржуазных интеллигентов».

Ленин сдвинул брови, сердито захлопнул книгу и встал.

Пройдясь по кабинету, он молча облокотился о край полки позади своего кресла, откинул свободной, правой рукой борт расстегнутого пиджака, сунул ее в карман брюк.

Прищуренный глаз смотрит чуть искоса, скептически. Настороженность в наклоне головы.

— Та-ак,— Ленин нарушил молчание и снова прошелся по кабинету.— Из пролетариев по профессии не раз выходили в жизни размагниченные мелкобуржуазные интеллигенты по их действительной

классовой роли. И наоборот. Пролетарий (не по бывшей своей профессии, а по действительной своей классовой роли), видя зло, берется деловым образом за борьбу, за работу.

Глеб Максимилианович вспомнил Фарадея с Петровки, тяжело вздохнул, усмехнулся:

— Если бы все так!..

— Куда там!.. Размагниченный мелкобуржуазный интеллигент хныкает, плачется, теряется перед любым проявлением безобразия и зла, лишается самообладания, повторяет любую сплетню, пыжится говорить нечто несвязное о «системе».

— Если б только говорить!..— заметил Глеб Максимилианович.

— Вот! Вот именно! — подхватил Ленин и, остановившись возле Кржижановского, положил руки на спинку кресла, где тот сидел.— Вы читали брошюру Короленко «Война, отечество и человечество»? Короленко ведь лучший из «околокадетских», почти меньшевик. А какая гнусная, подлая, мерзкая защита империалистской войны, прикрытая слащавыми фразами!

— Ну, уж это слишком... Говорить так об авторе «Слепого музыканта», о писателе, которого вы называли прогрессивным в самый разгул столыпинской реакции!?

— Эх, как бы я хотел позволить себе быть таким же добрым, как вы!..

— Что ж... Каждому — свое.

— Да, каждому — свое. Я говорю сейчас не о «Слепом музыканте», а о другой книге. Ее написал жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками! Для таких господ десять миллионов убитых на империалистской войне — дело, заслуживающее

 поддержки... а гибель сотен тысяч в справедливой

гражданской войне... вызывает ахи, охи, вздохи, истерики.

Глеб Максимилианович задумался, невольно сопоставляя все это с тем, что недавно говорил бывший прогрессист Мартов о «созидательном интеллекте» и «соли земли», будто бы изничтожаемой большевиками. Можно ли прощать людей, отступающих от светлых надежд молодости, предающих эти надежды? Можно ли осуждать непримиримость Ленина?..

Повернувшись к нему, Кржижановский сказал:

— Но Короленко еще не вся правда о нашей интеллигенции.

— Бесспорно! У русской интеллигенции есть Климент Аркадьевич Тимирязев, только что избранный в Московский Совет рабочими вагонных мастерских Курской дороги. Есть много Тимирязевых. И это не перечеркнуть никому.

— Но ведь как Тимирязев — плоть от плоти, так и Короленко немыслим вне народа.

— Ну, уж извините, Глеб Максимилианович! Неправильно смешивать «интеллектуальные силы народа» с «силами» буржуазных интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а... Знаете что?

— Догадываюсь.

— Вот именно! «Интеллектуальным силам», желающим нести науку народу, мы платим жалованье — выше среднего. Это факт.

— Не хлебом единым, Владимир Ильич!

— Мы их бережем. Это факт. Десятки тысяч офицеров, больше тысячи бывших при царе генералами и помещиками служат на важнейших постах в Красной Армии. И она побеждает вопреки сотням изменников. Это факт.

Бережно придержав легкую вращающуюся эта-

жерку с книгами, Ильич прошел к своему креслу, сел и продолжал:

— Если в этом свете говорить о вашей Комиссии, о вашей задаче, то уже не «в порядке первого приближения»... Нет, вполне определенно — вы находитесь на линии высочайшего напряжения: «Революция — интеллигенция».

Ленин улыбался, шутил, задорно пристукивал по столу небольшими, но крепкими ладонями.

— Признаться, Владимир Ильич, я сегодня весьма и весьма огорчен этим обстоятельством. Не знаешь, как вести себя, чтоб не оказаться пораженным сим током «высочайшего напряжения» или по крайней мере не помешать его течению.

— Да,— Ленин сочувственно наклонил голову.— Почти все ваши сотрудники настроены против Советской власти.

— Как же быть?

— Рецептов тут нет... Вон Горький говорит, что художники — невменяемые люди. А разве ученые проще? Да, привлечение интеллигенции на нашу сторону — дело не дня, не месяца и даже не года.

— О-хо-хо-хо-хо! — закряхтел Кржижановский, шутливо укоряя Ильича.— Ну и работу вы мне подсудобили...

— По дружбе, Глеб Максимилианович, исключительно по дружбе,— отшутился Ленин.

— Лучше бы на фронт!

— На фронт!.. Ишь какой прыткий! Конечно, там в определенном смысле проще: вперед, ура... А тут поди-ка разберись, где враг, где друг. Пуд соли надо съесть, прежде чем узнаешь, кто — кто.

— Больше всего меня удручает, Владимир Ильич, какая-то их отчужденность, настороженность, ироническое недоверие к нам. И самое удивительное, что

ведь многие из них, если не все, в свое время «ходили в народ», примеряли костюмы Робеспьера и Герцена...

— Эк, куда хватили, батенька! Что ж тут удивительного? Русский интеллигент обычно бывал настроен революционно лет до тридцати, а затем прекрасно устраивался в уютном гнездышке казенного местечка, и большая часть горячих голов проделывала превращение в дюжинного чиновника. Но помоему, мы слишком увлеклись философией. К делу. Что необходимо, чтобы наши «интеллектуальные силы» привести в действие?

— Прежде всего кормить их.

— Ага! «Не хлебом единым»!.. Дальше?

Глеб Максимилианович обстоятельно, подкрепляя свои доводы справками и выкладками, обосновал, сколько миллионов рублей надо для успеха работы, сколько пудов хлеба, солонины, полбенной крупы. Коснулся и щекотливой, затруднительной для всех проблемы: разрабатывать или нет план электрификации Прибалтики, польских губерний, Бессарабии и других областей, отторгнутых сейчас от республики.

Ленин сразу помрачнел:

— Это надо всесторонне обдумать...— Но тут же с обычной живостью заключил: — Итак, вы просите для работников ГОЭЛРО специальный паек?

— Вот список едоков.

— Хорошо... Членов комиссии и еще десять — пятнадцать человек по вашему выбору определим на боевой красноармейский паек.

— На боево-ой?!

— Это лучше, чем специальный.

— Лучше того, что получаете вы...

— Я и так за Советскую власть,— усмехнулся Ленин и встал, прощаясь: — Действуйте, действуйте,

дорогой Глеб Максимилианович. Я верю, что вы поладите с «интеллектуальными силами». Верю, что ваша «кучка» станет поистине могучей.

Архимеды идут к нам

Выйдя от Ленина, Глеб Максимилианович тут же позвонил в Комиссию: скорее, скорее обрадовать коллег!..

Рассказав об «успешном разрешении продовольственной проблемы», он положил трубку, задумался возле стола секретаря Совнаркома:

«Кто такой руководитель? Говорят, самый главный — тот, кто может делать что хочет. Какое заблуждение! Не что хочет, а что надо».

Что же надо?

Прежде всего подготовить программу ГОЭЛРО. Затем составить смету расходов. Потом нужно подыскать помещения, где ученые смогут разрабатывать планы развития важнейших районов страны. Надо привлечь еще десятки — нет! — сотни дельных специалистов, наладить оформление документов для оплаты их труда, и снова — тысячи других «надо», без которых шагу не ступишь, так же как без пайков.

Но это лишь одна, можно сказать, внешняя сторона. Куда важнее добиться, чтобы все в Комиссии работали вдохновенно, с ревнивой преданностью делу, с верой в будущее.

А как добиться, когда большинство сотрудников не то что не верят в Советскую власть, но противники ее?..

Конечно, сам Глеб Максимилианович делает все, «что надо» — и большое, кардинальное, и самую ма-

лую малость — с характерным для него подъемом, с напором, азартом, который друзья, улыбаясь, называют «революционно-поэтическим чувством». Но как вдохнуть это чувство в своих сотрудников?..

Каждые вторник и субботу собирается Комиссия. Бо́льшая часть марта уходит на организационно-подготовительные дела. Но одновременно, кроме программы, председателя ГОЭЛРО волнуют и другие важнейшие проблемы.

Волхов и Свирь — как скорее, как выгоднее использовать их энергию?

Два течения, два наметившихся подхода к будущему земледелия: одни рассчитывают опираться только на советские хозяйства, другие смотрят на них лишь как на показательные научные учреждения. Продумать, определить свою точку зрения, обосновать позицию.

Вместе с народным комиссаром торговли Леонидом Борисовичем Красиным за границу едет Василий Васильевич Старков. Считать его постоянным представителем ГОЭЛРО в Западной Европе. Поручить ему заказать оборудование электрических станций, не дожидаясь, пока план будет готов. Для этого срочно дать списки необходимого и выяснить, какие довоенные заказы оплачены русскими фирмами, чтобы постараться их заполучить.

Но вот готова программа.

Ленин читает ее, покачивает головой: сухо, надо доказать или хотя бы иллюстрировать громадную выгодность, необходимость электрификации...

Глеб Максимилианович поднимается с кресла и тут же садится: «Как же я так — сплоховал? Думал, само собой разумеется, все всем и так ясно... А выходит, ничего пока не ясно — надо объяснять, начинать с азов, танцевать от печки...»

Тем временем Ленин доходит до места, где говорится, что «в Сибири принимается во внимание только западная ее часть», тяжело вздыхает, думает, думает, понятно, о том, как неустойчиво, как неясно положение на востоке республики, стремительно опускает карандаш, исправляет: ««пока» принимается...»

Совет Ильича об искусстве руководителя «находить себе многих» вполне применим и к председателю ГОЭЛРО.

Очень помогала ему в этом нелегком и нескором поиске Зинаида Павловна, хорошо знавшая инженерную и профессорскую верхушку Москвы, знакомая с женами «титанов мысли». А уж кому, как не женам, быть в курсе всех дел и настроений «главы семьи»? Через кого лучше, проще подействовать, повлиять на упрямого «главу», живущего в мире обычных для всех «глав» иллюзий о собственной самостоятельности и независимости?

Кто, как не Зина, вовремя подскажет, какой из «китов» уже дозрел, кого надо еще подтолкнуть к работе?

В общем, недаром Надежда Константиновна давно признала:

— У Кржижановских особая способность группировать около себя публику...

Оттеснив гостя в угол, невысокий Глеб Максимилианович поглаживает клинышек бородки, постреливает лучистыми глазами, перемежает серьезные доводы шутками, остротами — знай гнет свое:

— Мне помнится анекдот, а скорее, быль о мужиках, которые подали в земство такую жалобу: «Всю жизнь мы ходили до станции пять верст. Приехали ваши землемеры, намерили семь и уехали. Им ничего, а нам — ходи лишних две версты...» Чтобы одолеть эту темноту, это вопиющее невежество, мы ре-

шили покрыть Россию сетью дорог. Такой выдающийся транспортник, как Генрих Осипович, уже собрал группу инженеров — штаб электрификации железных дорог! Не теряя ни минуты, он занялся разработкой плана. Он думает об электрифицированных сверхмагистралях, которые пересекут нашу самую большую страну мира с севера на юг, с востока на запад, покончат с вековечными неудобствами российского бытия, с идиотизмом деревенской жизни!..

Развертывая перед колеблющимся представителем «интеллектуальных сил» перспективу светлого будущего, Глеб Максимилианович не подлаживается к собеседнику, не подделывается под него. Нет. Он сам увлечен — он уверен в успехе. Для него самого прежде всего — захватывающая значительность дела. И это скорее, чем что бы то ни было, подкупает. Именно это располагает к нему своенравных, малообщительных жрецов точных наук, привыкших доверять лишь аргументам Пифагора и Ньютона.

Правда, они сопротивляются, твердят что-то вроде:

— Имение сожгли... Я ж его не унаследовал, я ж его горбом нажил... Спичек и тех нет...

— Да вы что? — Глеб Максимилианович качает головой, грустно усмехается: — Вы это все всерьез? Неужели из-за этого вы — вы, наш первейший, можно сказать, знаток океана и морского транспорта, наш бог и царь, наш Нептун! — не пойдете работать с нами?! На одной чаше весов спички, вернее, их отсутствие, на другой — свет над Россией. Смешно думать! Простите... Вы, вы!.. И вдруг без России...

— Конечно.— «Бог и царь» выкатывает грудь колесом.— Меня звали в Оксфорд. Копенгагенский университет предлагал мне кафедру, виллу на море, министерское жалованье!..

— Простите,— перебивает Глеб Максимилианович,— можно ли ставить себе в заслугу то, что ты не продался за чечевичную похлебку?

— Да я не к тому! — смущается адмирал-профессор.— Вы не так меня поняли. Я, конечно, отказался наотрез. А назавтра приходит провонявший махоркой и картофельной похлебкой домком — уплотняет мой кабинет, в котором я...

— Вот это плохо! — сочувствует Глеб Максимилианович.— Тут вы правы. И мы еще разберемся в этих деталях. Но сейчас надо решить главное, и я, признаться, не верю — что хотите со мной делайте! — не верю, что вы останетесь вне нашей Комиссии, вне нашей работы...

Убежденность его заражает. Незаслуженные обиды, ущемленное самолюбие, неудовлетворенное тщеславие отступают на второй план: «могучая кучка» растет, разрастается, как снежный ком в оттепель.

Все же Глеб Максимилианович не очень доволен: нет того одухотворяющего подъема в работе, о котором он мечтал. Никак ему не удается сообщить коллегам тот «положительный заряд», который бы по-настоящему объединил их, сдружил, сделал их заботу о будущем рачительной и волнующей.

Шестого марта он приглашает на заседание Комиссии новую знаменитость — надежду и светоча, прославленного в ученых кругах. Быть может, его появление станет толчком, сдвинет «интеллектуальные силы» с мертвой точки равнодушного исполнительства.

Леонид Константинович Рамзин... Блестящий, даже светский молодой человек. Совсем недавно — выпускник Высшего технического училища — и уже его профессор.

Это он станет одним из организаторов Всесоюзного теплотехнического института и первым его директором. Это он через десять лет будет приговорен к расстрелу — как один из главарей контрреволюционной Промпартии, признает свое преступление, раскается, будет помилован в виду исключительной ценности — как изобретатель прямоточного котла, нареченного в мировой практике его, Рамзина, именем. Но пока...

Он корректен, лоялен — гораздо лояльнее всех остальных: вот уж от кого не дождешься ни разносных обобщений о несостоятельности всей «Совдепии», ни ехидной констатации отсутствия спичек в соседней лавке. Он держится просто, вполне оправдывая ту истину, что воспитание дается человеку, чтоб надежно скрывать свои чувства.

Выступает с докладом о сланцах. Глеб Максимилианович благодарит его. Коллеги дружно признают: действительно, при проектировании районной станции на Волге нельзя упускать из виду сланцевые залежи. Все пригодится, все пойдет в дело — должно пойти!

Порадовались, пообсуждали, но желанного «положительного заряда» так и нет...

Вскоре привлечен к работе еще один «титан мысли» — «гордость интеллектуальных сил земли русской» Михаил Андреевич Шателен. В отличие от Рамзина, это маститый муж. Ему скоро стукнет пятьдесят четыре. Практиковался в Компании Эдисона и на всемирных выставках в Париже.

Михаил Андреевич — живая энциклопедия. Многие выдающиеся события техники или изобретения вызывают у него личные воспоминания, ассоциации. О многом он может порассказать и любит рассказывать. Слушать его интересно, а часто и не бесполезно.

Знавал Яблочкова, Лодыгина, Попова. Работал обок с Доливо-Добровольским, с Бенардосом и Славяновым, создавшими электрическую сварку. Обстоятельный, капитальной учености человек. Ни один электрик, вышедший из петербургских институтов за последние тридцать лет, не может сказать, что не учился у Шателена.

Если многие из московской да и питерской инженерной знати все еще недоверчиво косятся на председателя ГОЭЛРО и очень зло острят по поводу большевистской электроутопии, то Шателен, тоже далекий от Советской власти, выслушивает Глеба Максимилиановича сочувственно, признает:

— Вот то, над чем можно и интересно поработать.

Он тут же обещает увлечь виднейшие питерские головы, и ГОЭЛРО назначает Михаила Андреевича своим уполномоченным в Питере. Там он организует и возглавит группу для разработки плана электрификации Северного района.

Наскоро позавтракав, Глеб Максимилианович сел в машину, отправился по Москве — посмотреть, как живется его сотрудникам, как устроились отдельные группы ГОЭЛРО.

Первым делом навестил «штаб электрификации железных дорог».

Для того чтобы можно было работать от восхода до заката, Графтио поселился у своего заместителя по Комиссии Дмитрия Ивановича Комарова — Большой Афанасьевский переулок, дом двадцать семь, квартира два.

Дверь была не заперта, и, несмотря на ранний час, в нетопленной, насквозь прокуренной гостиной — полно народу. На полу — громадная карта России.

Над ней — несколько взъерошенных возбужденных спорщиков, перебивающих друг друга:

— А я вам говорю, до тепловоза еще далеко: это дело не двух и даже не трех десятилетий. Скорее электровоз придет на смену паровозу! Простая конструкция. Уже проверен во многих странах.

— Погодите, погодите, господа! Конечно, прежде всего электрическая тяга! Особливо для дорог, соединяющих Донецкий бассейн с Кривым Рогом...

— Каких?! Уже существующих? А как же спрямляющий участок Александровск — Чаплино, который предлагает группа управления?..

Глеб Максимилианович узнал московского инженера Шульгина и питерца Егиазарова, поздоровался, хотел высказать свое мнение, но стоит ли вмешиваться в работу специалистов сейчас, когда и половины ее еще не видно?..

Кивнув Генриху Осиповичу, чтобы тот не отрывался от дела, Кржижановский потихоньку вышел.

«Храпучая раздряга» понесла его дальше — в Малый Николопесковский переулок. Здесь, в барском особняке поселилось Управление ирригационных работ... Ему-то Глеб Максимилианович и поручил план электрификации Туркестанского района.

Из восьми комнат отапливались только три, да и то так, что снимать шубы и пальто было рискованно. Не раздеваясь, сотрудники сидели по четверо за столом. Каждому наверняка было неудобно чертить, но Глебу Максимилиановичу показалось, что делали они это со старанием и охотно.

Он стал знакомиться, расспрашивать о житье-бытье. Яркая молодая женщина, особенно привлекшая его внимание, отшучивалась:

— Все прекрасно-расчудесно! Вместо часов у меня градусник. Прихожу с работы, растапливаю

«буржуйку», нагоняю до плюс трех — валюсь спать... Утром приоткрою глаза: «Ага! Минус три — пора подниматься»...

За дверью послышался густой женский голос:

— Ликуйте, совбуры! Праздничный обед готовится: суп с кониной и пшеном. Ох!..— женщина вошла, смутилась, узнав Глеба Максимилиановича.

— Здравствуйте, Вера Вячеславовна! Совсем запамятовал, что и вы здесь трудитесь... Что это за слово вы употребить изволили — «совбуры»?

— А!..— Она еще больше покраснела.— Прилипло! Извините, пожалуйста! Очень модное теперь — «советские бюрократы» означает.

— Гм... Работаете?

— Работа очень интересная. Все здесь увлечены. Вот она,— Вера Вячеславовна указала на ту молодую женщину, которая рассказывала только что, как она живет по градуснику вместо часов.— Не слушайте вы ее! Всю ночь просидела над картой высоковольтных сетей. Срочно пришлось переделывать. Уснула под утро, за столом. И вообще... Валентина Михайловна Дыбовская известна тем, что блестяще окончила политехнический институт...

— Так же, как вы, Вера Вячеславовна!

— Я на три года раньше и по другой специальности. Да не обо мне речь. Валентина Михайловна — одна из первых десяти женщин, ставших у нас, в России, инженерами-электриками.

— Да-а? — Заинтересовался Кржижановский.— Кто же вас учил?

— Шателен, Миткевич, Вологдин, Байков...

— Ого!

— ...Розинг... Знаете?

— Ну как же! Тот, что еще в седьмом году запатентовал прием изображения на расстояние с по-

мощью электронно-лучевой трубки — электрическую телескопию, или дальновидение, как теперь называют?

— Да, он.

— Трудненько вам, должно быть, приходилось?

— Не говорите! Почти все вокруг — и знакомые и родные — считали меня авантюристкой, были шокированы, называли сумасшедшей. Еду как-то из Питера домой на каникулы, естественно, в вагоне разговоры с попутчиками, расспросы — кто да что? Как узнали — тут же ахи, охи... В следующий раз пришлось медичкой отрекомендоваться.

— Ну, а теперь-то как? Не жалеете?

— Что вы, Глеб Максимилианович?! Это счастье — такая работа! Каналы проектируем, гидростанции... Хлопок будет! Сады вместо пустыни!..

«Какие замечательные люди идут работать к нам! — радовался Глеб Максимилианович, возвращаясь в Садовники.— В сущности, каждый человек замечателен, только до поры не открыт тобой... Надо — надо! — открывать людей для себя и для других вот так же, как Вера Вячеславовна открыла мне эту женщину. А сама-то она, Вера Вячеславовна Александрова-Заорская!.. Великолепно закончила экономический факультет, работала в Туркестане с Александровым. Верхом на лошади объездила Тянь-Шань, истоки Нарына, Иссык-Куль, исследовала возможность создания водохранилища на Сырдарье, мечтает об орошении и развитии края. Ведь они же — и муж и жена Александровы — просто влюблены в те места, в горы, в озера. Вместе составили весьма и весьма солидный том «Промышленные заведения Туркестанского края», который теперь ох как пригодится нам... Вера Вячеславовна успешно работает в нашей Туркестанской группе, а еще она — хозяйка

в доме... а еще — мать... Надо — иадо! — подходить к каждому человеку, как к иераскрытому гению. Только так! И чем больше людей откроешь, тем зиачительнее, крупнее ты сам, тем удачнее твоя собственная жизнь. Позвольте! Позвольте! А-лек-сандров... Вот в ком вопрос. «Быть или ие быть?» Не агитацией, не уговорами призывать к вдохиовению ученых коллег... Делом их зажигать! Ускорить доклад Алексаидрова! Во что бы то ии стало! Поторопить. Растрясти его. Растормошить. Сколько можио откладывать? Время ие терпит».

И вот иаконец иаступает поистине исторический день — третье апреля.

Вообще, день как деиь. Так же матерятся ломовики в Кривоколеииом переулке. Так же неистово лупит в окиа весеинее солнце, обнадеживая, ободряя людей, изиемогших в ожидании тепла. По-прежнему голодио, иеспокойио и в столице и за ее пределами. Западиый фроит — упорные бои под Речицей. Юго-Западный — бои с перемеииым успехом. Кавказский — ничего существеииого под Новороссийском, противник обстреливает Петровск с моря. Туркестанский — отбито иесколько селений. Восточиый — все части белых эвакуироваиы из форта иа полуострове Мангышлак...

В этот день приглашенный Глебом Максимилиаиовичем профессор Александров выступает на заседании Комиссии с докладом «О программе экономического развития Юга России». Как будто бы ничего особеиного, довольио скучиое название. Почему же этот день, это событие войдут в жизнь Глеба Максимилиановича — да и не только в его жизиь — большим, иастоящим праздииком?

С Александровым Кржижановский позиакомился по работе в Комитете государствеиных сооружеиий

два года назад, когда Иван Гаврилович приехал из Петрограда и возглавил отдел проектов Водного управления.

Этот худощавый, но плотный сорокапятилетний атлет, казалось, был соткан из мышц и порывов. Громадные усы почти заслоняли «зеркало души». Сразу обращало на себя внимание благородство и интеллектуальное изящество этого человека. Одновременно в разговоре с ним открывалась разносторонняя его одаренность, а после двух-трех встреч уже привлекала размашистость замыслов, дерзкая энергичность и яркость мечтаний. Словом, ты убеждался, что перед тобой одна из тех цельных и широких русских натур, в которых так счастливо сочетаются, дополняют друг друга чувства и разум.

Вырос Иван Гаврилович в небогатой трудовой московской семье. Никаких особых происшествий или потрясений в детстве не припомнит, если, впрочем, не считать, что мать его — хористка Большого театра — вдруг распрощалась с искусством, оставила трехлетнего Ваню на попечение бабок и следом за отцом-фельдшером укатила «на турецкую кампанию» — сестрой милосердия.

Все остальное было обычно — обычный для «разночинца» путь. Реальное училище. Потом четыре года в Техническом — лучшем инженерном учебном заведении России. Три года в Московском инженерном училище Ведомства путей сообщения. Практика на строительстве дорог, мостов, на Глуховской мануфактуре — в слесарном и токарном мастерстве, наладке, приведении в действие паровых машин и котлов, насосов и вентиляторов. Лекции Жуковского, Патона, Каблукова, Рерберга, Чаплыгина...

Но пожалуй, не меньшую, а быть может, и бо́льшую роль в жизни Александрова, в раннем определе-

нии призвания сыграли не светила науки с громогласными — на весь мир — именами, а скромный, никому не ведомый учитель.

Об этом сам он, Иван Гаврилович, рассказывал Глебу Максимилиановичу:

— Из всех предметов в реальном училище меня привлекали только два: математика и география, особенно география. Ее преподавал Янчин — личность своеобразная! Уроки его были живым ознакомлением с миром — он приносил растения, камни, картины, приборы, карты. А его речь буквально завораживала меня. Прибавьте еще глубокое понимание детей и справедливость, доходившую до щепетильности. Да-а... Он умер внезапно, когда я был в шестом классе. Я рыдал как ребенок на панихиде по нем, точно терял самое близкое, самое дорогое — терял непоправимо, обидно, невозвратно...

Что бы потом ни делал инженер высшего ранга, «инженер божьей милостью» — проектировал уникальные мосты через Волгу, Неву, Москву или строил их, как памятники искусства, возводил плотины в селах Тамбовщины или учил этому других в институтах Петербурга, вел изыскания для отечественной хлопковой базы на Сырдарье или доказывал бесценность рек Средней Азии не только для орошения, но и для энергетики,— что бы потом ни делал Иван Гаврилович, всегда, во всех его оригинальных и остроумных решениях сами за себя говорили математика и география: сочетание точного расчета с красотой и богатством земли, гармония науки и природы, увлеченность техникой и любовь к родине.

Теперь, слушая доклад профессора Александрова на заседании ГОЭЛРО, Глеб Максимилианович жалел только об одном:

 «Раньше! Раньше надо было все это поставить в

порядок дня. Руки не дошли?.. Должны, обязаны доходить до всего сразу!»

Иван Гаврилович тем временем говорил:

— Для подъема народного хозяйства надо искать новые методы, которые позволят не только восстановить производство и товарообмен, но и сделать это более экономно, а затем сами станут основой прогресса — более интенсивного, чем до революции.

Упругие теплые лучи щекотали его громадный лоб и пронизывали серебристую мягкую гриву, а он не щурился, не уступал — требовал:

— Избрать наиболее мощный центр. Для Юга России таким центром может быть источник дешевой энергии на порогах Днепра... в виде гидроэлектрической станции. Она даст живой импульс к развитию электрометаллургической промышленности, которая в связи с марганцевыми месторождениями станет поставщиком высоких сортов стали для инструмента, сельскохозяйственных машин, автомобилей, аэропланов.

Юг России...

Глеб Максимилианович мысленно перенесся туда. Что с ним сделали, во что его превратили «интеллигентные созидатели» — сверстники, а быть может, и однокашники профессора Александрова? Перепахали английскими танками. Удобрили французской сталью. Усеяли американским свинцом. Напоили пламенем румынского керосина.

Где они все теперь? Что с ними? Одни, по слухам из Феодосии, дошедшим с этой последней остановки Деникина через Лион, сбежались все вместе, в кучу: офицеры, инженеры, графы и князья, видные профессора и заводчики, землевладельцы и землеустроители — набились втрое больше, чем может вместить захолустный городишко. Свирепствует брюшной тиф,

голод, за пропуск на корабль — только золото! Другие уже отрясли прах любезного отечества, после изнурительного путешествия в трюме добрались наконец до земли обетованной — Афин. Решили, как подобает, отпраздновать благополучное бегство, затеяли на всю ночь оргию, изумившую греков олимпийским бесстыдством. В главном ресторане Афин девушка из древнего титулованного рода вела себя так непристойно, что ее пришлось выставить. Но она продолжала свой дикий танец на улице, кричала, что первый раз после революции весело проводит время, швыряла пригоршни монет в толпу обтрепанных детишек, рукоплескавших ей. Третьи... На пути из Константинополя в Белград цинковый гроб с телом боевого генерала поставили в багажный вагон. Но поезд был набит до отказа — и сметливая «соль земли русской» забралась в багажный вагон, воссела на гробе и, сидя на нем, всю дорогу пила-ела в свое удовольствие, без малейшего стеснения. Генерал похоронен в Белграде. Там осела часть беглецов, остальные направились в Париж, где они собираются ликвидировать свои драгоценности и представлять русскую культуру, спасшуюся от большевистских варваров.

Между тем Иван Гаврилович подводил итоги, заключал свои предложения:

— Постройка Александровской гидроэлектрической станции, Александровского порта и создание морского пути Александровск — Херсон — самая важная проблема Юга России. Ее решение определит дальнейшее развитие производства, транспорта и международного обмена не только Юга, но и всей республики...

Жаден, ох, жаден — на дела, на дешевизну, на выгоду — для отечества... Для себя — не знает жадности. Мыкается с семьей по квартирам. Костюм не

мешало бы поновее, получше. И штиблеты — правый вон явно не выдерживает нагрузки. Да-а... Не то, совсем не то, что «сверстники, однокашники». Вон хоть инженеры и профессора, служившие министрами у Колчака. Перед разгромом запаслись золотом из казначейства. Третьяков хапнул сто тысяч золотых. Вологодский — двадцать пять. Министр земледелия Петров — десять, позавидовал: мало — добавил японские иены, бриллианты императорского двора. При царе служили — грабили, при Керенском — грабили, бегут вон — грабят, на бегу грабят любезное отечество! Запасаются, чтоб до могилы хватило,— только о себе пекутся, только для себя радеют: хрен с ним, с отечеством!..

«Где они теперь? Что с ними? «Соль земли», говорите? Как бы не так! Соль земли здесь — со мной, с нами. Вот он, профессор Александров, стоит посреди комнаты с облупившимися обоями в доме номер двадцать четыре по Мясницкой улице в Москве и не о драгоценностях заботится, не об оргиях — о будущем думает, говорит о нем, держится за него. Не хуже других знает, как тяжела на подъем самоварная Россия, но не хнычет, не опускает руки, не превращается в скота, готового жрать, сидя на гробе».

Доклад Александрова взволновал всех. Даже опасения и сомнения его оппонентов звучали заботой, беспокойством: как бы не провалить такое дело!..

Старейший инженер Александр Григорьевич Коган, не находя, куда девать руки, одергивал потертую тужурку, потом выставил впереди себя стул, то опирался на его спинку, то отступал на шаг. Александр Григорьевич немало времени посвятил изучению южного района и ревниво предупреждал, что строительство потребует бездну труда и уйму средств. Поэтому очень, очень важно для будущей работы

ГОЭЛРО раз и навсегда определить, что нам выгоднее: большие первоначальные затраты и дешевая эксплуатация станции или меньшие капитальные вложения и дорогая эксплуатация...

— Совершенно с вами согласен! Совершенно! — профессор Близняк, угловатый и громоздкий, бросился к Когану, как бы на выручку, опрокинул его стул, обвел собравшихся виноватым взглядом.— Извините.

Маститый профессор исследовал в свое время возможности Обь-Енисейского водного пути и Волго-Донского соединения, добивался воплощения своих замыслов, но, как водилось, встретил множество неодолимых преград и теперь, что называется, «на своем молоке обжегшись, на чужую воду дул»: очень, очень советовал Александрову поточнее сосчитать все, что потребуется для достижения на Нижнем Днепре необходимых глубин в восемнадцать футов.

— Очень советую! Настаиваю! А то как бы не получилось, что торговали — веселились, подсчитали — прослезились...

— Успокойтесь, Евгений Варфоломеевич! — поднялся Графтио.— Никто же не предлагает решать с бухты-барахты. Сто раз еще все будет проверено и перепроверено...

Генрих Осипович в девятьсот пятом году разработал собственный проект одоления Днепровских порогов тремя плотинами, и, должно быть, ему не так-то приятно было, но он все же признал, задумчиво покусывая мундштук своей неизменной трубки, что одноплотинный вариант Александрова лучше, экономнее:

— Воплощение его надо считать первоочередной задачей, задачей государственной важности.—

 Увлекся, даже улыбнулся, что случалось с ним

крайне редко.— Да, да! Тем более что в самом проекте Александрова предусмотрены реальные способы достижения успеха. Я имею в виду возможность получить из-за границы необходимые машины и оборудование в обмен на наш хлеб и руду.

— Вы подумайте, подумайте, господа! — не вытерпел инженер Гефтер, глянул на председателя, поправился: — Товарищи... Это же!.. Это!.. Когда мы объединим в общей системе с той станцией, которую предлагает Иван Гаврилович, крупные паровые станции Донбасса, весь наш Юг будет электрифицирован, как ни одна страна мира! Нате вам! Черта с два!.. Выкусите!

«Ишь, ты! Патриот! — Улыбнулся Глеб Максимилианович и поймал себя на том, что завидует Александрову.— Нехорошо как!..»

Никогда он не завидовал ни славе, ни богатству, а вот яркие мысли, щедрые умы вызывали некое щекотание в ноздрях. Но ведь зависть разная бывает. Часто она — дочь злобы, а иногда — сестра доброты. И все равно зависть есть зависть. К тому же он испытывал еще нечто вроде начальственной строгости: похвалишь, а там вдруг отыщутся ошибки в докладе, в проекте... «Доброжелатели» сразу ухватятся, начнут корить, тыкать в нос: «Какой же ты руководитель?!» Ну и пусть! Что за пуританство?! Что за ханжеский стиль — скрывать чувства?!

Глеб Максимилианович подошел к Александрову, обнял его и долго жал руку.

Потом, закурив папиросу и расхаживая по комнате, как бы признался товарищам:

— Доклад Ивана Гавриловича выдающийся. Его мысли принципиально важны для всей последующей работы нашей Комиссии. В самом деле, дорогие друзья, о какой электрификации мы сможем гово-

рить, если не примем в расчет развитие всех отраслей хозяйства данного района в комплексе, в целом, в дружном единстве?!

Он смотрел на своих коллег и не узнавал их. Вот оно, желанное принятие «положительного заряда». На глазах кучка разобщенных интеллигентов становится содружеством единомышленников.

Нет, понятно, не потому, что Александров — крупная личность. Графтио — не меньше. А Вашков — виднейший земский инженер-электрик, знающий Россию от самых корней ее, от истоков? Или Шульгин, Комаров... Но на примере Юга все вдруг не то что поняли — понимали и прежде — почувствовали, вообразили, какие дела предстоят, какие возможности открываются:

«Неужели пробил час?!»

Ведь сколько лет прожил каждый из них и привык полагать, что вокруг никто не заикнется о каких-то там сооружениях общенационального значения. Намека не было — ни в газетах, ни в журналах обширнейшей и едва ли не самой неблагоустроенной империи мира! Образованные русские поговаривали о проекте туннеля под Ла-Маншем, но кто из них хотя бы слышал о проектах Волжско-Донского канала, шлюзования реки Чусовой, устройства Донецко-Днепровского водного сообщения, электрификации Волховских порогов и порогов Днепра? А ведь все эти проекты были. Над ними в тиши кабинетов корпели сотни выдающихся русских инженеров, смирившихся с тем, что большинство их изобретений и открытий признаются в отечестве только будучи ввезенными из-за рубежа — под чужим именем.

«Неужели пробил наконец час?!»

Расходились не спеша: не хотелось расставаться. Вместе спустились по лестнице, попробовали втис-

нуться в «храпучую раздрягу». Да где там? Как-никак девятнадцать человек теперь в «мозговом центре электрификации».

— Уже автобус нужен! — улыбнулся Глеб Максимилианович, вылезая из экипажа, и махнул шоферу: — Поезжайте в гараж.

Так и пошли все вместе по Мясницкой, возбужденно переговариваясь, пересмеиваясь; радуясь всему на свете: и заходившему солнцу, что так добросовестно, так обещающе грело стены мрачных домов, и причудливым теням от собственных голов на тротуаре, и еще чему-то большому, сближающему человека с человеком, что родилось только что, несколько минут назад, в отсыревшей комнате Электроотдела.

Прохожие сторонились, принимая их, должно быть, за компанию подвыпивших гуляк. Старая барыня с собачкой шпицем, на которую чуть было не наступил Угримов, бросила укоризненно:

— Такие солидные, такие интеллигентные люди!..

А дворник при фартуке мирных времен философски покачал головой:

— Цветет буржуй, весну чует.

Глаза у «буржуев», и верно, цвели. Со стороны они, действительно, были похожи на захмелевших людей.

— А что? В самом деле!..— Глеб Максимилианович остановился, точно вдруг вспомнил о чем-то очень важном.— Пойдемте ко мне чай пить!

— Чай?..— многозначительно переспросил Графтио.

— Может, что и покрепче найдется.

Тихим апрельским вечером Глеб Маскимилианович отправился к Ленину.

У подъезда здания Совнаркома коренастый плотный человек в драповом пальто с бархатным воротником, в большой, свободно сидящей кепке скалывал остатки льда.

— Батюшки! Что делается! — Кржижановский всплеснул руками.

— А вы думали, вам одним отдыхать надо? — Ленин обернулся, крупная льдышка стрельнула из-под его саперной лопаты в щиколотку Глебу Максимилиановичу.— Извините, пожалуйста! — Он остановился и, подмигнув, будто уличил: — Сами говорите: «Лучший отдых — чередование разных работ». Помните, как расписывали преимущества добычи торфа силами ткачей?

— Не стану вам мешать.

— Погодите. Мне уже пора.— Ильич с сожалением отставил лопату.

Только теперь Глеб Максимилианович задержал внимание на груде льда возле бортика тротуара:

— Ого!

— Пойдемте. Я вам могу уделить десять минут...

Опять они в кабинете Ленина. Ставшие уже обычными расспросы о делах, о заботах Комиссии, и, понятно, разговор заходит о проблеме Юга страны.

Ильич пододвигает кресло, подпирает скулу кулаком — слушает. А Глеб Максимилианович пересказывает услышанное от Александрова, добавляет все, что узнал сам, особенно когда работал в Киеве, и «рисует словами» так, словно родился и вырос не на Волге, а на Днепре, жил на нем испокон веков...

Вдохновенно, пожалуй, с чуть излишним пафосом он говорит о том, что еще с незапамятных пор вольная и могучая река стала гордостью нашего народа. Днепр, если хотите, колыбель нашей культуры. Матери пели о нем детям. Отцы напутствовали его име-

нем сыновей, шедших на рать. Днепр — это крещение Руси и Запорожская Сечь, это князь Владимир и Илья Муромец, слепой кобзарь и Тарас Бульба, Шевченко и Гоголь...

Когда-то, родившись из множества речушек, Днепр-Словутич ринулся к морю. Но путь преградила гранитная стена. Тысячелетия ушли на то, чтобы одолеть ее. Наконец все-таки вода пробила камень. Но в русле остались обломки: девять главных порогов. Видавшие виды лоцманы, барочники и плотовщики, измерившие вверх-вниз древний путь «из варяг в греки», бессильны против Днепровских порогов — называют их не иначе, как «проклятие природы». Словом, говоря официально-деловым языком, «пороги представляют непреодолимую естественную преграду сквозному судоходству». И со второй половины восемнадцатого века эта проблема официально признана важной для государства — к ней обращена инженерная мысль России.

Вот с каких пор! Признаться, Кржижановский сам не поверил в это, но Александров показал ему документы. Еще в семьсот семьдесят восьмом году — при Екатерине! — на пороги прибыл инженер-полковник Фалеев с командой саперов. Член Российской академии наук Василий Зуев оставил любопытные заметки о том, что «труднейшая работа есть бурить камни под водою, и поэтому не без ужаса смотреть должно, как солдаты... по двое на плотике, зацепясь за камень, посреди столь сильной быстрины и шума держатся, сидят, как чайки, и долбят в оной. Продолбивши на известную глубину, ставят жестяную, с порохом трубку, к коей приложа фитиль, отплывают. По прошествии некоторого времени разрывает камень под водою, и оные обломки вывозят на берег...»

Потом расчисткой порогов и устройством каналов

занимался видный русский инженер Павел Павлович Деволант. Пятнадцать лет работал — до восемьсот десятого. В общем попыток было немало, но в конечном счете все оказывались безуспешными. Александрову известно около двадцати проектов. Ранние посвящены только улучшению судоходства. Более поздние — уже принимают во внимание судоходство и получение электрической энергии, а некоторые — еще и орошение.

Пятнадцать лет назад Графтио и Максимов подошли к решению проблемы по-новому: предложили затопить пороги тремя плотинами с электрическими станциями. Александров признает, что именно с этого проекта в инженерной среде осознали: пороги не проклятье, а ценность, не меньшая, быть может, чем криворожская руда...

Глеб Максимилианович глянул на старинные часы, стоявшие у стены, осекся:

— Мое время истекло, Владимир Ильич.

Ленин коснулся листов недописанной статьи, заколебался, махнул рукой:

— Рассказывайте. Все это так интересно, так замечательно!.. Судоходство плюс электрификация, плюс орошение — всесторонне использовать, запрячь «проклятие природы»... Я вижу, вы хотите курить.

Глеб Максимилианович выразительно покосился в сторону таблички «Курить воспрещается», красовавшейся на белых изразцах голландки.

— Курите, курите,— сочувственно усмехнулся Ленин.— Вам можно. Вы не можете долго не курить.

Глебу Максимилиановичу вдруг представилось, что ушел в далекое прошлое, а не только что закончился Девятый съезд партии, на котором Ленину с трудом удалось отстоять от оппозиционеров и болту-
 нов необходимость возрождения хозяйства по еди-

ному государственному плану, разумность привлечения к работе старых специалистов, что миновала угроза со стороны панской Польши. Нет Врангеля, заменившего недобитого Деникина на посту главнокомандующего вооруженными силами Юга России. И на столе перед Владимиром Ильичем не лежит газета «Известия», в которой крупно, броско напечатано:

««Банная неделя» продолжается. Товарищи и граждане! Спешите скорее, перед пасхой еще использовать предоставленное вам М. Ч. С. К. право бесплатно постричься, побриться и помыться, получив к тому же бесплатно кусок мыла».

Ленин отвлек его от призыва Московской чрезвычайной санитарной комиссии:

— Ну так что же? — Нетерпеливо поторопил: — Что дальше стало с той «ценностью, не меньшей, чем криворожская руда?»

— О-о! — Пуская как можно осторожнее и в сторону струю дыма, Кржижановский продолжал: — Едва только сделалась очевидной эта ценность — а вернее, бесценность! — тут же началась обычная «золотая лихорадка»: хороший проект сменялся превосходным. Частные предприниматели соперничали с деятелями из Министерства путей сообщения, зарубежные концессионеры — с отечественными. Но все усилия разбивались в конечном счете о то, что помещики — владельцы Приднепровских земель — заламывали такие цены за участки, которые предполагалось затопить, что становилось сомнительным все предприятие.

— Милая их сердцу частная собственность сама себя секла.

— Да, иллюзии изживаются, а факты остаются. Только в семнадцатом году наконец началось что-то

похожее на дело: инженер Николаи приступил к рабочим изысканиям для строительства на порогах двух плотин. Но вскоре пришли немцы, и контору Николаи в Киеве стали осаждать «инженеры» в серо-зеленых мундирах. Предлагали ему создать компанию для «эксплуатацион Днэпр». Потом махновцы... Понятно, Владимир Ильич, не обошлось и без курьезов, порой трагических. Однажды бандиты приняли аппаратуру и треноги изыскателей за сигнальные устройства шпионов!.. Н-да-а... В девятнадцатом, едва Украина очистилась, мы отпустили Николаи полмиллиона для продолжения работ. Но на этот раз вмешался Деникин — белые увезли инженеров, хотели переправить их за границу. Однако большинство строителей отказались покинуть родину, спрятали чертежи, спасли документы...

— Позвольте,— прервал Ленин.— Сначала вы говорили о трех плотинах, теперь почему-то две?

— Вот, вот! В том-то вся суть. Частной собственности нет, можно размахнуться. Александров предлагает вместо нескольких построить одну гигантскую плотину. Поднять воды Днепра на тридцать семь метров, затопить разом все пороги, получить мощность не меньше двухсот тысяч киловатт!

— Двести тысяч!..— мечтательно повторил Ленин.— Пять Шатурок!.. Хорошо бы сейчас постоять там, у порогов, подышать речной прохладой, как бывало на Волге!..

Глеб Максимилианович вспомнил, как когда-то в Сибири, на льду Енисея, они думали о великих реках, о будущем преображении родной земли. И вот они — оба! — в конкретной, вполне реальной комнате с высокими сводами вполне конкретно и определенно говорят о судьбе великой реки — точно так же, как в свое время говорили о победе над меньшевиками,

о том, быть или не быть Российской социал-демократической партии революционной.

Тут же представился Ильич, скалывающий у подъезда грязную наледь. Да-а... Неповторимый это человек. Невозможно выделить какую-то одну его черту и сказать: вот он, весь. То же самое и применительно к его внешности — такой, казалось бы, простой, состоящей из обычных черт и черточек. А все вместе — на поди! — именно эти «простые» черты и черточки создают то своеобразное, особенное единство, которое превращает Ульянова в Ленина, наделяет его такой привлекательностью и силой. Может быть, именно поэтому художникам пока не удаются его портреты?

— Как велик человек в мыслях и делах своих! — задумчиво произнес Ленин и, словно не выдержав душевной нагрузки, поднялся, подошел к большой карте на стене, отыскал среди полей, изрешеченных проколами от булавок с флажками, скромный кружок с ничего не говорящим названием.

Глеб Максимилианович почувствовал, вернее, он теперь знал, что Ленин видит, как туда, на берега Днепра, стекаются потомки екатерининских солдат, упрямо долбивших подводный гранит порогов, как преемники полковника Фалеева, академика Зуева, инженера Деволанта «привязывают к местности» — воплощают в котлованы и шпунтовые перемычки дерзкие мечты Ивана Александрова, как на пути великой реки встает рукотворная плотина... Затопляет все кругом светом, богатством. Превращает иссохшие степи Таврии в тучные нивы, камни Кривого Рога и Никополя — в тракторы и станки, глину — в крылатый алюминий, а сам захолустный Александровск, недоступный и речным судам, идущим снизу,— в морской порт, процветающий «соцгород» Запорожье.

И то место, где задержался сейчас палец Ильича, становится для планеты «Днепростроем» — «Днепрогэсом», символом созидающей Революции.

Все это будет. Будет, потому что есть на земле, стоит возле тебя Ленин, потому что и твоя, Глеб Кржижановский, судьба реализуется через это, потому что и Александров уверен:

— Какова бы ни была для современников тяжесть переживаемого исторического процесса, необходимо выявить его творческое начало и через бурю и волны вести страну к оздоровлению и расцвету, к созданию новых форм, которые неминуемо вырастут благодаря раскрепощению многих миллионов русских граждан от прежних форм политического и экономического уклада...

«Батюшки! — Глеб Максимилианович посмотрел на часы и спохватился: — Условились на десять минут, а проговорили час!»

— Да...— Обернулся наконец Ленин — весь еще во власти своих дум — и улыбнулся.— Если такие Архимеды идут с нами, мы перевернем Землю, хочет она или не хочет.

„Под дых“

В последнее время ему не спалось: то заботы одолевали, то ценные мысли, которые, как известно, приходят по ночам.

Вот и теперь: ворочался, ворочался с боку на бок — ни в одном глазу!

Встал, покурил, опять лег.

Уже дней пять он ходит невыспавшийся. Голова точно обручем стянута. Давит, жмет затылок — так

нужно выспаться, но, только было смежил веки, тут же вспомнил об австрийском инженере Эрнсте, который был у нас в плену и хотел помочь электрификации России. Глеб Максимилианович попросил Ильича, и тот телеграфировал Сибирскому ревкому, чтоб немедленно отправили в Москву — с наибольшими удобствами и быстрейшим путем — обер-лейтенанта Рудольфа Эрнста, находившегося в военном городке под Красноярском.

С тех пор минуло уже две недели, а о нужном электрике ни слуху ни духу. Надо бы напомнить, поторопить... Не забыть бы.

Вдруг забудешь?!

Стараясь не шаркать шлепанцами, Глеб Максимилианович пробрался из своей спальни в кабинет, включил лампу, черканул в книжке-«поминальнице», раскрытой на столе, заметил рядом свою фотографию:

«Странно! Откуда взялась? Разве что Зина положила? Зачем?.. Какой, однако, я здесь молодой, бравый! — Перевернул паспарту из добротного лощеного картона, усмехнулся, разглядывая рекламные призывы киевского маэстро, который «от двора его императорского величества государя императора удостоен заказа и награды» да к тому же еще «почетный член Парижской академии» — ни больше ни меньше!»

А что тут, в углу? Это уж его, Глеба Кржижановского, рукой: «Дорогой моей Зиночке в тягостные дни... 24 января 1904 года». Как же, как же! Попробуй забудь, как ходил сниматься на угол Крещатика и Прорезной. Не такое значение придавал он собственной персоне, чтоб увековечивать ее в разные моменты бытия. Да и дело отнюдь не располагало к тому, чтоб запечатлевать свои шаги на портретах —

у жандармов их и без того достаточно. А тут специально пошел: Зина просила прислать ей в тюрьму «хотя бы карточку моего Глебаськи...».

Он бросился к ее комнате, но: «Сам не спишь — и ей не дашь... Еще мама говаривала: нет большего греха, чем разбудить человека».

Глеб Максимилианович с трудом удержал себя, вернулся, достал из ящика стола заветную пачку: нежно хранимые письма Зины, все ее письма.

Вот как раз тогдашнее, четвертого января; на третий день после ареста она беспокоилась только о нем, о своем Глебе, наверное, он кашляет по-прежнему:

— Мой дорогой, прошу тебя всем сердцем, не придавай значения моему аресту, думай побольше о своем здоровье и непременно сходи к доктору. Пожалуйста, голубчик, исполни эту просьбу.

«Не придавай значения»!.. Уж кому, как не ему, члену ЦК, за причастность к которому взята Зина,— кому, как не ему, придавать значение?.. Женщина — всегда женщина...

Еще письмо, девятого января, после того как он был в отъезде по партийным делам и не мог носить передачи:

— Тебя не было два дня... Без книг одолевает дьявольская скука. В одиночестве оттачиваются все ощущения. Делаются тонкие и острые, как иглы. И глубоко так вонзаются. Здесь книги не читаются, а глотаются. Читала Лихтенберга о Ницше...

Камера очень сухая и теплая...

«Знаем мы эти сухие и теплые камеры!..» Сколько писем он еще получил тогда — одинаково перечеркнутых широкими полосами проявителя и с навечно припечатанным красным штампом, где по диаметру: «Просмотрено», а по окружности: «Тов,

прокурора Кіев. о. с. набл. за произ. дозн. о государ. преступл.».

«Глебушок!..», «Глебушочек!..» Письма, письма, но уже десятого года — из Стокгольма, Брюсселя, Парижа. Вот описывает, как ходила на Всемирную выставку и там ей не понравилось:

— Шум, гам... Но кое-что безусловно интересно, прежде всего экспозиция, организованная рабочей партией Бельгии. Домики ткачей, шляпников и пр. были перенесены целиком, и рабочие тут же трудятся... Картина удручающая: огромная продолжительность рабочего дня, ничтожная заработная плата, скверные жилища...

Возможно, кому-то и неуместным покажется все это — писать из-за границы, со Всемирной выставки о лачугах, о житье-бытье в них. Но об этом, и прежде всего об этом, привыкла думать Зина — еще в первых рабочих кружках на окраинах Питера.

Острый, хваткий глаз ее, как всегда, выделял не мишуру, не показное, а главное, основу, суть:

— Технический отдел — большой и деятельный организм, тогда как в других отделах многое напоминает Нижегородскую ярмарку, в более изящном виде, конечно. Правда, английский и французский отделы сгорели. Кстати, пожар этот делается легендарным: говорят, что подожгли немцы. И теперь комиссары выставки получают анонимные письма с угрозами, что немецкий отдел будет уничтожен...

Глеб Максимилианович увлекся ее описаниями. Сколько воды утекло за десять лет! Уже не отделы на выставках сожгли немцы — англичанам, французы — немцам: пожар полыхнул на всю Европу, на весь мир и тоже становится легендарным, а все интересно читать:

— Французы говорят, что Париж ничего общего с Францией не имеет, что это особая парижская нация... Когда я приехала, началась железнодорожная забастовка. Ее поддержали трамвайщики и рабочие метро. Здесь освежается душа, и чувствуешь, что не все так плохо на свете. Какие-то возможности начинают проясняться, и что-то там внутри поднимает голову. Ты хорошо сделал, что отпустил меня...

Он ее отпустил!.. Можно подумать, будто перед ними тогда действительно стоял выбор, будто поехала она так просто — прогуляться, а не по делам партии к Ленину!..

— ...Я очень радуюсь, Глебаська, что все у тебя вышло на работе хорошо... Хоть бы ты немного возмечтал о себе и немножко нос задрал. Право, это не мешает тебе, мой большеглазый!..

Вот тут уж извините. «Возмечтал», «нос задрал»! Чего не было, того не будет. Пусть лучше корят его за излишнюю скромность, за то, что никогда, нигде не пользуется привилегиями. Претит ему, если кто-нибудь произнесет: «Революция дала мне». Что за спекулянтский подход?! А если не дала? Что же, не надо революции? Интересно, как бы поступил в свое время Петр Кузьмич Запорожец, рассуждай он по принципу «дала — не дала»? Стал бы переписывать все статьи для «Рабочей газеты», подготовленной «Союзом борьбы» и арестованной накануне выхода? Ведь большая часть материалов была написана рукой Ульянова, и, когда Петр Кузьмич обратил на это внимание, он, не колеблясь, постарался отвести главный удар от товарища. Кто знает, как бы сложилась судьба Ленина, если б он, а не Запорожец подвергся «допросам особого рода»?..

Глеб Максимилианович поднялся из-за стола, за-
 ходил по кабинету: что-то часто стал он предаваться

воспоминаниям. Старость подкрадывается... Оглянулся — уже светает. Выключил лампу, присел на подоконник, толкнул широкую — в одно стекло — раму.

Сразу свежестью и какой-то живой, дышащей тишиной повеяло с реки, скрытой за кирпичными стенами домов. Над ними, в молочно-ясном небе, уже на том берегу, возвышался купол дворца. Влево от него, во-он там, Кремль, где сегодня предстоит работать, а еще дальше — Красная Пресня, мастерские Александровской дороги, где предстоит выступать...

В былые времена об эту пору по этой булыжной мостовой в сторону знаменитого рынка «Болота», прозванного «чревом Москвы», уже громыхали подводы с молодой редиской и зеленым луком, с бадейками творога и горшками сметаны, с прошлогодним картофелем и свежей телятиной.

А сейчас?..

Тихо. Он подался вперед и прислушался, как бы не доверяя самому себе. Тихо-тихо по всем Садовникам. И кому, как не ему, не знать причину этой тишины?

Всю неделю посвятили сельскому хозяйству. Введены в действие оба брата с Арбата: Борис Иванович как руководитель сельскохозяйственной секции ГОЭЛРО доложил о плане и направлении уже начатых работ. Александр Иванович показал перспективы, охарактеризовал все районы в зависимости от почв, климата, растительности.

Глеб Максимилианович начинал глубже вникать в суть этой основы основ... С малых лет он привык повторять, что Россия наша матушка велика и обильна. Так-то оно так, да не совсем. Ведь только на небольшой части страны сравнительно благоприятные условия, в остальных местах либо почва плоха, а

влага в избытке, либо почва хороша, да воды нет. Там болота, а там леса и кустарники теснят пашню. А вечная мерзлота, отнимающая почти половину территории?.. А зима — русская зима?! Поля скованы. И луга. И реки. Прекращается всякая производительность воды и почвы. Нарушаются сообщения и обмен. Весной влага, накопленная за полгода в виде снега, сбегает с полей почти бесполезно да по пути еще уродует землю промоинами, балками, оврагами. А потом жди: пошлет бог дождичек или нет...

Ему казалось, что он видит перед собой океан крестьянских дворов России, разоренных, обескровленных годами войны. Как всегда, цифры превращались для него в образы, рисовали картины ярче любых красок... Восемьдесят шесть процентов населения живет в деревне, то есть сельское хозяйство — основное занятие подавляющего большинства нации.

А ведется оно...

Опять живопись цифр: известно же, что на душу населения Россия до войны выращивала меньше хлеба, чем Германия, Австрия, Дания или Франция.

После революции миллионы рабочих с семьями, спасаясь от голода, перебрались в село. Едоков там стало больше, но посевные площади не увеличились — наоборот! — они сокращаются и сокращаются, потому что обрабатывается все меньше земли. Село может дать городу все меньше хлеба. На языке ученых это называется «падение товарности». Соха и лукошко не лубочные символы, не метафорические образы русской деревни, нет, это ее основные орудия производства...

Из двадцати пяти миллионов десятин, отобранных у крупных помещиков, только полтора миллиона оставлены за советскими хозяйствами, остальное раздроблено в клочки — там властвуют все те же трех-

поле, лукошко да соха, с той лишь разницей, что в соху впрягают не лошадей, а женщин и детишек. Чтобы восстановить убыль «живого конского инвентаря», по подсчетам Бориса Ивановича Угримова, уйдет не меньше пятнадцати лет...

Прибавьте самые низкие в Европе — нищенские! — урожаи. Помножьте на полное преобладание зерновых культур над техническими, кормовыми, овощными. И тогда пусть не удивит вас то, что не громыхают спозаранку по Садовникам подводы, груженные снедью.

Глеб Максимилианович притворил окно, осторожно подошел к двери в комнату Зинаиды Павловны, прислушался к мерному дыханию жены.

«Спит!» — заключил он с сожалением, с огорчением — так, словно спать в три часа ночи было невесть каким бесчинством, и вернулся к себе.

Сердито сбрасывая туфли, задержал взгляд на портрете матери, висевшем над изголовьем. Глеб Максимилианович мог представить ее старой, немощной, но помнил всегда именно такой — цветущей, красивой.

Отчего глаза ее кажутся ему то веселыми, то печальными? Не оттого ли, что видит он в них то, что у него на душе?

Невзначай подумалось ритмично:

...В делах моих незримо
Все лучшее так связано с тобой.

По сути своей, она очень походила на Марию Александровну Ульянову — то же сочувствие к делу, которому отдают себя дети, близость с ними не только по причине кровного родства. До чего ж обидно сознавать, как мало видела она в жизни радости!.. Если б теперь она была рядом!..

В девятьсот первом году Глеб и Зина приехали в Мюнхен к Ильичу и жили у него. Однажды после встречи со связным из России Ильич пришел сосредоточенный, хмурый, обнял за плечи:

— Глеб! Твоя матушка умерла. Надо крепиться, крепиться надо...

Как он хотел, как старался помочь в ту горькую пору!

Года два после смерти матери все на свете казалось Глебу опустошенным. До сих пор он не может без тоски смотреть на ее портрет, до сих пор упрекает себя за обиды, что когда-то причинил ей.

В угнетенном, тягостном настроении он лег, укрылся с головой, нарочито сильно зажмурился и старался не думать ни о чем, особенно о сельском хозяйстве.

Но...

Он весь в этих думах. Не случайно они приходят к нему рядом с мыслями о матери и звучат в голове, как исповеди... Посмотрите! Посмотрите только, что за нелепое положение! Парадокс! Трагический парадокс! Еще в восемьсот восемнадцатом году будущими декабристами основано Московское общество сельского хозяйства. Радетели его, бескорыстные подвижники, патриоты, жаждавшие процветания и прогресса любезному отечеству, сто лет назад открыли Земледельческую школу, и первую нашу сельскохозяйственную, потом Петровскую академию, и первое опытно-учебное образцовое хозяйство «Бутырский хутор». Россия на весь мир славится своими биологами, агрономами: Мечников, Тимирязев, Костычев, Докучаев... А практика сельского хозяйства крупнейшей аграрной страны мира...

И ведь давно — и вполне определенно! — известно, что необходимо сделать, чтоб не пребывать в по-

ложении человека, который голодает, сидя на мешке зерна посреди хлебного амбара. В первую очередь надо начать мелиоративные работы государственного характера: осушить миллионы десятин болот и напоить степи. Защитить поля на Севере, вырубая мелколесье, на Юге — поднимая лесные полосы. Распахать целину, «залужить» — закрепить травами овраги.

Надо отобрать и накопить семена лучших сортов, заменить трехполье научно обоснованными севооборотами, восполнить недостаток навоза удобрениями, сделанными на заводах, которых еще нет.

Надо создать крупные советские хозяйства и опытные станции.

Чтобы все это произошло, Комиссия ГОЭЛРО, ее председатель должны решить сотни задач-головоломок, ответить на тысячи вопросов. Прежде всего, на какое хозяйство ориентироваться — мелкое крестьянское или крупное государственное? Какие станции для него строить — сельские или районные? Чем, какими машинами использовать энергию — трактором или электроплугом? Где их взять, если и добывание лопат, вил, топоров сопряжено с невообразимыми трудностями? Как поскорее создать избыток хлеба и льна, чтобы продать его за валюту и обратить на пользу той же электрификации? С чего начать? За что ухватиться?

А ведь все это лишь одно — единственное! — направление вашей деятельности, Глеб Максимилианович! Правда, самое трудное, самое сложное, может быть, даже ведущее и определяющее, но тем не менее только «одно из...».

Глядите в оба. И вообще... Не обернулась бы ваша затея пиром во время чумы. В самом деле, на фоне окружающей действительности и с учетом особенно-

стей момента не смахивают ли вдохновенные радения вашей Комиссии на прожектерство и утопию? Недаром многие — очень многие — честные товарищи смотрят на вас недоверчиво, иронически.

Каждый шаг ваш сопровождается косыми взглядами, вздохами сожаления знатоков и специалистов. Умные — очень умные! — знатоки и специалисты эти скрыто, а то и явно противодействуют вам — где только и как только могут, противодействуют! — смотрят на вас как на балованного сына, вышвыривающего последние материнские гроши на щегольской галстук в то время, когда дома не на что купить кусок хлеба.

Даже сам председатель Высшего совета народного хозяйства, который в силу своего положения, казалось бы, должен поддерживать вас — быть вашим покровителем и помощником, и тот не стыдится признать, что в нынешнюю пору ГОЭЛРО — слишком большая роскошь для республики, поэзия, оторванная от жизни. А с глазу на глаз Рыков прямо объявил Глебу Максимилиановичу:

— Увлекается «Старик», забегает вперед — настолько вперед, что теряет почву под ногами...

Вдруг откуда-то из-за спины Рыкова выглянул, нет, не выглянул — выехал, а может быть выскочил Мартов. Позвольте! На чем это он? На коне?.. Почему это конь такой маленький? Уж не на мешке ли? На том самом — с шишками?..

— Ага! — зашептал Мартов Глебу Максимилиановичу. — Я предупреждал вас, почтеннейший председатель кучки фантазеров! Да и те не сочувствуют вашему строю. Для любого нормального человека, для каждого, кто видит хотя бы одним глазом, Россия — олицетворение всеобщего краха. Прогнившая азиатская монархия, с ее чинами и сословиями, с

финансами и хозяйством, рухнула под тяжестью своих империалистических вожделений — расшиблась вдрызг! Только мужик мародерствует на пепелище — дикий, алчный, безжалостный. «Созидание»!.. Ха-ха-ха-ха-ха! Куриное яйцо стоит триста рублей!

«Позвольте! — опомнившись, запротестовал Глеб Максимилианович. — По какому праву?..» — Но почему-то не услышал своего голоса.

А Мартов наседал:

— О транспорте уже не говорят — говорят об агонии транспорта. Основная электрическая станция то и дело останавливается.

«Но разве не ваши товарищи — вдохновители недавней диверсии на «Электропередаче»? Разве не по их совету был затоплен нижний этаж распределительного устройства — замкнута цепь напряжением в шесть тысяч вольт?» — Он не на шутку сердился, но опять — что за притча? — язык стал тяжелым-тяжелым и не шевелился, ну хоть плачь...

— Что бы вы делали, не будь нас? — Мартов демонически усмехнулся и пришпорил свой мешок. — На кого бы, к примеру, пала вина за бунт элегантных дам в лаптях и бахилах, именуемых в просторечии «торфушками»? Вы, конечно, знаете, что упомянутые дамы отказались добывать топливо за тот скудный рацион, который вы им предоставили. Темпераментные и отнюдь не склонные к сентиментальности дамы без всякой нежности обошлись с машинистом, отважившимся приехать за торфом. Вы не можете не знать, что все последующие рейсы проходили под усиленной охраной. А пылкие дамы встречали поезда градом камней и брикетов, так что были ушибленные и даже раненые. Чтоб не прекратилась подача энергии в Москву, пришлось заделать двери и окна паровозов досками.

«Послушайте! Есть же предел цинизму! Ведь вы не хуже меня знаете, что «торфушек» подбили на забастовку меньшевики».

— Допустим. И что же? Может быть, это доказывает, что одна-единственная районная станция поставлена у вас преотменно и действует бесперебойно, что не пущено в оборот прозвище «Электронеудача»?

«Это доказывает лишь то, что еще со Второго съезда вы не хотели и не хотите понимать простейшие вещи».

— А именно?

«То, например, что поняли рабочие, даже настроенные сочувственно к вам, их жены и дети, когда ночью встали в одну общую цепь и передавали друг другу ведра с водой, затоплявшей полуподвал распределительного устройства. Кстати, и «торфушки» потом во всем разобрались».

— К сожалению, ведрами не вычерпать из подвалов нашего бытия все то, чем вы его затопили под именем российского социализма! — не уступал Мартов, гарцуя по комнате на мешке.

Очки его угрожающе сверкали. Черная борода стала похожей на вороненый булат и готова была вот-вот обрушиться, как нож гильотины. Весь он был взъерошенный, жесткий, колючий, словно шишки, которыми то и дело запускал в собеседника.

«Вот! Опять! Прямо в глаз! — беззвучно негодовал Глеб Максимилианович. — О-ой! — Напрягся, стараясь повернуться, заслониться хотя бы подушкой, но руки не слушались, ноги словно налились свинцом. Он расслабился, изнемогал: — Ох!.. Странно вы, однако, доказываете непричастность вашей партии к саботажу. Совсем, как в том суде, где одна крестьянка требовала у другой возмещения за горшок, взятый у нее и возвращенный разбитым. Обви-

нявмая, если помните, возражала, что, во-первых, никакого горшка и в глаза не видела, во-вторых, она вернула его совершенно целым, а в-третьих, получила уже надтреснутым...»

— Остроумно! — Мартов опять усмехнулся. — Очень остроумно! — Навис, давя взглядом, не пуская подняться.— Люблю весельчаков, особливо ныне, когда турки заняли Карс, Ардаган, Батум! Английский флот обстреливает побережье Черного моря, и лорд Керзон требует прекратить ваше наступление на Врангеля, иначе — война с Британией. А пан Пилсудский не согласен ни на что, кроме границ семьсот семьдесят второго года,— решил оттяпать территорию с населением в тридцать миллионов человек, и войска его уже захватили Коростень, Житомир, Могилев-Подольский...

Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут...—

сам себя перебил Мартов.

Но почему он поет? Почему у него столько голосов? — мужских и женских? Или это уже не он? А кто же?

Черная борода затряслась, завертелась.

Где он? Лопнул? Растаял? Вместо него — крашеная дверь.

Глеб Максимилианович повернулся, протер глаза. Нет, не мерещится — вполне реальные голоса, с улицы, через кабинет, властно зовут:

На бой кровавый,
Святой и правый...

Надо же! Разбудили автора его собственной песней... Поморщился недовольно, надвинул подушку на ухо. Что за галиматья, однако, лезет в голову?

Мартов в облике Соловья-разбойника! Что это: приснилось или привиделось в полусне? Но вообще... Вообще, если б Мартов пришел сюда, разговор их был бы примерно таким же и обязательно о том же.

Опять голова чугунная, снова невыспавшийся, недовольный, разбитый, он умылся холодной водой, позавтракал, не обращая внимания на то, что поданы печеный картофель, яйцо и настоящая ватрушка — все, что он весьма и весьма ценил, несмотря на свою умеренность в еде.

Вышел на улицу в скверном расположении духа.

По Садовникам во всю ширь — колонной, с песнями — шагали москвичи. Но в отличие от прошлогоднего Первомая знамен и плакатов было совсем немного — несли лопаты, кирки, ломы. Даже тачки грохотали, подпрыгивая на ухабах и нарушая строй.

В голове колонны шагали музыканты. Начищенная медь полыхала на солнце, торжественно гремела «Интернационалом» на всю Москву.

Глеб Максимилианович догнал оркестр, приспособил шаг — пошел в ногу рядом с молодцеватым старательным барабанщиком.

Не доходя до моста, колонна свернула влево, к Пятницкой, а Глебу Максимилиановичу надо было в Кремль.

На повороте стоял разукрашенный агиттрамвай. Рыжий Петрушка в настоящей буденовке, высунувшись из окна, лихо выкрикивал:

— Польским белогвардейцам очень нравится наша земля — земля наших братьев украинцев и белорусов. Уважим их? Дадим землицы?

— Дадим! — в один выдох отвечала толпа.

— Сколько?

— Три аршина!

 — Правильно! — И тут же продемонстрировал,

как это будет, проткнув настоящим красноармейским штыком тряпичного пана, из которого в толпу посыпались листовки.

Глеб Максимилианович улыбнулся залихватской наивности, с какой Петрушка одолел Пилсудского: «Если бы так легко и просто! Если бы...» — И зашагал дальше.

Всюду на захламленных, загроможденных дровяной щепой, корой, наносами берегах реки и Обводного канала, в лабиринте замоскворецких переулков, проездов, улиц реяли флаги, трудились тысячи людей. Крушили завалы на месте разобранных зимой домов. Расчищали дворы. Вскапывали землю. Выбирали из мусора кирпичи, кровельное железо, трубы — складывали аккуратными штабелями или грузили на подводы. Засыпали ямы, напоминавшие воронки от снарядов. Заделывали камнем выбоины мостовых. Усевшись в лодки и вооружившись баграми, ловили бревна, черневшие в мутной — еще со льдинками — полой воде. Женщины работали, стараясь опередить мужчин. Мальчишки и девчонки не уступали взрослым.

Навстречу по Москворецкому мосту, гуськом, с одним кучером ехали три подводы, нагруженные молодыми кленами.

Милиционер, шедший впереди Глеба Максимилиановича, вскинул голову:

— Куда?

— На Мытную.— Возница поправил мокрую рогожу, укрывавшую корни.— Шестьсот штук. Школяры сажают, едва успеваем подвозить.— И хлестнул головного битюга.

Общительный милиционер позволил Глебу Максимилиановичу нагнать себя и обернулся, явно рассчитывая на сочувствие:

— Никого в райкоме!
— Да что вы?
— И в Совете ни души. Все на заводе Михельсона.
— Неужели?
— И Калинин там Михал Иваныч. Встал за слесаря. Сам видел!

Словно подкрепляя его слова, доносились обрывки разговоров:
— В ЧК — только дежурный...
— Все на Николаевском вокзале...
— В Краснопресненском районе, слышь, восемьдесят тысяч вышло...

Глеб Максимилианович не воспринимал все это как упрек себе, нет: и он шел работать. Но что-то по-прежнему заботило его, угнетало. Тяжелый сон? Или война? Или то, что не успели подготовить план в два месяца, как хотели?

Да, в этот срок не вышло. Вот что самое неприятное.

Но ведь должны были подготовить общий, а общего, видно, быть не может. Работа показала: нужен только деловой, а значит, конкретный, иначе это не план. Север электрифицируется за счет богатых залежей торфа, Центр — то же самое, Югу дадут энергию вода Днепра и уголь Донбасса, Кавказу — нефть...

Настоящий план требует больше сил, больше времени. Нужны достоверные данные обо всем хозяйстве страны, об отдельных отраслях, экономических районах. А работать Комиссии ГОЭЛРО приходится в таких условиях, когда нет и простейших сведений: сколько, к примеру, воблы может вскормить Каспийское море и сколько гвоздей надо для одной нефтяной вышки в Баку.

До всего приходится самим доходить — «танцевать от печки», начинать па пустом месте, первый раз в истории.

И все же!..

В Кремле народу было полно. И работа шла вовсю. Курсанты в гимнастерках без ремней, служащие Совнаркома и ВЦИК очищали Ивановскую площадь и Драгунский плац, заваленные бревнами, кучами камня, обломками досок, жердей, повозок, остатками проволочных заграждений, памятных по семнадцатому году.

Возле распорядителя с красной повязкой на рукаве остановился Ленин.

Сразу бросалось в глаза, что снарядился он не для разговоров: рабочие ботинки, брюки, заправленные в толстые носки, поношенная, но крепкая куртка из грубого сукна, туго надвинутая фуражка. Он быстро наклонился, присел, ухватил длинную слегу за комлевую часть.

Комиссар кремлевских курсантов, ставший с ним в пару, старался оттеснить его к тонкому концу слеги, но Ильич рассердился:

— Товарищ Борисов! Вам и так приходится больше переносить тяжести, чем мне.

— Мне двадцать восемь, а вам...— комиссар осекся: всякий знает, что Ленину пятьдесят, неделю назад отмечали, зачем лишний раз напоминать?

— Вот вы и не спорьте со мной раз я почти вдвое старше... Взяли! — сноровисто и легко Ильич взвалил слегу на плечо.— Двинулись! В ногу! В ногу!

Работа возбуждала его, нравилась ему. Даже с другой стороны площади было видно, как Борисов вздрагивал, смеясь в ответ на его шутки.

Солнце светило и грело на совесть. Оркестр наддавал и наддавал — то «Эй, ухнем!», то «Из-за острова на стрежень...», а то и «Вихри враждебные».

Когда все устали, курсанты накатили на слеги толстое бревно, повернули сухой стороной кверху:

— Присядьте, Владимир Ильич! — Окружили его, протянули сразу три кисета и кожаный портсигар.

— Спасибо. Не курю.

Первоначальная скованность исчезла, завязался разговор. Тон задавал Ильич — выспрашивал, кто таков, откуда родом, почему решил стать красным командиром, как живется, как харчуется, что пишут из дому, есть ли у отца лошадь, хорошо ли уродила гречиха в прошлом году, какие виды на нынешний, дает ли корова молоко, сколько дает...

— Вы волгарь? — обернулся Ленин к румяному добродушному молодцу, стоявшему у него за спиной, опершись на рукоять лопаты:— Я по говору чувствую. Земляк мой. Откуда именно?

— Самарский.— Обветренное, с выгоревшими бровями лицо молодца расплылось в улыбке.

— Самарский! Да что вы?!

Ленин мечтательно улыбнулся. Может быть, он вспомнил о марксистском кружке, созданном им в Самаре, о том, как под орех разделывал тамошних народников, а может быть, совсем об ином.

— Да, Самара... Какие там чудесные калачи выпекали!

— Само собой,— заокал курсант и посерьезнел,— отличные, горчичные!

— И сейчас, наверное, самарцы едят настоящий хлеб,— искренне позавидовал Ленин,— а нам приходится довольствоваться суррогатом.

После отдыха взялись за дубовые кряжи. Чтобы
 их поднять, пришлось подкладывать деревянные ва-

ги — три штуки поперек, браться за каждую двоим с той и с другой стороны кряжа. Опять Ленин занял место у комля. И опять все кинулись помогать ему: охотников потрудиться с Лениным набежало столько, что один курсант подлез даже под бревно между Лениным и его напарником.

Борисов привел фотографа, чтобы увековечить этот момент, но:

— Я пришел сюда работать, а не фотографироваться, — нахмурился Ленин.— Не на показ все это...

Комиссар согласно закивал, сделал вид, что прогоняет фотографа, но отвел его за ближайшие подводы и там остановил, словно в засаде.

Следующий кряж подвернулся такой тяжелый, что Ленину и пятерым курсантам с вагами пришлось поднатужиться.

— Товарищ Ленин! — просили курсанты.— Не переутомляйте себя. Мы сами все сделаем. У вас есть работа поважнее.

— Нет. Эта сейчас самая важная.— Ленин убежденно отмахнулся и разом, дружно со всеми поднял кряж.

Поднял, пошел, понес, не услышав, как щелкнул фотографический аппарат.

Когда перетаскали все бревна, слеги, кряжи, Ильич взял кирку-мотыгу и принялся раскалывать крупный бутовый камень.

Борисов с маху разваливал глыбу за глыбой.

— Гэк!.. Гэк!.. Гэк!..— лишь покрякивал он, приседая.

А у Ильича дело не шло: долбил, долбил, мотыга срывалась, соскальзывала, только известковая крошка шибала в стороны. Раз он чуть не попал по ноге, оглянулся виновато, попросил:

— Откройте секрет.

Борисов с готовностью посоветовал:

— Поверните кирку. Бейте острием, а не лопаткой. И не куда придется. Камень только с виду крепыш. В душу его, в жилу бейте — сюда или сюда,— в слабину, под дых!

Работа у Ильича наладилась. Он с удовольствием заносил кирку, прицеливался, приседал, сокрушая сыроватый известняк, словно заправский каменотес, и приговаривал:

— Под дых!.. Под дых!..

Да, не покрасоваться вышел он, не поиграть в демократа... Ведь то, что все работают, что «сам» Ленин работает с тобой,— так же, как ты,— волновало каждого, превращало самый «черный», самый тяжкий труд в радость, в праздник.

Овеянный свежестью весеннего утра, вкусивший усталость от нужной работы, Владимир Ильич тоже был взволнован, неукротим.

В два часа, едва успев переодеться и не успев отдохнуть, он уже на Театральной площади — говорит тысячам собравшихся о Карле Марксе, о великой чести, выпавшей на долю России: впереди всех пойти к социализму. Под звуки «Интернационала» он кладет кирпичи, а на них устанавливают первый камень будущего памятника.

По пути к машине Ленин задерживается возле детишек, разбивающих клумбы для роз,— поздравляет с праздником, хвалит и — дальше, по набережной Москвы-реки, к площадке у храма Христа-Спасителя.

— На этом месте прежде стоял памятник царю,— обращается Ленин к товарищам-москвичам, жадно слушающим его,— а теперь мы совершаем здесь закладку памятника освобожденному труду... Мы знаем, что нелегко как следует организовать свободный труд и работать в условиях переживаемого тя-

желого времени. Сегодняшний субботник является первым шагом на этом пути, но, так идя далее, мы создадим действительно свободный труд.

Сразу после этого Ленин отправляется на Волхонку, в Музей изящных искусств,— осматривает выставку эскизов заложенного памятника, говорит с Луначарским о болезнях роста нашего искусства и с Конёнковым — о его «мнимореальной» доске, установленной недавно на Кремлевской стене. Претенциозные, модные — «как в Париже» — проекты не нравятся ему:

— Извините меня. Анатолий Васильевич... Я, конечно, не знаток... Но, видимо, вы, наш советский Аполлон, покровитель искусств, считаете меня варваром... Почему, по-че-му человека освобожденного труда должны олицетворять эти призмы, кубы, треугольники вместо носа, мешки вместо туловища, вилки вместо рук?

— И меня это отнюдь не радует, Владимир Ильич.

— Вот как?! Почему нам отказываться от истинно прекрасного искусства? Только потому, что оно старое? Почему нам нужно преклоняться перед безобразным? Только потому, что оно новое?! Все эти экспрессионизмы, футуризмы, кубизмы и прочие «измы»!.. Не нужны пролетариату. Искусство принадлежит народу и должно уходить в него глубочайшими корнями...

Потом Ильич выступает в Благуше-Лефортовском районе на открытии Рабочего дворца имени Загорского. Вновь пересекает Москву в автомобиле — от окраины до окраины — и встречается с Глебом Максимилиановичем на Красной Пресне.

Когда Ленин приехал сюда, рабочие Прохоровской мануфактуры возвращались после субботника.

Партийный секретарь Василий Горшков от волнения покраснел, засуетился, тут же остановил молодую ткачиху, велел:

— Слетай по казармам, кликни всех на митинг!

— Погодите, не беспокойтесь.— Ленин сбросил пальто, присел на бревно возле ворот.— Пусть пообедают, отдохнут.

Но вокруг уже начали собираться рабочие, больше ткачихи.

Усталые, у кого-то даже изможденные лица, но все одинаково ясные, озаренные тем возбуждением, какое знакомо людям, только что исполнившим долг, закончившим важную работу.

Нелегкая, трудная пора... Фабрика бездействует уже второй год. Больше половины рабочих ушли на фронт или разъехались в поисках пропитания по родным деревням. Но три тысячи оставшихся приводили в порядок цех за цехом, очищали станки от ржавчины, убирали территорию, строили подъездные пути к фабрике от Александровской железной дороги.

Теперь прохоровцы тут же, наперебой спешили выложить Ленину:

— Мы белье для красных армейцев шили!

— А мы нынче за Москвой старались, в хорошевском Серебряном бору!

— Это верст за восемь отсюда? — Ленин насторожился, вопросительно глянул на Горшкова: — Туда и обратно на своих на двоих?

— На чем же еще, Владимир Ильич?

— Мало вас ругают. Да, да, ма-ло. Ведь, наверное, и женщины ходили — семейные работницы?

— Как же без них? На них, почитай, вся Россия держится,— подмигнул Горшков.

 — И все-таки! — не принимая шутку, Ленин

жестко надвинул на крутой лоб вздутую вешним ветром кепку.— Дети целый день без присмотра. И вообще... Если взялись руководить людьми, постарайтесь разумно распорядиться их силами.

— Ништо-о,— вступилась за партийного секретаря пышная ткачиха, с характерными темными пятнами на широком, радушно обращенном к людям лице.— Пресня и не то видела.

Она сидела рядом, положив правую руку на тяжелый живот, а левой придерживала мальчика лет четырех, уставившего острые голубые глазенки на «дяденьку Ленина».

— Неужто и вы ходили? — удивился Владимир Ильич.

— А чего же? Как все...

— Вас хотя бы накормили там?

— Грех обижаться. Ему вон еще принесла,— она кивнула на сынишку.

Как бы приглашая взглянуть на них, Ильич обратился ко всем обступившим его прохоровцам:

— Вот. Мать маленького ребенка. Другого ждет. А пошла помогать государству за восемь верст... Нет! С нею вместе нас не одолеть. Никому. И все же, товарищи организаторы!..

Василий Антонович Горшков стал оправдываться:

— Несдержимый подъем. Отбою от них нету. Один — рвусь на части. Беда...

Но его перебил пожилой хмурый рабочий в очках на самом кончике носа:

— Правильно товарищ Владимир Ильич говорит. Больше таскались туда-сюда, чем работали. И харчи, опять же, кому выпали, а кому — нет.

— Вот видите! — подхватил Ленин.— Это уже вовсе не дело. А ведь было специально приготовлено

продовольствие для всех, кто собирался участвовать в субботнике.

— Да видите, товарищ Ленин, участников-то оказалось куда больше, чем предполагали...

Почему-то именно сейчас Глеб Максимилианович задумался о том, что, может быть, досужему уму покажется все это мелочью, пустяком: ведь в представлении многих «быть вождем — значит уметь считать на миллионы». Ленин умеет считать и на миллионы и на единицы. Как всегда, он обращает особое внимание на проверку действенности начатого им. Годами упорной работы выковал он свою невероятную волю и вправе больше, чем кто-либо, приказывать, требовать, потому что наиболее требовательно, беспощадно относится к самому себе.

Между тем из фабричной столовой прибежал посыльный:

— Все уже пообедали и собрались.

Окруженный живым кольцом, Ленин двинулся на митинг.

На «большую кухню», ту самую, где в пятом году был штаб революционных боевых дружин, сошлись и прохоровские и не прохоровские — со всей Красной Пресни. Мужья привели жен, жены — мужей. Сидели целыми семьями — с детишками что горох и с теми, что уже сами с усами. Мужчины в аккуратно залатанных пальто, в когда-то праздничных, выходных пиджаках. Женщины — в платочках поновее.

Душновато. Мерно гудят за перегородкой кухонные котлы. Их горячее дыхание перекрывается взрывом:

— Да здравствует товарищ Ленин, вождь мирового пролетариата! Ур-ра-а!

Поднявшись на помост, Ленин ждет, нетерпе-
 ливо вздыхает, достает часы, демонстративно пока-



зывает их собравшимся: стоит ли терять время на пустяки?

Но собравшиеся не унимаются — хлопают в ладоши так, что оконные стекла вздрагивают и позвякивают.

— Ровно поезд с хлебом пришел! — улыбнулся Глебу Максимилиановичу старый гравер.

Да, хлеб теперь самое главное. И когда наконец овация стихла, Ленин прежде всего заговорил о хлебе. Объяснил, почему не хватило продуктов для участников субботника. Поручился за то, что каждый из них непременно получит свой паек в ближайшее время. Сказал, что хорошо бы и самим рабочим подумать о заготовке продовольствия — отремонтировать, например, вагоны, поехать за хлебом в провинцию. И только после этого перешел к международному положению.

Перед ним в сыроватом, надышанном сумраке под сводами старого кирпичного сарая сидели люди, которые до могилы не забудут прохоровский распорядок дня:

«Начало работ в 5 часов утра. Окончание работ в 8 часов вечера...»

Это они обогатили целые династии хозяев, тративших на содержание школы тысячу рублей в год, а на молебны и подношения духовным лицам — почти две. На сдвинутых к стене столах, на поставленных рядами тесовых скамьях перед Лениным, затихнув, слушая его, сидели те, кто рожали и родились прямо в цехе — на полу, у станка, женились под забором на пустыре, знали развлечения: летом — балаган и водка, зимой — «сшибка» стенки со стенкой на Москве-реке.

Всю жизнь самой большой роскошью для них была белая булка. И теперь они жили несладко.

Но он не утешал их, не сулил скорый и легкий выход из адски трудного положения. Он говорил о том, что необходимо как можно скорее и во что бы то ни стало взяться за восстановление разрушенного хозяйства республики. Но как? Представьте себе, что у вас есть вагон угля. Что вы с ним сделаете? Как распорядитесь?..

— Растащим по домам горстями! — выкрикнул конторщик с галстуком «бабочкой», усевшийся в дальнем углу на столе.— И никто не погреется, обратно всем холодно!

— Да ты что, Митя?! — зашикали со всех сторон.— Поскромнее бы тебе...

— Нет, нет,— Ленин поддержал его.— Он правильно говорит. А что, если сжечь весь уголь в одном месте, в одной топке?.. Не по старинке действовать надо, не латать Тришкин кафтан, а ударить по разрухе во всю силу новейших завоеваний техники и науки. Покрыть страну сетью электрических станций, сжигать топливо там, где его добывают, а тепло, свет, силу слать по проводам во все промышленные центры, в любое захолустье.

— Вот то да,— завздыхали пресненцы.— Незряшняя затея!

Одобрительно закивала та самая ткачиха, что ходила на субботник в Серебряный бор. Она сидела в первом ряду и, придерживая голубоглазого сына, сочувственно ловила каждое слово.

— Дело непростое,— продолжал Владимир Ильич.— Нелегкое. Камень и тот нужно колоть умеючи.— Он едва заметно улыбнулся самому себе.— Вы, конечно, видели, как дробят камень. Неопытный каменотес вертит его и так и сяк, бьет как попало. А настоящий мастер сразу нацеливается в нужную

 точку, под дых,— раскалывает с первого удара. Вот

так и мы хотим выходить из разрухи. Уже действует специальная комиссия — лучшие головы России хлопочут о ее возрождении. Инженеры и ученые работают раз в день — целый день. И все же не поспевают. Надо им помочь.

— Со всей радостью,— опять закивала женщина в первом ряду,— да не шибко ученые мы, крестиком подписуемся.

— Да, это плохо. Очень плохо...— Ленин сжался, как от удара, но тут же к делу: — И все же... От каждого из вас сегодня, сейчас, уже зависит успех. Ведь каждый аршин ситца, каждый паровоз, переставший быть «больным»,— это шаг вперед, шаг по пути электрификации, а значит, к победе социализма.

Те, к кому он теперь обращался, даже в прошлом олицетворяли не только крайнюю степень забитости. Сто двадцать лет назад смекалистый купец Василий Прохоров и красковар Федор Резанов поставили на берегу Москвы свою мастерскую. Через тридцать лет ситцы «Трехгорной мануфактуры» уже были представлены на Лейпцигской ярмарке. А вскоре умение русских набойщиков, резчиков, рисовальщиков, красильщиков, ткачей удостоено золотой медали на Всероссийской выставке. Их миткали и холстину, кашемир и коленкор, атлас и полубархат, платки и шали покупают в Сибири и Туркестане, в Китае и Европе. «Мануфактуре» дозволено ставить на этикетках государственный герб. Искусство и радение ее мастеров опять отмечено золотой медалью — на Международной выставке в Чикаго...

Это они, прохоровцы, впереди всех дрались на баррикадах первой русской революции, не страшась карателей, шли за правое дело под расстрел, дали Пресне прозвание «Красная».

Сейчас Ленин обращается к ним, хорошо зная их

прошлое. Вот он призывает полуголодных измученных шестью годами войны людей к подвигу труда. Он имеет на это право, как первый труженик страны, работающий вместе с ними — так же, как они.

Они слушают его с доверием, с готовностью на жертвы — как та беременная ткачиха, отшагавшая нынче со всеми шестнадцать верст, поработавшая так же, как все. Не очень образованные, не слишком воспитанные, они с полным пониманием и сочувствием относятся к сложнейшим проблемам строительства новой России. Не то что Рыков, требующий керосиновую синицу в руки вместо электрического журавля в небе, или просвещенный социалист Мартов. Красная Пресня берет у Ильича надежду, уверенность, силу. Но и сама она дает ему, быть может, еще больше, чем он ей: способность увидеть и показать другим будущее, жить в нем уже сегодня, сейчас, сию минуту.

С митинга на «Трехгорке» Глеб Максимилианович спешит в мастерские Александровской дороги, а Ленину предстоят еще два собрания.

С утра он на ногах, с десяти часов — переносил тяжести и работал киркой, плюс шесть выступлений.

Шесть выступлений в один день! И каждому — все силы, все нервы, все мысли. Кто-кто, а Глеб Максимилианович давно знал: ничто так не волнует Ильича, как выступление перед рабочими. К каждому он готовится, каждое продумывает — переживает снова и снова и еще раз. Да и как же иначе? Слово его для людей событие, повод к размышлениям, обсуждениям, оправданная надежда — только оправданная. Неоправданной надеждой слово Ленина быть не может, не имеет права быть. На всех у Ленина должно хватить заряда энергии, на миллионы людей.

Титанический труд! Труд — пример, обещание, пророчество. Именно пророчество. Потому что, верится, он породит в нашей жизни счастливую традицию праздников труда. От него войдут в обычаи подвиги труда, честь и славу станут воздавать героям труда и писать слово «Труд» с большой буквы.

«Под дых его! Под дых!» — звучали в ушах Глеба Максимилиановича слова Ленина, представлялся он сам, раскалывавший каменные глыбы, и словно такт шагам отбивал: работать, работать, работать!

Конечно, «умники» и сегодня не упустили случай — разве могут они упустить? Вон на углу, неподалеку от Пресни, около бездействующей пивной вполне активные «бывшие» — в бархатных жилетах и хромовых сапогах, лабазники, может быть, или содержатели извозных заведений, или перекупщики с Тишинского рынка, с лопатами, метлами, граблями, мобилизованные домовым комитетом. Демонстративно не работают, глумятся над интеллигентным молодым человеком, нагружающим в тачку их же мусор. Больше всех усердствует подгулявший сытый дворник, желающий, как видно, угодить своим недавним господам и благодетелям:

— Как же так, товарищ красный педагог?! За что кусок отбивать изволите? Все работаете, работаете — когда же думать будете?

Учитель молчит, непривычно поднимает тачку, двигает ее — на месте груды мусора чисто.

Дворник не унимается.

— «Всей России баню зададим! Изо всех щелей паразитов выгоним!» — выкрикивает он, пародируя чьи-то призывы.

Глеб Максимилианович не выдерживает, решительно подходит к нему:

— А вы, почтеннейший, из какой щели?..

— Я-а?! — Дворник оторопело смотрит на Кржижановского, на его красный бант, скребет затылок: — Чаво изволите-с?

Кржижановский идет своей дорогой.

«Черт с тобой! Смейся, умнейший обыватель всея Руси — от пьяного дворника до Мартова. Красная Пресня — это не ты, не с тобой она... Никогда еще мы так не работали, никогда не успевали так много.

Вот так же сейчас в Мосальске и Саратове, в Омске и Ростове-на-Дону, в Казани и Тамбове — везде вышли на улицы люди, чтобы чистить Россию, чтобы стереть с лица земли понятия «голод», «нищета», «разруха». Так же вышли в Шатуре, в Кашире, на Волховстройке. Так же двинем — не можем не двинуть — и план и всю электрификацию, что бы вы там ни говорили, как бы ни смеялись!»

Дойдя до мастерских, Глеб Максимилианович задержался у ворот, обдумывая предстоявшее выступление.

Вдруг земля радостно, предвещающе вздрогнула: навстречу из депо выкатил, попыхивая дорогим сердцу, так хорошо памятным — угольным, а не дровяным! — дымком, только что отремонтированный паровоз. Сиял надраенной медью и свежей краской, дышал-отдувался во весь дух, орал во всю глотку:

— Вот он я! Жив! Живу-у-у!..

Горячую грудь его обтягивал кумач, и по нему неумелой, но твердой рукой:

«Не сдадимся, выдержим, победим».

Рабочая Пресня била под дых...

...Когда поздно вечером изнемогший Глеб Максимилианович вернулся домой и улегся в постель, он заснул тотчас же, словно в прорубь ухнул. Ничто не потревожило его сон — никто не приснился. Никогда еще он не спал так крепко.

Чем старше становишься, тем, кажется, короче дни, тем быстрее они мелькают. В них непримиримо сталкиваются, переплетаются дела войны и труда.

Четвертого мая на Черноморском побережье сдались остатки армии Деникина и Кубанской рады.

Шестого мая войска Пилсудского захватили Киев.

Восьмого — по заданию Кржижановского инженер Август Адамович Вельнер подготовил для ГОЭЛРО доклад о водных силах Ангары и возможностях их использования:

— Участок реки выше села Братского имеет все данные для развития. С одной стороны — Байкал, связанный с Восточной Сибирью, а на Западе — Енисей. Оба эти водные пути пересекает железная дорога...

— Долина Ангары и прилегающие области богаты железом, золотом, каменным углем...

— Гидроэлектрические установки, которые предполагается соорудить, настолько мощны, что не приходится говорить, хватит или не хватит энергии...

Глеб Максимилианович по обыкновению представил все это для себя и уяснил из цифр:

«Полная стоимость работ — около трехсот пятидесяти миллионов рублей. Потребно бетона — пятьсот четыре тысячи кубических сажен или цемента — пять миллионов четыреста семьдесят тысяч бочек, железа — миллион семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят пудов...»

По пустынно-белой карте, приложенной к докладу, от одиннадцати гидростанций расходились черные, голубые, красные волны, охватывая миллионы верст, с илимскими острогами, Красноярсками, Вер-

холенсками и другими каторжными норами, где во глубине сибирских руд надрывались Радищевы, декабристы, народовольцы.

Так же как во время доклада Александрова, Глеб Максимилианович смотрел на Вельнера и думал:

«Экой ты какой! Молодчина. Вырос там в Эстонии, где тихие ручьи да форелевые речушки, а замах — как у эпических героев «Калевипоэга». Должно быть, нелегко тебе приходится? Мещане из «вумников» и «вумники» из мещан, которым для удобства и спокойствия жизни обязательно надо все высокое низводить до собственного уровня, поди, посмеиваются над тобой, объявляют выстраданное, выношенное тобою прожектерством, мечтанием...

Крепись. Все они на один лад, все подобны слепням, которые мешают лошади пахать землю. Это они считали изобретателя паровоза сумасшедшим, вальсы Штрауса отлучали от искусства, Чехову предрекали смерть в нищете и безвестности, а «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина называли вздором...

Погоди, Август Адамович! Дай срок, и Ангару, и Братское, и Шу-шу поставим в порядок дня — не для ссылки, не для каторги, а как празднества Труда, как символы решающих его побед...»

Девятого мая на артиллерийских складах в Москве возник пожар.

Одиннадцатого в центральных и северных губерниях страны введено военное положение.

Пятнадцатого Глеб Максимилианович представил коллегам австрийского профессора Эрнста, приехавшего из Сибири. Эрнст уже говорил с Лениным, предлагал знакомить зарубежные фирмы с работой ГОЭЛРО, а ГОЭЛРО — с техническими достижениями Запада.

«Черт возьми! — мелькает в голове у Кржижановского.— Что, если?.. Грешно упустить такую возможность. Непростительно! А что, если?..»

— Как вы думаете, товарищи?..

Решили командировать профессора в Европу, оказать ему помощь «для безболезненного переезда границы».

Представитель питерской группы ГОЭЛРО пожаловался на то, что комиссар продовольствия Бадаев не дает сотрудникам обещанные пайки:

— А ведь речь идет о Петрограде, побившем все рекорды голода и дороговизны. У Гостиного двора, который давно заколочен, коробок спичек продают из-под полы за сто рублей. Свеча стоит пятьсот! Фунт муки — тысячу! Я уж не говорю о карандашах, линейках, готовальнях. Их не купишь ни за какие деньги.

— Безобразие! — негодует Глеб Максимилианович, срываясь с места.— Этого я так не оставлю...

Вечером, как обычно, он звонит Владимиру Ильичу, рассказывает, что сделано за день, вспоминает — «кстати!» — о злосчастных пайках.

Назавтра, шестнадцатого мая, летит письмо — товарищу Бадаеву или его заместителю:

«Прошу предоставить петроградской группе Государственной комиссии по электрификации... *50* тыловых красноармейских пайков и *9* семейных пайков довольствия...

Прошу известить меня телефонограммой, когда именно и сколько дано.

Ленин».

Двадцать второго мая Советское правительство обратилось к странам Антанты с протестом против поддержки польского наступления.

В тот же день Глеб Максимилианович просил коллег хорошенько продумать:

— Строительство гидроустановок на Туломе, Коле, Ниве, Ковде, Суне, Волхове, Свири и сооружение Онежско-Беломорского, то есть Беломорско-Балтийского, водного пути...

— Превращение Мурманска в центр кораблестроения и морского промысла, способного удовлетворить рыбой не только Россию, но и Западную Европу...

— Перспективы производства и применения минеральных удобрений, развернутые членом-корреспондентом Российской академии наук Дмитрием Николаевичем Прянишниковым.

Седьмого июня войска Врангеля начали наступление на север.

Восьмого конница Буденного прорвала польский фронт на Украине.

Двенадцатого красные войска освободили Киев. Отступая, польская артиллерия подвергла город разрушительной бомбардировке.

Девятнадцатого Графтио беспокоился об электрификации Кавказа:

— Царское правительство не давало развиваться здесь промышленности. Между тем народы, населяющие этот сказочно богатый край, талантливы, трудолюбивы и способны перейти к современной культуре.

Глеб Максимилианович вскочил, забегал по комнате:

— Да вы понимаете, дорогие друзья, что это такое? Что значит наша работа в политическом отношении? Надо составить план в таком духе, чтобы для всего населения Кавказа было ясно стремление Советской России к его процветанию... Первый раз, так

сказать, в фундамент многонациональной страны закладывается не разъединение, а содружество. Прошу иметь в виду, как определяющий принцип: мы должны предусмотреть экономическое единство, гармоническое развитие всех народов и народностей...

Потом, торопясь в Совнарком с отчетным докладом ГОЭЛРО, он встретил Ленгника.

— Салют, Глеб!

— О! Фридрих! Что же ты не заходишь?

— Все дела, дела... А у тебя как?

— Да тоже: ни дня, ни ночи не вижу.— Глеб Максимилианович рассказал о замыслах и первых наметках плана, о предложении Близняка соединить Черное море с Каспийским через Маныч и Терек, о проекте Александрова.— Но, понимаешь, Фридрих, туго дело подвигается. Даже у вас, в ВСНХ, многовато моих «заклятых друзей». А меньшевики — так те просто осатанели. Доходят до личных выпадов, оскорбляют. Знаешь, есть такой анекдот: человек в зоопарке увидел верблюда — «Боже мой! Что большевики сделали с лошадью!» Так и про меня: «Вот что большевики сделали из талантливого инженера — барона Мюнхаузена!»

— Не горюй. Все это просто объяснить. Друзья одобряют твою работу, считают ее благом, которое само собой разумеется. А враги, как всегда, воют, лают на ветер.

— Понимаю, но иногда так мерзко на душе... Слушай, Фридрих, мне пора. Приходи, а?!.

На следующий день Глеб Максимилианович получил такое послание:

«Глебася, черт этакий! Я всю ночь... не мог спать из-за твоих фантазий... Приду к тебе сегодня ночевать...

Я во что бы то ни стало должен прочесть твой доклад, так как все равно ни о чем, как о ваших фантазиях, думать не смогу.

Я чувствую, что всем нам, всей России, надо будет в течение ближайших десятилетий плясать под вашу дудку и потому хочу заблаговременно подготовиться к этой пляске под музыку волн российских источников тепла, света и жизни.

...Какой гений придумал плотину у Александровска — ведь это что-то небывалое по своей простоте и действенности.

Твой Ф. Ленгник».

И вот они сидят далеко за полночь в кабинете Глеба Максимилиановича: хозяин — на подоконнике, гость — в кресле за столом.

Чай давно допит и угощение — ржаные, круто посоленные сухарики — доедено. Ленгник прочитал доклад ГОЭЛРО, и речь заходит о будущем сельского хозяйства.

Издавна считается, что крестьяне олицетворяют практический разум. К ним не подступишься с одной словесностью. Недаром Ленин предупреждает, что самая большая опасность для плана электрификации — это если крестьянство скажет: «Мы видим, что вы ребята хорошие, желаете хорошего, но хозяева вы никудышные». Отсюда — особая забота ГОЭЛРО об осушении болот, об орошении засушливых степей и пустынь, о подъеме нечерноземной России, о химических удобрениях, тракторах и так далее и так далее...

Ленгник считал все это бесспорным, но раздумывал сейчас о другом. Вот Глеб жалуется, что сегодня один очень почтенный товарищ сказал ему: план электрификации будет выполнен через... триста лет. Конечно, все это не поднимает настроение. Но и сам он, Глеб, где-то виноват во всем этом. Побойчее надо

быть, позадиристее. Да, да. Мало пропагандирует ленинский «загад», свою работу, свои замыслы. О них надо кричать на весь мир. Бить в колокола! Как раз этим-то и можно завоевать российскую интеллигенцию.

За окнами широко, раздольно дышит беззвездное небо. Послезавтра, вернее, уже завтра — самый длинный день. Есть в этом что-то навевающее грусть, жалость к убегающему времени, к уходящей жизни. Был самый длинный — и уже не будет его целый год. Промелькнет, а ты так и не отметишь его чем-то необычным, по-особому, не воспользуешься им. Поди ухватись за него — останови мгновенье.

Нет, не остановишь...

Как раз в тон, в лад, под настроение тихая мелодия «Фауста» плывет из трубы граммофона, заткнутой подушкой с дивана.

Поет Маргарита — голос Неждановой, записанный на пластинку.

Торжественно, приосанившись, слушает Ленгник, с явным удовольствием, мечтательно улыбаясь,— Глеб Максимилианович.

Ни стука, ни шороха во всем доме. В распахнутое окно слышно, как далеко на Москве-реке поскрипывают уключины. Лодок там, как обычно, немало, и каждый рыболов спешит занять облюбованное заранее «клевное» место: ужение нынче не забава — оно помогает кормить семью...

Свободно вливается рождающая что-то высокое, теплое мелодия в тишину комнаты — в душу. Вдруг открывает в окружающем мире или в тебе самом то, о чем и не подозревал до сих пор.

Экая силища! Экая красота!

Пусть ниспровергают ее новомодные мнимореволюционеры от искусства, пусть кричат о том, что

устарели Гуно, Пушкин, Толстой, объявляют их скучными и не созвучными... Красота живет, здравствует.

— Вот так и ваш «загад»,— Ленгник словно подслушал мысли Глеба Максимилиановича.— Мы уйдем, забудут нас, а «загад» останется...

Какая это сила — музыка и Фауст в одном заряде!.. Эпопея исканий, надежд и любви. Поколения людей сгинули, пришли в упадок целые народы, разрушились государства и цивилизации, а она... еще ближе, еще нужнее людям.

Ленгник опять нарушил молчание:

— Недаром даже «сам» Маркс к числу своих любимейших женских типов отнес Маргариту.

А Маргарита — Нежданова тем временем пела о короле, что до самой смерти верен был...

Глеб Максимилианович прикинул: ведь скоро, гораздо скорее, чем хотелось бы, он станет — без грима! — похожим на того старенького короля. Расчувствовался. Думал о Зине.

«Если мне доведется умереть после тебя, я просил бы лишь об одном: чтобы последние минуты передо мной держали твой портрет... Ну и ну! Неужто я это подумал? Не ожидал! Что за сентиментальщина?! Хорошо, что никто не слышит и не услышит никогда. Фу!.. И все-таки это есть во мне, это верно, как верно и то, что не стоит жить без великих чувств».

— Ну-с, хорошо...— произнес Глеб Максимилианович, вставая с подоконника.— «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Счастлив тот, кто со свежими силами строит новую жизнь».

— И опять и в этом тысячу раз прав Маркс! — Ленгник тоже поднялся.— А на мещан наплюй. Если б жизнь текла по их «загадам», люди до сих пор ходили бы на четвереньках. Слушай, Глеб, я соберу ста-

риков — мы ведь теперь уже старые большевики,— создадим что-нибудь вроде комитета содействия ГОЭЛРО.

— Официально?

— Зачем? От души...

Двадцать первого июня наши войска отняли у белополяков Коростень и Овруч.

Двадцать пятого — Врангель отнял у нас Бердянск.

Двадцать шестого, закрывая очередное заседание Комиссии, Кржижановский предложил перебраться на «Электропередачу», где в нынешнюю жаркую и бесхлебную пору будет лучше работать. Предложение было тут же одобрено:

— Дело! Даешь пленер!

— Свежий воздух, парное молоко!

— Отменно!

Автомобиль свернул с печально прославленной Владимирки на шоссе. Да, шоссе хорошее, ровное, с прочным покрытием. А восемь лет назад, в первый год строительства электрической станции, там, где она теперь стоит, паслись лоси... На месте шоссе, по которому свободно катит «храпучая раздряга», теснились березы да елки. Их валили прямо в топь, укладывали на них рельсы, крепили земляной насыпью — и лошадь тащила вагонетку с пожитками пионеров «Электропередачи» за четыре версты целый час.

Таково начало всех цивилизаций, в том числе и этой. Немало потрудились для нее и Радченко, и Винтер, и сам он, Кржижановский, но основатель первой нашей районной электростанции, бесспорно, Роберт Эдуардович Классон.

Этот неистовый потомок варягов, сын обрусевшего шведа хорошо запомнился Глебу Максимилиановичу еще по Технологическому институту. Вот он шагает по длинному коридору... Стройный, с горделиво поднятой головой. Смелый взгляд выдает недюжинный запас сил и веселое устремление вперед, ввысь.

Должно быть, с детства так и осталось ему неведомо состояние равновесия, и каждый шаг, каждый порыв его казались разрядами особой зажигательной энергии.

Один из первых марксистов России, он руководил кружком, в который вместе с другими входила и Надежда Константиновна Крупская. Знал не понаслышке, что такое арест и надзор полиции. А с девяносто четвертого года в квартире начальника мастерской Охтинского порохового завода инженера Классона образовалось нечто похожее на политический салон, где бывал Владимир Ульянов. Участники кружка много, а иногда жестоко спорили между собой. «Салон» просуществовал около года и заглох после ареста основателей «Союза борьбы».

С той поры пути разошлись: Глеб со «Стариком» угодили в ссылку, а Классон порвал все политические связи, ни к какой партии не примкнул, целиком отдался технике. Строил первую в России передачу высокого напряжения на Охтинских пороховых заводах, первую городскую электрическую станцию в Москве, мощнейшие для начала века станции на Бакинских нефтяных промыслах.

Одиннадцать лет назад, когда Глеб Максимилианович работал в Питере, московский директор «Общества электрического освещения...» Классон искал кабельного инженера. Красин рекомендовал ему Кржижановского. Роберт Эдуардович приехал специально для переговоров и заставил Глеба Максимилианови-

ча, успешно продвигавшегося по службе, выбирать: либо остаться в северной столице на еще более заманчивых условиях, либо предпочесть Москву, где пока неизвестно, как и что будет, но, наверно, будет увлекательно и интересно.

Роберт Эдуардович всегда отличался неуступчивостью, гранитным упорством, умением во что бы то ни стало утвердить выношенное, до конца продуманное. С каким убеждением, с каким азартом он принялся рассказывать о размахе работ, предстоявших для освещения белокаменной!

Как-то забывалось, что перед тобой директор могущественного акционерного общества, получавший десять тысяч золотых в год, не считая премии за усердие и успешную коммерцию. Перед тобой был юноша из Киева, который самозабвенно играл в мяч, охотился на уток, любил греблю, фигурное катание и учился до седьмого класса, говорят, кое-как, сидел по два года во втором и пятом классах, но однажды взялся за ум — окончил гимназию с серебряной медалью, выдержал конкурсные экзамены в институт, лучше всех учился на механическом отделении, влюбился в технику. И она ответила взаимностью: еще в молодые годы открыла ему и позволила то, чем иные не удостаиваются за всю жизнь.

Он стал ее избранником, фаворитом, преданным ей романтиком — подлинным рыцарем техники. Словом, Классон увлек Глеба Максимилиановича. Глеб Максимилианович сдался — переехал в Москву и не пожалел об этом...

Между тем лес по сторонам дороги сменился пустошью. Лишь кое-где из земли торчали корявые чахлые березки да виднелись обугленные пни. Летом девятьсот двенадцатого здесь полыхнуло пламя — пожар длился восемь суток. Строительство

станции почти не пострадало, и сама торфяная залежь, слава богу, уцелела: болото было сырое — сгорели только моховой покров да деревья. Так что теперь на месте памятной непролазной чащобы простиралась гаревая пустыня, за которой уже возвышался бастион «Электропередачи» с черными жерлами труб, закоптивших полнеба.

«Что это так сердце стучит? Нет, не каждый — не каждый! — может сказать, что построил электрическую станцию. А я могу. Впрочем, стоит ли хвастать? Но... Как же не хвастать? Врангель прет. Паны не уступают. Воробьи вьют гнезда в заводских трубах. А эта... Дыми, милая! Дыми во всю ивановскую! Наперекор, назло всем панам и врангелям! На страх и на радость!.. Привыкли дивиться афродитам, врубелевским демонам, тициановым мадоннам, а ты?.. Если бы люди смогли ощутить, сколько изящества и грации в каждом изгибе тавровой балки, сколько разумной гармонии в твоих кирпичах, в бессмертном монолите бетонных блоков, неизвестно тогда, что бы им показалось красивее... Да-а... Разве только пожары пришлось одолеть, чтобы ты задымила?»

...Московская электрическая станция работала на нефти, и, когда Классон узнал, что неподалеку продается богатое торфяное болото, он решил строить там районную станцию, постарался привлечь иностранные капиталы: свои, отечественные, «хозяева» и слушать не хотели о каких-то электрических предприятиях, суливших в лучшем случае восемь процентов годовых.

Ясно, как вчерашний день, помнится Глебу Максимилиановичу ноябрь одиннадцатого года — первый приезд сюда, осмотр, обмер, исследование торфяника.

Вскоре Классон отправился в Берлин. Энциклопедически образованный, знающий основные европей-

ские языки, он за два дня уговорил немецких и швейцарских банкиров — нужные кредиты были получены.

Сколько раз ногами Классона и твоими ногами, Глеб Кржижановский, измерены вдоль и поперек эти просторы!..

Работали до упаду в буквальном смысле слова — пока не валились с ног. И все равно не избежали ошибок, упущений, ненужных затрат энергии. Да и не мудрено: ни Классон, ни ты не сталкивались прежде с торфом. Особенно ощутимым оказался просчет в смете: ведь в таких заброшенных местах нужно строить не только жилые дома, но и школы, больницы, склады, бани — в общем, целые города...

Все это, весь этот опыт весьма и весьма пригодится Государственной комиссии по электрификации России!

Классон тогда не опустил руки: снова кинулся в кабинеты берлинских воротил, которые прозвали его «пожирателем миллионов», но рискнули новыми миллионами.

Через одиннадцать месяцев после закладки были пущены первый котел и первая турбина. «Электропередача» дала энергию собственным торфяным промыслам — новым элеваторным машинам. Немецкие мастера приезжали только монтировать турбины, все остальное сделали русские рабочие, подготовленные на Московской станции.

Поднять современную электроцентраль было еще не самым трудным. Самое трудное ожидало впереди — прокладка линии к Москве. Естественной казалась трасса вдоль Владимирки: кратчайшая и удобная. Однако за право прохода воздушной линии над обочиной шоссе земство захотело получить в будущем всю электрическую станцию. То же самое потре-

бовали городская управа — за ввод энергии в Москву да еще Богородск — за пропуск подвесных кабелей над его территорией.

Нет, это не глупый сон, не дурной анекдот. Это будни дореволюционного электрификатора: за линию от станции к потребителю отдай три станции!

Одновременно началась травля общества «Электропередача» в газетах и журналах. Не проходило дня, чтобы «беспартийное» «Русское слово», ревностно пекшееся об интересах отечественных хозяев, не ошарашивало читателей какой-нибудь сенсацией, вроде той, что электросиндикат скупил все торфяные болота и угрожает развитию нашей промышленности, хотя куплено было только одно болото в Тверской губернии для постройки второй районной станции.

Вся эта агитационная кампания обернулась неожиданным курьезом, еще раз подтвердив справедливость пословицы: «Нет худа без добра». Общество стали осаждать владельцы гиблых мест, желавшие продать их. Благодаря этому вскоре на стол перед Глебом Максимилиановичем легла точнейшая и подробнейшая карта торфяных угодий под Москвой и в соседних с ней губерниях — куда точнее и подробнее официально изданной!

Борьба против первой в мире районной электростанции достигла такого накала, что был обвинен в продажности и с позором смещен председатель губернской земской управы Грузинов — единственный представитель власти, стремившийся достичь разумного и обоюдовыгодного согласия.

Переговоры тянулись два с лишним года и не привели ни к чему. Пришлось отодвинуть трассу на север от Владимирского шоссе и прокладывать ее по зем-
 лям Богородско-Глуховской мануфактуры, полям

двадцати крестьянских общин и по Измайловскому зверинцу.

Но даже после этого влиятельные земцы и городские тузы продолжали мешать: богородский уездный съезд отменял решения крестьян о сдаче земли в аренду для установки опор. Под разными предлогами, а на деле из-за того, что централизованная подача энергии ущемила бы интересы владельцев мелких станций, торговцев керосином и иных прочих торговцев, земство запрещало освещать деревни, приказывало сносить уже врытые столбы. Обходная трасса вышла изломанной, длинноватой.

Но — вышла!

Для ввода энергии в Москву завод Гужона, расположенный за чертой города, но связанный с его кабельной сетью, подключили к линии от «Электропередачи». Усилия Московской и районной станций слились словно две реки — зародилась первая объединенная электрическая система — маленький прообраз будущих производительных сил, далеко не желанный для любых хозяев и хозяйчиков гость из социалистического завтра...

— Вот и приехали! Добрый день, Роберт Эдуардович! — Кржижановский легко выпрыгнул из авто, размялся, огляделся.

Казалось, будто знойная сушь обволокла все вокруг, сковала, припорошила пылью и кусты сирени возле трехэтажного, с красивой, на европейский лад, мансардой дома правления, и просторное здание гостиницы, и летние бараки в поселке, видневшиеся вдали.

Не проехал, а проплыл паровоз, тянувший по узкой колее состав с торфом. И сама станция, с пристройкой для вагонных весов и разгрузки, с элеваторами топлива и внушительной — одиннадцать сек-

ций — котельной, с машинным залом и подстанциями, от которых по проводам неслась жизнь в окрестные фабрики и к самой Москве,— все, казалось, уплывало куда-то в размагничивающее душное марево.

— Ну и жарища! — Глеб Максимилианович вздохнул.— По дороге, в машине, еще как-то обдувало... Сама природа против нас.

— Хотите ванну принять? — Классон, как хозяин — он и в самом деле был полновластным хозяином здешних мест,— встречал приехавших, помогал разместиться, устроиться.

Работникам ГОЭЛРО отвели целый дом — подальше от станции, на островке-суходоле среди торфяников. Тихая обитель! Выглянешь в окно — и улыбку не сдержать, и слеза наворачивается: кулики попискивают, жаворонок заливается где-то в вышине, трясогузки хлопочут. Брусника устилает нежно-бордовые, голубоватые, серебристые мхи. Ветер доносит медовый дух трав. И не верится, что где-то, не так уж в общем далеко отсюда, идут бои за Дубно, за Минск и Вильно, готовится открытие Второго конгресса Коминтерна, страждут, бьются не на жизнь, а на смерть люди — миллионы людей...

Но — некогда философствовать. С места в карьер надо приниматься за дела, вернее, продолжать начатую работу. Надо: а) готовить план возрождения существующих станций для немедленной помощи изнывающим от разрухи городам, заводам, шахтам; б) план постройки новых станций и сетей на десять — пятнадцать лет; в) определить способы подъема сельского хозяйства и лесной промышленности; г) выработать план электрификации водных путей, железных и грунтовых дорог; д) делать обзоры добывающей промышленности, металлургии и других

важнейших отраслей в связи с программами их производства на предстоящие десять лет; е) давать записки о развитии восьми районов — Северного, Центрального, Приволжского, Уральского, Южного, Кавказского, Туркестанского, Западно-Сибирского...

Словом, и здесь, на лоне природы, «в спокойной обстановке», жизнь продолжала катиться по тому же принципу, что и в Москве: «Работаем раз в день — целый день».

Инженеры и ученые, привлеченные в Комиссию, уже подготовили около двухсот записок, обзоров, карт. И Глеб Максимилианович озабоченно усмехался:

— Мы должны опровергнуть извечную мудрость поговорки: объять необъятное. Во что бы то ни стало!

Весь этот поистине необъятный материал об экономике самой большой страны мира, о возможностях и перспективах ее предстояло, что называется, переварить — осмыслить, обдумать, обсудить с коллегами, обобщить, свести воедино — в сводную карту и сводный доклад об электрификации России. Так что и председатель ГОЭЛРО и все прибывшие с ним работали в день приезда допоздна. Только на ночь позволили себе роскошь — искупаться в старом, выработанном карьере, неподалеку от дома, где обосновалась Комиссия.

Вылезая на крутой илистый берег, Борис Иванович Угримов старался показать, что получил удовольствие, подбадривал товарищей шутками:

— Молочка парного захотели? А водица как парное молоко не подойдет?

На следующее утро, едва Глеб Максимилианович проснулся, в комнату постучал Классон — вошел, подмигнул, глянул, как заговорщик:

— У меня для вас есть сюрприз. Пойдемте.

«Опять гнездо какое-нибудь или земляника-рекордистка? — недовольно подумал Глеб Максимилианович, потягиваясь и устало поворачиваясь на постели. — Когда он только успевает? Не меньше остальных занят в ГОЭЛРО: на нем электрификация Центрально-промышленного района и текстильной промышленности, будущее развитие Москвы, использование торфяных богатств для электрификации. А еще — заботы по станции. А еще — вот это...»

Эти энергичность и деятельность сочетаются в нем с чувствительностью. По долгу службы и профессии разрушитель природы, он заботливо любит ее. Как-то раз на площадке «Электропередачи» отозвал Глеба Максимилиановича в сторону, повел через горы щепок, извести, грунта, остановился перед одинокой березкой на крошечной куртине, зеленевшей посреди строительства, присел и молча кивнул на ядреный белый гриб. А потом пожаловался: «Из-за этого молодца пришлось пустить в обход трубопровод, который должен был здесь пройти».

Да-а... В былые времена хаживали вместе и на гальдшнепов и на уток. Но теперь...

Однако Классон настойчиво, требовательно торопил:

— Идемте, идемте. Тут недалеко, успеем до начала работы.

Они шагали по высохшим болотам, по усыпанным вместо росы торфяной крошкой перелескам, вдыхая свежесть раннего утра, невольно поддаваясь его очарованию. Вокруг были все знакомые места: здесь ловили с мальчишками вьюнов бельевой корзиной, там собирали голубику — по-местному «гонобобель», и Зина вырезала корень «волчьего лыка», очень похожий на гнома, радовалась, как девчонка, а потом

вдруг заплакала: «Ну почему?.. За что?.. Нет у нас детей...»

Над ближайшим карьером висели гул машины и отборная брань множества людей. Там работали тридцать мужчин и двадцать женщин. Глебу Максимилиановичу не нужно было их пересчитывать: не хуже Классона знал, сколько рабочих требует элеваторный способ добычи.

Стоя на уступах, выбранных в торфяном откосе, мужики-«я́мщики» нарезали лопатами пласты «болотного шоколада» и бросали их в стальной желоб элеватора, отшлифованный до блеска. Скребки подхватывали темно-коричневую грузную массу и гнали наверх, в приемную воронку пресса. Из мундштука этой машины торф ложился непрерывным сырым брусом на доски. Женщины грузили их в этажерочные вагонетки, откатывали, расстилали торф по полю для просушки, собирали освободившиеся доски...

Комары вились вокруг людей, роились над просоленными, выгоревшими, истлевшими рубахами. Даже в нынешнюю сушь на дне карьера было мокро и душно — уже с утра.

Да, занятие не для барышень: и сила нужна, и выносливость, и тренировка с юных лет. Недаром эта «пожизненная каторга» стала наследственным отхожим промыслом крестьян самых голодных, самых перенаселенных губерний: Рязанской, Калужской, Тульской. Прежде отцы приезжали, теперь — сыновья и дочери. Многих Глеб Максимилианович знал в лицо.

— Матвеич! — Классон легко сбежал по откосу, остановился возле приземистого жилистого мужика, который вместе с другими тянул за веревку пень, мешавший брать торф.— Где же вы пропадали?

— Да так...— Матвеич замялся, поправляя сли-

нявшую солдатскую бескозырку времен японской войны и трепеща, вернее, показывая, что трепещет перед начальством. Ощупал окладистую русую бороду, словно хотел убедиться, на месте она или нет, хитро, значительно глянул на молчавших товарищей.

— Как «так»?! Вся смоленская артель на день задержалась! Договаривались только праздники отгулять.

— Да ты не серчай, Робер Едуар,— Матвеич принялся виновато оправдываться.— Вишь какая оказия вышла... Приехали мы, стало быть, на вокзал к сроку, день в день, по уговору. Торкнулись в кассу, а там бумага: завтра подешевление билетов, стало быть.

— Аж на целый пятак! — вставила разбитная ладная дивчина. Не отрываясь от работы, она уминала ржаной домашний пирог с морковной начинкой. Лицо ее, густо набеленное, чтоб не загорело, казалось неестественно плоским. Но когда она, усмехаясь, косила глазами, на нем особенно рельефно обозначались ямочки-живинки. На голове бог весть что: чалма не чалма, тюрбан или платок до самых бровей — опять же от солнца. Не то кофта, не то жупан покойной бабушки. Лапти с витыми мочальными обвязками делают ноги похожими на тумбы. Вся как есть, как полагается — натуральная, стопроцентная Марфушка-торфушка. Кричит по-мужичьи:

— Я им говорила! Я упреждала! Просидели сутки на вокзале — дождались подешевления, дурни можайские!

Классон только плюнул с досады и пошел прочь.

«Хороша торфушка! — думал Глеб Максимилианович, нагоняя его и оглядываясь.— Вот такой же помнится тетя Надя на пожаре... С виду вроде и незатейлива, а уперлась покрепче в землю-матушку, ухватила доску с торфом, и — одеваются литой броней

паровозы в Москве, летят на Врангеля бомбардировщики, да какие: «Илья Муромец», самые тяжелые, самые сильные в мире — целая эскадра! Да еще аэропланы на поплавках, которые «черный барон» с почтительной злобой величает «гидрой» и боится пуще всех страстей ада».

— Вот народ! — перебил его мысли Классон.— Прохарчились на вокзале, потеряли дневной заработок из-за пятака! Нет, эти люди еще ждут своего Шекспира, который сделает их психологию понятной!

Бесспорно, торфяники несли в себе все причуды и противоречия русской деревни. Глеб Максимилианович отлично помнил, как еще до революции, чтобы поднять добычу, увеличили расценки. Однако у «отходников» была своя политическая экономия: заработать за сезон восемьдесят целковых, а там хоть трава не расти. При высоких расценках они зашибли положенную деньгу раньше и — по домам. Выходило: чтобы добывать больше, надо платить меньше. Тут, пожалуй, и Шекспир не помог бы разобраться.

«Но других людей у нас нет, строить — с этими. Конники Буденного, бойцы Тухачевского, Егорова, Фрунзе из таких же мужиков, а бьют академических генералов, ясновельможных панов, получивших образование в Сорбоннах и Оксфордах. Нет — избавь меня бог! — я не восхваляю невежество или косность. Я знаю: мужики-красноармейцы побеждают потому, что сознание высокой цели делает их сильными, умными, окрыленными, потому, что другие мужики, несмотря ни на какие лишения, пустили производство на важнейших заводах — превратили Брянск, Тулу, Сормово, Петроград, Москву в арсеналы Революции. И Ленин верит: простые русские мужики не так уж просты. Как панов и генералов, одолеют они разруху, нищету, отсталость. И я верю. А Классон?..

Конечно, Роберт Эдуардович — золотой человек, человек-коренник: вошел в упряжку и повез, какие бы пристяжные ни были. Но при всем желании о нем не скажешь, что он демократ».

Возле соседнего карьера стояла машина, похожая на пушку. Только палила она водой в торф, который размывался, стекал жидкой кашицей в карьер. Толстый гудящий хобот, подвешенный на подъемном кране, хлебал эту трясину и гнал ее по трубам в пруд неподалеку. Оттуда насос перекачивал торфяную жижу на поля сушки.

— За три минуты мы перешли из прошлого в будущее,— обернулся Классон.

В последние годы он «болел» усовершенствованием добычи торфа с помощью водяной струи. Для первого опыта в карьер привезли паровую пожарную машину. Под напором ее струи торф лишь слегка окрасил воду.

— Ну и кофей вы заварили! — смущенно улыбались инженеры:— Жидковат, не на чем погадать.

Вскоре место пожарной машины занял мощный насос — и торф потек, как надо, «гидромассой». Струя вышибала его из переплетения древесных корней и перемешивала. На пути торфа поставили «сита», но громадные решетки в течение нескольких минут забивались пнями, щепками, мусором — очистить торфяную массу и поднять насосом на поле было немыслимо.

Всякий другой опустил бы руки, но Классон... Классон изобрел торфосос — машину, которая висела на крюке крана, втягивала массу, измельчала ее, перерезала волокна и... не засорялась. На создание ее ушло ни много ни мало — три года.

Однако Глеб Максимилианович хорошо знал и то,
 что в прошлом году новым способом добыли больше,

чем когда бы то ни было, но почти весь разлитый торф, так и не высохнув, ушел под снег, попал в топки лишь весной.

«Хороши бы мы были зимой с нашей «Электропередачей», если бы понадеялись только на гидравлический способ!..» — Глеб Максимилианович с нескрываемой досадой смотрел на Классона. Давно же все ясно, все смотрено-пересмотрено сотню раз: рано пока всерьез говорить о новом методе. И вообще... вода и топливо — совместятся ли они, примирятся ли когда-нибудь? Недаром и председатель Главторфа Иван Иванович Радченко и Александр Васильевич Винтер — начальник строительства Шатурской станции, светлые головы, и в чем, в чем, а в консерватизме и склонности к рутине их не заподозришь,— оба не признают за гидроторфом будущего.

Классон, должно быть, догадался, о чем думал спутник, торопливо, но не теряя достоинства, объяснил:

— Наконец удалось добиться истирания одновременно со всасыванием массы.

— А торфяные кирпичи по-прежнему никудышные.

— Нет, теперь они будут отличные при любой погоде.

— У вас они уже есть?

— Пока еще нет, но... Сохнут.

— Вот когда высохнут...

— Они будут плотные и прочные. Я ручаюсь! Нельзя обходить такое дело в плане развития страны на ближайшие десять — пятнадцать лет!

— Нельзя включать в этот план недостаточно продуманные, сырые идеи.

— «Сырые»?! Да вы посмотрите, какая масса идет!.. Шоколад! Какао «Эйнем»! Это ли не сюр-

приз! — Классон потянул его напрямик по грязи вдоль трубопровода к пруду, наполненному блестевшей жижей.

Но раздался грохот, скрежет — и механик, стоявший у щита, рванул на себя рычаг рубильника.

Кржижановский чуть было не позлорадствовал: ну, вот, мол, опять «бенефис»! — обернулся и осекся. В какое отчаяние приходил Роберт Эдуардович, когда что-то не ладилось! Кинулся к подъемному крану — помог, поправил. Но уже не осталось прежнего запала, задиристой убежденности.

Злясь на себя, на Глеба Максимилиановича, на белый свет, он всю обратную дорогу ворчал:

— Предполагаем в плане повысить производительность труда за счет интенсификации, механизации и рационализации. Хорошо. А где организация?

— Самый трудный вопрос.— Едва поспевая за ним, Глеб Максимилианович вздохнул.— Людей, наделенных талантом организатора, мало.

— У нас...— подхватил Классон и почти побежал,— у нас инженеры вообще отвыкают думать. Все время уходит на сметы-анкеты.

— Верно, многие ищут спокойную жизнь в главках и конторах.

— Недавно нам приказали спешно дать справку, сколько рабочих пьет чай и по скольку раз в день! Это не бред сумасшедшего — у меня хранится бумага!.. В то же время сотни пудов топлива летят на ветер из-за того, что никак не получим реактив для контроля за условиями сгорания... Хочешь отремонтировать котел — подай смету в восьми экземплярах. Ходит, ходит она по инстанциям, урезается, согласовывается, наконец возвращается утвержденная. Но работать по ней уже нельзя: время упущено, цена денег упала или что-нибудь еще.

— Бюрократизм страшнее Врангеля! Владимир Ильич доходит до неистовства — дерется с бюрократами не на жизнь, а на смерть.

— Существуют государственные органы снабжения, но каждое предприятие держит собственных «толкачей», без которых ни одна работа не идет. Почему? Да потому, что в основе неверная мысль: будто всякий чиновник центрального управления компетентен во всем, что ему дают на подпись. Единственная область, в которой компетентность профессионалов продолжает признаваться,— искусство: в театре по-прежнему поют Шаляпин и Нежданова. Да еще, пожалуй, в медицине. Ведь никто не решится подвергнуться операции, если ему скажут, что человек, который будет оперировать, не хирург...

Глеб Максимилианович невольно рассмеялся, а Классон с ходу выломил, точно срубил, гибкую лозину, стеганул ею по припудренному рыжей пылью голенищу добротного ялового сапога, продолжал серьезно, жестко даже... Он говорил страстно, увлекался, перегибал, но это говорил человек с размахом, инженер в высшем смысле слова, наделенный творческой фантазией. Понятно, он был далеко не единомышленник, не подбирал выражения, не стеснялся — бросал обидные слова прямо в лицо, выкладывал то, что думал, что наболело. И когда он закончил, Глеб Максимилианович вполне искренне, без тени обиды был благодарен ему:

«Не зря прогулялись — есть над чем подумать всей Комиссии».

Никогда еще Глеб Максимилианович не ждал с таким нетерпением дождь, как в нынешнее лето. Утром, едва поднявшись, он спешил посмотреть, не

хмурится ли, не заволакивает ли на западе или юге. Даже на восток оглядывался, хотя давно известно, что оттуда ветер дождя не принашивал.

Откладывал работу, подходил к барометру, щелкал по стеклу, но вороненая стрелка ни в какую не двигалась с отметки «Великая сушь».

С детства хорошо знал он народные приметы, знал, что по ним безошибочно предсказывают дождь, и жадно вглядывался в живой мир, прислушивался к нему. Но вороны не каркали, лягушки не прыгали, ласточки — экое окаянство! — парили в вышине, в мутном, прокаленном небе.

День за днем солнце садилось в безоблачно чистое, багряное марево. И по ночам над горизонтом вспыхивали зарницы далеких пожаров.

«Ох, не дай бог, полыхнет и у нас. Болота пересохли — одной спички, окурка довольно. А сколько вокруг людей недоброй воли, которые не хуже нас понимают, что значит здешний торфяник для «Электропередачи», для Москвы, для страны...»

«Пожар возник внезапно...»

Нет! Его ждали, боялись, и — вот случилось. Занялось ночью — сразу с трех сторон, и, вскакивая с постели, натягивая ставшую пунцовой в зловещих отсветах сорочку, Глеб Максимилианович успел подумать: наверняка не само собой занялось и не по небрежности...

Когда прибежали на горевший торфяник, там уже был Классон. Крупный силуэт его — болотные сапоги, брезентовый плащ с откинутым капюшоном — темнел среди синеватых куривших язычков пламени.

Только теперь Глеб Максимилианович опомнился и понял, что в руках у него лопата: не растерялся все-таки, прихватил — и кстати!



Запыхавшийся Угримов, потом Круг, Вашков, Близняк остановились рядом — копали ту же канаву.

Классон командовал всей обороной: распоряжался, кому куда стать, что делать.

Подвезли гидромонитор — и Роберт Эдуардович ухватил рукоять ствола брандспойта, хлестнул водой по огню, сбил пламя с одной делянки, с другой, направил струю на третью.

Но тут же на первой из-под шипевших, стлавшихся клубов пара вынырнул желтый язычок, разросся, взмыл голубым пламенем. Опять! Словно недра земли отрыгнули огонь, опять заполыхала, закурилась едким удушливым чадом земля.

Не дай и не приведи — пожар на болотах!

Не знаешь, где горит, где прорвется, куда перекинется. Трещит, завывает и сверху и в глубине. Были случаи, когда копавшие ров далеко впереди фронта огня вдруг проваливались и сгорали, словно в преисподней: из ямы в горящем сыпучем торфе никому еще не удавалось выбраться...

Гудит, курится под ногами земля. Дым щиплет ноздри, веки. Никак не вздохнуть. Все же выкопали канаву, почитай, на полсажени — заступ уходит с черенком.

Что такое?.. Почему дымится дно? Одевается золой, белеет пеплом... Шибануло из-под канавы... Прорвало искрящим свищом позади нее, дальше, дальше... Зря копали. Забежать! Опередить! Снова копать!

Глеб Максимилианович оглянулся: уже рассвело. Два костра-исполина бушевали за лесом, но казалось, так близко, что протяни руку — и обожжешься. В прозрачных, почти бесцветных смерчах огня вырывались к небу головешки, ветви, обугленные стволы. Ни птичьего гомона, ни запаха лугов. Только въедли-

вая гарь, только треск — сухой, невозмутимый, мерный: «хруп, хруп, хруп».

Как будто из-под воды доносятся крики рабочих, окапывающих болото:

— Лошадь провалилась!

— Не ходите туда, не ходи-ите-е!

«Нет, самим нам не сладить».

— Роберт Эдуардович! Я — в правление...

И вот уже ладонь на рукояти знакомого дубового ящичка:

— Барышня? Немедленно телеграфируйте в Москву, Ленину, от председателя ГОЭЛРО. Да, да! Что тут непонятного? ГО-ЭЛ-РО... «Станция в величайшей опасности, мы не можем гарантировать ее бытие».

Теперь скорее погрузить в автомобиль драгоценные материалы Комиссии, отправить в Москву, пока дорога не отрезана пламенем, и — на пожарище.

Классон по-прежнему палил из своей водяной пушки.

Огонь рычал, шипел, прятался в облаках дыма и пара, прорывался в новом месте, но упругая вода настигала. Под ее непрерывным ударом торф потек в канаву.

Роберт Эдуардович отвернул ствол брандспойта, подбежал к канаве, зачерпнул в горсть липкую торфяную кашицу и поднес ее Глебу Максимилиановичу, словно уличая его:

— А все-таки именно в этом будущее. В этом!

Слова его прозвучали подобно утверждению Галилея «А все-таки она вертится!» и настолько неожиданно, что все тушившие огонь невольно рассмеялись, на мгновение позабыв, где они и что делают.

 Довольный, захваченный радостью, Классон вер-

нулся к монитору и стеганул по пламени с новой силой.

К вечеру два отборных карельских полка, посланные Лениным, пробились наконец сквозь огненное кольцо. С марша — в дело: пущены в ход саперные лопаты, топоры, плуги, прицепленные к артиллерийским передкам. Рядом с красноармейцами и рабочими всю следующую ночь до утра трудились на пожарище инженеры и профессора Государственной комиссии по электрификации России.

Подавили последний очаг, придушили тлевшие ветки, затоптали угольки и тут же рухнули на спасенный торфяник. Полежали, помолчали, перевели дыхание.

— Хорошо бы закурить,— улыбнулся Борис Иванович Угримов.

— Я вам покурю! Я вам покурю! — Классон поднялся, погрозил пальцем.

— Мы осторожно. В кулачок,— упрашивал Глеб Максимилианович с притворным подобострастием.— А пепел в кармашек.— Достал портсигар, обрадовался: — Чудо! Сухие! — Угостил всех курильщиков.— А вот спички... У кого спички есть?

Спички у всех намокли.

— Где вы раньше были? — возбужденно шутил Кржижановский.— Раньше надо было прикуривать... Хоть бы один очажок оставили!.. Славно погуляли вы, друзья мои, на пленере! Подышали свежим воздухом! Пора и за дела. Только, скажу вам по секрету, сводный доклад будем писать дома, в Москве.

Опять работа, работа, работа.

О ней Глеб Максимилианович потом скажет:

— Девять месяцев Комиссия рожала план.

А пока... Ясно почти все для Северного, Центрально-промышленного, Донецкого, Уральского и Волжского районов.

Для решения главных проблем хозяйства и согласованности в работе всех сотрудников на пленумах Комиссии уже сделаны основные доклады.

Дальше, дальше! Не задерживаясь! Скорее!

Введена в действие временная станция в Шатуре, но не совсем удачно. Котлы, снятые с миноносцев на Балтике и с таким трудом доставленные, не желают «привыкать» к торфу.

— Почему? Как исправить? Что думает Винтер?

Ленин по-прежнему ни на день не выпускает из виду ГОЭЛРО, с пристрастием следит за каждым шагом, внимательно изучает информационные бюллетени Комиссии, делает пометки, чтобы не упустить важное, а иной раз и отчитывает Глеба Максимилиановича:

— до сих пор в целых пяти №№ «Бюллетеня»... только «схемы» и «планы» *далекие, а близкого нет.*

Чего именно **(точно)** не хватает для *«ускорения пуска в ход существующих электрических станций»?*

В этом гвоздь. А об этом ни слова.

Чего не хватает? Рабочих? Квалифицированных рабочих? Машин? Металла? Топлива? Чего другого?

«План» добыть **все** нехватающее надо *тотчас* составить и опубликовать.

Работа, хлопоты, дела. И вдруг приглашают в Кремль на... просмотр киноленты.

В полутемном зале прохладно, тянет махорочным дымом. Почти все места заняты кремлевскими курсантами и работниками Главторфа. Поодаль, не глядя друг на друга, уселись Радченко и Классон.

Шум стал оживленнее, когда Ленин, вошедший вместе с Горьким, Калининым, Кржижановским, сказал:

— Здравствуйте, товарищи!

Владимир Ильич быстро прошел между рядами кресел, заметил Классона, остановился против него, протянул руку, задумался:

— Двадцать пять лет не видались. Целая жизнь... А помните, как вы тогда сомневались? А ведь революция-то свершилась...

Вокруг них собрались Крупская, Кржижановский, Калинин, Андреева, Горький. Алексей Максимович смеялся, указывая на сверток в кармане ленинского пальто:

— Угостите шоколадом!

— Потерпите. Будет вам и шоколад. Каждому овощу — свое время. — Владимир Ильич запрятал сверток поглубже и тут же обратился к кинооператору: — Неужто это вы, Юрий? Подумайте, какой вымахал! Вы меня помните? Я был у вас на Капри... Ну, что ж? Начнем? А потом уже поговорим.

Застрекотал аппарат. На экране возникло шишковатое — все в кочках — болото.

Оператор склонился к Ленину, стал объяснять вполголоса.

— Говорите, пожалуйста, громче: для всех.

В ярко высвеченном окне проплыла строительная площадка Шатуры, здание станции, подпертое лесами, потом добыча торфа лопатами, мужики, навалившиеся всей артелью на бревно, подведенное под пень. Все, что Глеб Максимилианович видал-перевидал. Но почему-то он заволновался: то ли магия кино подействовала, то ли смутное сознание какой-то вины.

Он знал, что муж старшей дочери Классона инженер Богомолов пригласил приемного сына Алексея Максимовича Горького Юрия на «Электропередачу» и тот заснял ленту о гидроторфе.

На первый взгляд, семейные дела. А если задуматься? Не по этой ли причине еще весной Ленин настоял, чтобы Сормовский завод, перегруженный заказами на пушки и броневики, в кратчайший срок построил гусеничный кран для торфососа, а теперь, узнав от Марии Федоровны Андреевой и Горького о фильме, немедленно заинтересовался им?

Когда экран заполнила пузырчатая влажная масса, Классон не удержался:

— Гидроторф!

Вскоре вспыхнул свет.

Владимир Ильич выжидательно обернулся к собравшимся. Горький покачал головой:

— Не видал в кинематографе ничего более интересного!

— Да,— Ленин задумчиво вздохнул,— это не «романтика», не «беллетристика».

— Наши пнистые болота,— подхватил Классон,— одолеет только сверхмощная струя воды в руке человека.

— А что думает Главторф? — Ленин подошел к Радченко, по-прежнему сидевшему в стороне.

— Главторф пока что срезал мне ассигнования и штаты,— пожаловался Классон, поднявшись вслед за Лениным.— Важнейшие механизмы, как вы только что видели, выполнены из дерева: металла не дали. Разрешили испытывать только один торфосос!

— И того много! — сорвавшись, вспыхнул Радченко, молчаливо крепившийся до поры.— Владимир Ильич! Нет, мы не против гидроторфа. Но в нем еще много спорного и сомнительного.

— А конкретно? — не уступал Классон.— Говорите конкретно.

— Можно и конкретно: провал прошлогодней кампании.

— А нынешняя?!

— В кинематографе все гладко, а на болоте... Торфосос каждую минуту забивается.

— Ничего подобного. Я же показывал вам с Винтером последнюю модель — ту самую, что заснята. Нарочно целые кусты бросали — все проглатывает, истирает в пыль!

— А народу сколько занято?

— Вдвое меньше, чем на элеваторной добыче. Вы не учитываете, что самое замечательное в новом способе — транспорт гидромассы по трубам на далекие поля разлива. Работницам остается только нарезать подсохшую массу цапками и переворачивать кирпичи.

— Да где они, ваши кирпичи? Кто их видел?

— Погодите! — Ленин поднял руки, унимая специалистов, и вернулся к оператору: — Скажите, Юрий, где сняты штабеля торфа, которые мы видели?

— На «Электропередаче», конечно.

— Владимир Ильич! — решился наконец Кржижановский, потупился, но продолжал твердо: — В этом сезоне гидравлическим способом добыто триста сорок тысяч пудов отличного топлива — больше чем когда бы то ни было. Пора нам, Иван Иванович, признать свою ошибку.

Но Радченко упорствовал:

— Весь торф наверняка сырой...

Тогда Ленин достал из кармана сверток, разорвал бумагу и протянул на ладони аккуратный кирпичик «болотного шоколада»:

— Пробуйте...

«Нет, не только Радченко он высек этим,— думал Глеб Максимилианович по пути домой.— И поделом! Мало ли что заботы о гидроторфе не твоя прямая обязанность: все равно должен был приглядеться повнимательнее — кому, как не тебе? — не полагаться на мнения «китов» или мировой опыт, не плыть по течению. «Классон не демократ!..» — передразнил он себя. А делает для рабочих больше, чем ты... Ленин увидел в кино то же самое, что ты — в натуре, и сделал нужный вывод. Как всегда, он не давил никого своим авторитетом — подвел к истине почти не заметно, неотразимым доводом. Не было еще случая, чтобы он вмешался непосредственно в технические проблемы, а присутствие его чувствуется на каждом шагу...»

Кржижановский тут же вспомнил о том, что представлялось ему двумя противоположными формами назидания, а по сути, различными принципами отношения к людям и, если хотите, руководства: говорят, в Китае голову шофера, казненного за быструю езду, вывешивают на фонарном столбе, в Америке разбитый автомобиль оставляют на перекрестке, как предупреждение...

Уже назавтра, двадцать восьмого октября, Ленин дает письмо в Главторф, товарищу Радченко, копии Классону, председателю ГОЭЛРО Кржижановскому и другим:

— Признать работы по применению гидравлического способа торфодобывания имеющими первостепенную государственную важность и потому особо срочными. Провести это в субботу 30/X, через СНК.

Тридцатого октября Совет Народных Комиссаров создает специальное Управление по делам гидроторфа во главе с Классоном.

Третьего ноября на очередном, тридцать седьмом, заседании Комиссии ГОЭЛРО идет к завершению работа над планом электрификации. Глеб Максимилианович говорит коллегам о перспективе перехода к единому государственному плану развития и государственного регулирования всего народного хозяйства республики.

Седьмого ноября — начинается штурм Перекопа.

Девятого на пленуме Центрального Комитета Российской Коммунистической партии (большевиков) Ленин предлагает поручить Глебу Максимилиановичу Кржижановскому готовить доклад «Об электрификации России» к Восьмому съезду Советов.

Двенадцатого ноября — приказ Врангеля об эвакуации. Роспуск врангелевской армии.

Четырнадцатого — торжественное открытие электростанции в деревне Кашино.

Пятнадцатого — взятие красными войсками Симферополя, Севастополя и Феодосии. Бегство Врангеля из Крыма.

Клэр — значит светлый, ясный, яркий

Та несытая осень порадовала буйным урожаем яблок. Курскую антоновку, симбирский анис, гомельский штриффель привозили в поездах, продавали прямо из мешков на улицах, «отпускали» по специальным ордерам, «давали» в пайках.

Глеб Максимилианович поглаживал бородку, щурился:

— Живем, как в раю,— ходим голые и едим яблоки.

Для того чтобы завершить подготовку плана в девять месяцев, пришлось работать с непрерывной поспешностью. Кржижановский трудился, что называется, самозабвенно, старался, чтобы так же работали и его сотрудники.

Каковы бы ни были их убеждения и симпатии, цель работы, великий ее смысл захватили равно всех. И по этому поводу Глеб Максимилианович нередко шутил:

— Все усердно подводим научный фундамент под строительство социализма...

Глава за главой, раздел за разделом плана ГОЭЛРО отправлялись в типографию. Отправлялись порою прямо с пишущей машинки, за которой попрежнему самоотверженно сидела Маша Чашникова.

Центр тяжести работы над планом как-то сам собой переместился в Садовники.

Экземпляр корректуры потребовал Ильич. Он внимательно просматривал каждый лист, радовался удачам, огорчался промахами, исправлял ошибки — особенно сердито, когда вместо «электрификация» набирали «электрофикация».

Как хорошо, как надежно ощущал себя Глеб Максимилианович, когда слышал решающее ленинское одобрение!

И за границей и дома, даже среди окружающих Владимира Ильича людей, находились такие, для которых нелепым казалось все, что Ленин обозначил словом «загад». Всевозможным преемникам былых «экономистов», чинушам с обиженным самолюбием, интеллигентным обывателям, начетчикам и книжникам план электрификации России был не по душе.

Но, кроме скептиков и оппортунистов, вокруг было немало настоящих ленинцев, твердых большевиков.

И когда Глебу Максимилиановичу становилось особенно трудно, он вспоминал тот недавний — июньский — вечер в Садовниках, проведенный с Ленгником, их душевный, за полночь, разговор. Кржижановский думал об участии, которое оказывали ему и его работе старые товарищи — старые большевики, об их помощи и поддержке на каждом шагу.

Работы над планом завершались с тем же подъемом, с каким начинались и велись. Казалось, для Глеба Максимилиановича нет препятствий и пределов: раз он считает нужным что-то сделать, он это делает и сделает. Только так, только с такой преданностью привык он относиться к делу — будь то первые марксистские кружки, партийный съезд или электрификация страны.

Да и можно ли по-другому? Ленин оценивает одну неделю Советской власти как победу во всемирно-историческом масштабе. А что будет означать успех ГОЭЛРО?..

В ряду дней минула третья годовщина революции. Подумать только — уже три года!..

Октябрьская комиссия предложила не тратить ни одного лишнего аршина материи, и торжества прошли без пышного убранства улиц, но все равно весело, празднично. И сегодня, отправляясь на пленарное заседание, Глеб Максимилианович был в приподнятом настроении, чувствовал себя легко, бодро. То-то обрадует он товарищей, когда расскажет об очередной беседе с Лениным и решении Центрального Комитета готовить доклад об электрификации России к двадцатому декабря!

Чего он терпеть не мог, так это приносить худые вести. Такая необходимость делала его больным в прямом смысле. А сейчас вести были добрые...

Но что такое? Почему хмурится Круг? Будто с

трудом — через силу — здоровается Александров... Куда-то вкось, мимо тебя, смотрят Рамзин, Вашков, Угримов.

«А! Понимаю. Провокационные слухи возымели свое действие».

Белые, затаившиеся вокруг, и белые-эмигранты по-своему отметили праздник Октября. Выдавая желаемое за действительное, говорили о том, что в Смоленске взбунтовался гарнизон, в Златоусте расстрелян Совет, в Сибири ширится восстание против Советской власти и так далее и тому подобное.

Конечно, такие люди, как Александров, Угримов, Круг, вряд ли поддались, вряд ли поверили всему этому, но сомнения закрались. И тревога: а вдруг?.. В результате настроение кислое, нерабочее.

Нет! Так не пойдет. Так не годится. А что делать?

— Ух ты! — Глеб Максимилианович игриво зажмурился, как бы ослепленный. Отныне больше всего на свете его интересовали хорошенькие стенографистки, изготовившиеся за столом.— Вот это да! В самом начале второй фазы витринной эпопеи...

— Что еще за эпопея? — Рамзин спросил нехотя, не поддерживая шутку, а только из вежливости.

— Ка-ак? Вы не знаете? Есть же такая серия картинок: женщина у витрины. Я бы сказал, целая эпопея жизни. В десять лет — возле магазина игрушек, в двадцать — не оторвет взгляда от соблазнительных творений кудесников моды — платьиц и шляпок. В тридцать лет — под гипнозом драгоценных камней, в сорок — перед институтом косметики, в пятьдесят — привлекают радости гастрономии, в шестьдесят...— аптека.

— Грустная эпопея,— заметил Круг и тут же улыбнулся.

Мало-помалу Глеб Максимилианович придавал своим шуткам иное, более тенденциозное направление:

— Знаете, эти серии очень входят в моду. На днях видел во французском журнале такую: «Париж в двухтысячном году». Первый рисунок: «Вот прилетел какой-то тип из Америки.— Ну и что тут такого?» Второй: чудо природы — женщина с длинными волосами. Третий: в зоопарке — «Папа! Это какое животное? — Не знаю. Кажется, лошадь». Четвертый: молодой человек у телефона: «Алло! Марс? Я тебя слушаю, дорогая». Наконец, последний рисунок: две мумии с бородами до полу — «Кто такие? — Да это русские. С восемнадцатого года спорят, должна ли быть в России демократическая республика или конституционная монархия...»

— Действительно! — уже улыбается и Александров.— Просто осатанели эти эмигранты. Черт-те что городят. Будто Нижний Новгород занят мятежниками и на улицах идут кровавые бои...

— И в Москве уличные бои! — Глеб Максимилианович говорит серьезно, даже трагически. Он не опровергает слухи — нет! — наоборот, нагнетает драматизм, сгущает краски.— Неужели не заметили? Как же вы так?! Как вы могли не обратить на это внимание, скажем, когда ходили гулять по Красной площади или когда покупали билеты на балет в Большой?..

Александров смеется от души. Смеются Круг, Вашков, Угримов.

Глеб Максимилианович не унимается:

— Не пойму я вас. Керенский же ясно сказал в своем интервью: «Большевистская психология до конца изжита трудящимися массами России». Опять не заметили? Ай-ай-ай! Темные люди. А вот Сила Си-

лыч, дворник наш, в своем ответном интервью так сформулировал собственную позицию по данному вопросу... Он заявил: «На каждое чиханье не наздравствуешься» — и добавил...— Глеб Максимилианович изображает испуг, косится на девушек.— Убедительно прошу не заносить в стенограмму декларацию Сил Силыча.— Грозит пальцем, подправляет усы.— К делу, дорогие друзья, к делу.

Вроде ничего особенного и не сказал, ничего не произошло, а настроение у маститых «метров» поправилось. Как надо, слушают сообщение о том, что Ленин очень одобряет доклады о развитии Волжского и Северного районов.

— Ваш и ваш,— говорит Кржижановский коллегам. Приятно похвалить, ох как любит он похвалить, одобрить, ободрить человека.— Желательно доклады по всем районам представить в том же виде, с указанием конкретных мер по выполнению намеченного плана электрификации в ближайшие годы, с приведением таблицы, иллюстрирующей в цифрах, хотя бы и предположительно, постепенное развитие по годам электрических станций... Указать центры, на которые необходимо обратить особое внимание... С выпуском в свет указанных докладов, с приведением обобщающего доклада и сводной карты будем считать работы ГОЭЛРО в первой стадии — по заданию ВЦИК — законченными...

Вопреки обвинениям противников, Глеб Максимилианович, гонясь за журавлем, не забывал и о синице: медленно, но упрямо набирали темп работы, задуманные в разделе «А» плана. Худо ли, хорошо ли — на дровах, на мазуте, на остатках смазочных масел — действовала Московская станция.

На «Электропередаче» работали все три агрегата — пятнадцать тысяч киловатт.

Прибавим силу переоборудованных на торф и дрова станций Глуховской мануфактуры в Богородске, Франко-русского общества в Павлово-Посаде и Орехово-Зуевской.

Вспомним о невиданных доселе запасах торфа, добытого гидравлическим способом... Словом, Москва встречала зиму с солидной электрической поддержкой.

Под Питером, на станции Уткина Заводь устанавливали котлы и турбины.

Строились гиганты Каширы, Шатуры, Волхова.

Одна за другой вспыхивали чудо-лампочки на потонувших во тьме просторах России — в селе Ярополец, в деревнях Лотошино, Шаховская, Монасеино, Бурцево, наконец, Кашино.

Мозглым вечером, когда ледяная крупа постукивала в оконное стекло, а в печурке уютно потрескивали настоящие поленья, с парадного хода позвонили.

Глеб Максимилианович, словно предчувствуя что-то важное, оторвался от письменного стола, распахнул дверь — на пороге Ленин. В запорошенной шапке, в шубе, раскрасневшийся, свежий, помолодевший.

Невольно припомнилось, как катались с ним на коньках и как однажды в сибирской ссылке Глеб Максимилианович привел определение здорового человека, данное знаменитым врачом: здоровье — прежде всего четкость и крепость чувств, здоровому неведомы вялость, половинчатость, если он любит — так любит, коли ненавидит — так ненавидит, его вовремя потянет ко сну и вовремя в нем взыграет аппетит.

Это определение очень понравилось молодому Владимиру Ульянову. А Глеб, взглянув тогда на его лицо, услыхав его смех, подумал: «Вот ты как раз и есть прямое подтверждение справедливости такого определения».

Сколько воды утекло с тех пор! Сколько пережито, перечувствовано, передумано! Недавно Глеб Максимилианович спросил:

— Какое самое страшное событие, Владимир Ильич?

— Выступление перед враждебной аудиторией.

Вся сознательная жизнь их обоих — в борьбе и баталиях. Еще одно свидетельство тому — пули, ударившие в Ильича. И уж кто-кто, а Глеб Максимилианович знает, как Ленин устал, чего ему стоят все эти поездки, походы, встречи, с каким трудом он встает каждое утро, чтобы работать, работать, работать.

Этой осенью, когда решалась судьба нашего контрнаступления на Варшаву, Глеб Максимилианович не раз видел Ленина до крайности взволнованным, напряженным и высказывал свои опасения:

— Не слишком ли далеко ушло правое крыло нашей армии? Как бы...

— «Как бы»! «Лишь бы»! — перебивал Владимир Ильич со свойственной ему нетерпимостью к любому проявлению прекраснодушия: — Вы можете назвать войну, которая велась без риска? История знает такие примеры? — И уже мягче, добрее пояснял: — Слишком заманчива ставка: одним ударом выиграть войну, покончить с Западным фронтом. Как нам это нужно! Как необходимо!

В последние недели он почти не спал, буквально сжигал свой мозг работой: непрерывные заседания и выступления, статьи, доклады, чтение новых и новых книг, отчетов, записок... Часами ходил с ним

Глеб Максимилианович перед сном, но и после прогулки он не мог уснуть. А когда Кржижановский предупредил: «Погубите себя»,— Ленин вздохнул:

— Разве дело не сто́ит этого?

Сейчас он был чем-то очень взволнован и спешил рассказать об этом товарищу:

— Я был в Кашине! Замечательно! Обнадеживающе!.. «Булочка»! — обрадовался он вышедшей в переднюю Зине.

Оттого, что он назвал ее не по имени, а питерской подпольной кличкой, сразу установился какой-то располагающий настрой. Несмотря на все старания хозяина, гость не дал снять с себя пальто — сам и снял, и повесил. Шагнул в знакомый кабинет, поморщился, увидев свой портрет на стене, но ничего не сказал и, стараясь не смотреть в ту сторону, бойко отвечал на все обычные в подобных случаях предложения.

— Чай — с удовольствием! Даже с сахаром? Тем более! И сухари — с удовольствием! Масло? О! Богачи! Миллионеры! Не могу отказаться.— Подсел к столу в кресло с широкими подлокотниками: — Так вот. Эт-то было необыкновенно. Торжественное открытие электрического освещения в русской деревне... Мы поехали с Надей, и Борис Иванович Угримов с нами... Представьте: горница рубленой избы с иконами и картинками, изображающими штурм Шипки, «Интернационал» в исполнении струнного оркестра. Праздничный стол с говяжьим холодцом и с брагой, самовар ворчит... Потом на улице устроили митинг. И один из крестьян, председатель артели Родионов, сказал между прочим — я отлично запомнил его слова, отлично запомнил! — «Мы, крестьяне, были темны, и вот теперь у нас появился свет, неестест-

венный свет, который будет освещать нашу крестьянскую темноту».

— «Неестественный»? — задумчиво переспросил Глеб Максимилианович, пододвигая свое кресло.

— Так и сказал. Слово в слово.

— И появление света невольно связано с Советской властью.

— Именно! Ведь именно для нее стало неестественным то, что сотни, тысячи лет крестьяне и рабочие могли жить в такой темноте, в нищете, в угнетении. Да-а... Из этой темноты скоро не выскочишь. Провести электрификацию немыслимо, пока у нас есть безграмотные.— Ленин, досадуя, охватил локти так, словно ушиб о край стола, но тут же к делу: — Интересно, сколько лампочек в Соединенных Штатах?

— Сейчас? Трудно сказать. А в двенадцатом году, помнится, у них было зарегистрировано что-то около восьмисот миллионов.

— Ой, ой, ой!.. А у нас? Впрочем, ясно и без точной статистики. А ведь первый электрический светильник, знаю, изобретен у нас.

— «Свеча» Яблочкова. И как водится, чтобы не попасть в долговую тюрьму, изобретатель вынужден был уехать из России.

— Гм!

Глеб Максимилианович видел, насколько неприятно Ленину напоминание о подобных обстоятельствах. Все они как-то очень непосредственно задевали его. Кржижановскому стало жаль «Старика», он решил отвлечь его чем-нибудь любопытным.

— Знаете, Шателен Михаил Андреевич... Мы его называем неисчерпаемым кладезем истории электротехники. Он рассказывал, что еще задолго до Яблочкова, в тысяча восемьсот пятьдесят шестом году по

случаю коронации Александра Второго были устроены «электрические солнца». Их смастерил русский изобретатель Шпаковский. Этот Шпаковский придумал дуговые лампы, которые питались от громаднейших батарей из элементов Бунзена.

Ленин опять помрачнел, задумался:

— Вот что, Глеб Максимилианович... У нас, при нашей темноте, электричество надо пропагандировать.

— Как? Разговорами о пользе и прелестях света?

— Не только словом, но и примером. Надо теперь же выработать план освещения электричеством каждого — я подчеркиваю! — каждого дома в РСФСР.

— О! Что бы это для нас значило, что бы дало! Но...

— Да! — подхватил Ленин, приподнявшись.— Это не сделается в один день, ибо ни лампочек, ни проводов, ни прочего у нас долго еще не будет хватать. Но лиха беда начало.

— Владимир Ильич! И я верю, и я знаю, что за первым десятком отчаянно трудных лет мы сможем взять темпы подъема, которые и не снились нашим соперникам...

— Но план все же нужен тотчас,— перебил Ленин,— хотя бы и на ряд лет. Это, во-первых. А во-вторых, надо сокращенный план выработать тотчас и затем, это в-третьих,— и это самое главное — надо уметь вызвать и соревнование и самодеятельность масс для того, чтобы они тотчас принялись за дело.

Глеб Максимилианович улыбнулся широко, добро, покачал головой:

— Лейтмотивом ваших мыслей звучит слово «тотчас».

— Затем-то я и приехал к вам так спешно.

— Я слушаю вас, Владимир Ильич.

— Не посетуйте... Знаю, как трудно достались последние месяцы: не успел одолеть одно — берись за другое, не менее трудное дело. Но иного выхода нет. И дело сродни первому. Идет в развитие его. Дополняет. Словом, нельзя ли...— Ильич помедлил, с виноватой, лукавой улыбкой покосился на Кржижановского.— Нельзя ли «тотчас» разработать такой план (примерно): все волости, а их у нас десять — пятнадцать тысяч, снабжаются электрическим освещением в один год, все поселки... в два года, в первую очередь — изба-читальня и совдеп (две лампочки). Столбы тотчас готовьте так-то. Изоляторы тотчас готовьте сами. Обучение электричеству ставьте так-то...

— А где возьмем провода? Меди, Владимир Ильич, знаете, сколько нам потребуется на эти самые провода?..

— О! Медь! Проблема проблем. Я думал об этом всю дорогу из Кашина. Придется сказать о ней так: собирайте сами по уездам и волостям.

— Откуда она там, Владимир Ильич?

— Ну как же? Тонкий намек на колокола и прочий церковный хлам.

— Тонкий и деликатный.

— Непременно! Без какого бы то ни было ущемления религиозных чувств верующих, но вполне решительно.

— Я вижу, вы не зря ездили в Кашино...

Далеко пришлось ехать Ильичу, нелегка оказалась дорога туда и обратно за один день, а того труднее было оторваться от дел.

Но ведь еще с юности «Старик» требовал от Глеба Максимилиановича: «Жить в гуще, знать настроения. Знать все. Понимать массу. Уметь подойти. Завоевать ее абсолютное доверие». Все это не только

требования к соратникам, но и первая заповедь Ильича для себя самого.

Кржижановский давно знал и чувствовал, что половиной души Ленин живет в будущем. Такую способность он развил и у товарищей. «Отсюда,— думал Глеб Максимилианович,— наше нетерпение, наше торопливое стремление во что бы то ни стало, немедленно дотянуться до отдаленного, пока еще недосягаемого, из-за которого порой мы обжигаем руки».

Не страшась жупела фантастичности, Ленин постоянно будит волю к творчеству, верит, что именно благодаря ей ты станешь участником таких свершений, с которыми не сравнится даже счастливая выдумка.

Глебу Максимилиановичу припомнилась мысль Белинского о том, что гений всегда новатор, всегда живет думами своего народа, приподнимает их до уровня, доступного всему человечеству. Загад плана электрификации — пример как раз такой гениальности.

«И еще: пожалуй, самая привлекательная для меня черта «Старика» — глубочайшая правдивость. Как бы горька ни была истина, не отступит, не покривит душой».

Многие товарищи упрекают Глеба Максимилиановича: зачем повесил рядом портреты Ленина и Льва Толстого? Но ведь обоих отличает щедрый дар простоты и проникновенности. Только Ленин — искатель правды и истины другого, гораздо более высокого порядка.

А глаза его!.. Ленинские глаза... Прав был Горький, когда сказал Глебу Максимилиановичу, что глаза Ленина — это глаза неутомимого борца против лжи и горя жизни. И действительно, они горят, прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, свер-

кая гневом. Действительно, блеск этих глаз делает речь его более жгучей и ясной. Иногда даже чудится, будто неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе.

Кржижановский легко мог представить Ленина в гневе, помнил, как он не устает предупреждать: «Мы слышим звуки одобренья не в сладком рокоте хвалы, а в диких криках озлобленья». Но собственную натуру Глеб Максимилианович не мог переделать. И не раз Ильич упрекал его в недопустимой мягкотелости, излишней доброте:

— Уважаемый Клэр! Когда у вас наконец появится настоящая злость? Заведите вы себе цепную собаку.

Таким обращением — «Клэр» — он как бы подкреплял свои доводы, напоминая минувшее: ссылку, времена Второго съезда партии, когда так убедительно проявилась вся справедливость советов быть жестче и решительнее.

Давным-давно, в Сибири, Глеб Максимилианович ранил зайца и убежал, чтоб не смотреть на его мучения, не слышать воплей. Подоспел Владимир Ильич, обругал за неуместное «мягкосердечие» и выстрелом добил зайца. Все это никак не мешало Кржижановскому считать, что еще более характерны для Ленина слова: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть» — и деятельная забота о товарищах, а порой о почти незнакомых людях.

По-настоящему крупный человек не боится быть самим собой. Говорят, якобинец Робеспьер весьма ревниво беспокоился о том, в чем показаться на улице. Карл Маркс однажды застал Луи Блана прихорашивающимся перед зеркалом и с тех пор перестал принимать его всерьез.

Сказать по совести, Глеб Максимилианович никогда не задумывался ни о чем подобном применительно к себе или Владимиру Ильичу. Одежда их всегда проста, скромна, опрятна, без тени претенциозности. Оба терпеть не могут фразерства, но высоко ценят меткое, емкое словцо, недаром под рукой у Кржижановского, так же как у Ленина, всегда словарь Даля.

«Без натуги, даже в самые критические моменты, оставайся самим собой — это лучшее, что ты можешь дать людям» — вот золотое правило всей их жизни.

Это Ленин своей практикой подает пример — не бояться окружить себя людьми яркими, талантливыми, любить их, радоваться их успехам, прощать им многое, чего не простил бы другим.

Когда кто-нибудь начинает при нем распространяться о личных недостатках того или иного работника, Владимир Ильич тут же прерывает всякую обывательщину:

— Расскажите лучше, какова политическая линия его поведения.

С каким воодушевлением, с какой заинтересованностью он рассказывал о своей поездке в Кашино! Об электрической станции, устроенной в обыкновенном сарае — в таком же, какие испокон веков ставят в наших селах виртуозы топора, о механике, проворном и смекалистом мужике, каких предостаточно «у нас на Руси», о запахе нефти, пророчески смешавшемся со смоляным духом свежерубленных бревен.

Зинаида Павловна принесла тарелку яблок. Тут же надкусив сочную, до лоска намытую антоновку, Ильич увлеченно продолжал:

— Рыков не верит в успех электрификации

России. Уэллс не может вообразить свет над Россией. А мужики из деревни Кашино верят в нас, верят в начатое нами. Это лучшая гарантия того, что наш план ГОЭЛРО будет не только выполнен, но выполнен раньше, чем мы предполагаем... Жаль, что вы не поехали.

— Да вот...— Кржижановский, как бы оправдываясь и прося извинения, обвел взглядом кабинет, заполоненный стопками газет, журналами, географическими картами, книгами — книги и журналы лежали и на письменном столе, и на подоконниках, и на полках, и даже на краю горшка неведомо как уцелевшей в столь суровые зимы бегонии.— День и ночь доводим, дорабатываем, словом, вовсю «рожаем» наше дитятко. Книжица получается в шестьсот семьдесят страниц с гаком. Вот вы только что вспомнили о пророческом запахе нефти в нашем селе, а сколько проблем еще надо решить, прежде чем ею там запахнет всерьез.

— По добыче нефти Россия занимала второе место в мире,— заметил Владимир Ильич, сосредоточенно припоминая данные и рассеянно отложив яблоко.— Мы уступали только Соединенным Штатам — давали на мировой рынок что-то, кажется, около восемнадцати процентов?

— Все это так, но наше довоенное нефтяное хозяйство — образец самого варварского, самого хищнического отношения к великому, если не величайшему, народному достоянию. Предприниматель бурил только к наиболее богатым пластам, чтобы воспользоваться сокровищами раньше конкурента. А иной раз еще и портил тому все дело. Как? Возьмет да напустит в скважину конкурента воды... Азарт и ажиотаж, бурение вслепую, без предварительной разведки... В общем, пропускали богатые

пласты, приводили в негодность целые месторождения!

— Все, конечно, окупалось за счет дешевизны рабочей силы и дороговизны нефти.

— Безусловно, Владимир Ильич. Борьба за нефть начинает оттеснять на задний план борьбу за уголь, и некоторые экономисты не без основания называют наше время эпохой нефти. В общем, добыча нефти в России была похожа скорее на лотерею или биржевую игру, чем на промысел. А чего стоила техника?

— Вы говорите «стоила», Глеб Максимилианович, как будто у нас есть сейчас другая техника.

— К сожалению! — Кржижановский вскочил со своего места.— В Северной Америке проходка скважины глубиной триста саженей занимает около двух недель и стоит около пятидесяти рублей за сажень. А в Баку — полтора — два года и примерно по тысяче рублей за сажень...

Глеб Максимилианович умолк: стоит ли продолжать? Ведь Владимиру Ильичу больно все это слышать. Но разве уйдешь от правды, как бы горька она ни была?

— Эх, Владимир Ильич!.. Продолжительность бурения и его дороговизна — это бы еще полбеды, если б мы по-хозяйски распорядились нефтью, добытой с таким трудом, с такой мукой. Большую часть «черного золота», как ее стали называть, мы сжигаем в топках паровых котлов. А между тем нефть прежде всего жизнь изумительных по совершенству двигателей внутреннего сгорания. Автомобили! Морские теплоходы! Речные суда! Дизели во всевозможных стационарных установках! На железных дорогах! Колоссальные успехи авиации! Тракторное дело!

— Да...— Ленин распрямился, выбросив на стол крепко сжатые кулаки.— Если бы дать кашинским мужикам трактор! — И мечтательно улыбнулся: — Если бы мы могли дать русским мужикам сто тысяч тракторов! Как вы думаете, сможем? Когда? Что для этого надо?

— В плане все это предусмотрено, Владимир Ильич. Надо соединить два чуда нашего века — нефть и электричество. Рамзин подсчитал: электрификация промыслов за счет той же самой нефти обойдется нам в двадцать миллионов довоенных рублей. А рыночная ценность продуктов, которые мы получим, улучшив добычу, использование и переработку нефти,— семьсот шестьдесят миллионов рублей в год!

— Фантастическая сумма,— понизив голос, произнес Ленин и поднялся.

— Сумма настолько грандиозна,— подхватил Кржижановский,— что, если продать за границу только часть продуктов, вырученной валютой можно покрыть громадные капиталовложения внутри страны — и на строительство нефтеперегонных заводов, и нефтепроводов, и тех же тракторных гигантов.

— Вот когда в Кашине всерьез запахнет нефтью...

За окнами, в которые по-прежнему постукивала ледяная крупка, лежала страна, где за нынешний год добыли четвертую часть необходимого угля, где из двухсот девяноста трех доменных печей работали девятнадцать, из восемнадцати тысяч паровозов «здоровых» оставалось лишь пять тысяч, остальные были «полубольные», «больные» или «кладбищенские», а хлопчатобумажные фабрики дали тканей меньше, чем по аршину на каждого жителя. За окнами лежал мир, где виднейшие политические

деятели, вожди могущественнейших партий и партий свергнутых, мудрейшие Ллойд-Джорджи и Милюковы, единодушно, как дважды два, доказывали:

— Хозяйственно Россия отброшена ко временам Петра и Екатерины.

— Россия перестала существовать. Это пустырь без человеческого жилья.

— Русского народа нет, это бессвязные массы, одичавшие, озлобленные, голодные, охваченные бесовским наваждением.

Бывший марксист Петр Струве то ли сокрушался, то ли злорадствовал, оглядываясь на родину из далекого изгнания:

— «Социализм, учит марксизм, требует роста производительных сил. Социализм, учит опыт русской революции, несовместим с ростом производительных сил, более того, он означает их упадок.

Все это подтверждал ученейший социалист Запада Карл Каутский:

— Россия сейчас много дальше от социализма, чем она была до войны.— И «мило» шутил по поводу Октябрьской революции: — Операция удалась блестяще — пациент умер.

Как и в прошлую зиму, с наступлением темноты в городах России прекращалось трамвайное движение. Толпы коченеющих людей разносили на дрова рудничные эстакады Кривого Рога, во все стороны от промышленных центров ползли поезда, переполненные голодом и тифом.

А в квартире номер четыре дома тридцать по Садовнической улице два человека, разложив на столе перед собой карту, видели, как там и тут пролегают нефтепроводы, как растекается во все уголки родной земли жизнетворящая сила, как выходят на просторы сто тысяч тракторов.

Оба знали прекрасно, что дать деревне сто тысяч первоклассных тракторов, снабдить их бензином, посадить за штурвалы обученных машинистов — пока фантазия.

Но есть фантазия — и фантазия.

Перед ними на том же столе, еще разрозненные, не сшитые, лежали листы первого государственного плана первой социалистической республики.

А что такое план?

Ключ от будущего. Возможность предвидеть его, предсказать, приблизить, управлять им.

Они стояли вместе, рядом, касаясь плечом плеча друг друга, у начал нового, небывалого будущего своей родины. Они не говорили друг другу, что счастливы сознавать это, знать это наверняка. Да и зачем? Стоило ли говорить? Они наперебой выкладывали, ставили друг перед другом проблему за проблемой из тех, что еще не решены человечеством, но будут, обязательно будут решены здесь у них — у нас! — в стране.

— Вы понимаете, Владимир Ильич, силами самой же электрификации создается прочный базис для ее осуществления!

— А вспомните, Глеб Максимилианович, что пишет Либкнехт о своем разговоре с Марксом в восемьсот пятидесятом году!

— Что именно вы подразумеваете?

— Как Маркс издевался над победоносной реакцией в Европе, которая воображает, будто революция задушена, и не догадывается, что естествознание подготавливает новую революцию.

— Да, да, да! Помнится, Маркс тогда с необычайным воодушевлением рассказал Либкнехту об электровозе. Нет, конечно, еще и слова такого в обиходе не было. Но Маркс рассказывал, что несколь-

ко дней назад на Риджент-стрит он видел выставленную модель электрической машины, которая везла поезд.

Глеб Максимилианович умолк, припоминая, что Маркс тут же заметил: «Последствия этого факта не поддаются учету. Необходимым следствием экономической революции будет революция политическая». Вот в чем суть! Вот где главное! Конечно, он не собирался пояснять все это Ленину — смешно было бы с его стороны... Он заговорил о другом:

— А перспектива высвобождения и использования энергии атомного ядра?! Вы знаете, Владимир Ильич, ведутся опыты, из которых видно, что в одной капле воды энергии на целый год работы двигателя в пятьдесят лошадиных сил! Век пара — век капитализма, век электричества — век социализма, а век использования внутриатомной энергии — век развернутого коммунизма...

— Горизонты...— задумался Ленин.— Чем ближе подходишь, тем дальше отодвигаются... Теория, даже самая верная, самая многообещающая, се́ра, но зелено вечное дерево жизни, и всякий шаг практического движения важнее дюжины программ.— Он кивнул на листы плана, которые Глеб Максимилианович снова собирал в аккуратную стопку: — Вот шаг. Ша-жи-ще! Пусть трубят во все дудки, пусть звонят со всех колоколен паникеры и маловеры, мещане из социалистов и социалисты из мещан — пусть! Мы знаем, что любой оппортунизм в том и состоит, чтобы жертвовать коренными интересами, выгадывая временные, частичные выгоды. Но мы-то хотим выгадать будущее — и ни на копейку меньше!.. Я думаю, мы уже держим его в руках.— Владимир Ильич положил ладонь на ладонь друга, лежавшую на стопке листов и крепко стиснул ее.

Прощаясь, он, как бы между прочим, сказал:

— Если вам будет трудно и скверно, вспомните: мы еще не сделали главного. Мы должны дать пример, который бы не убеждал словами, а показывал на деле всей громадной массе крестьян, и мелкобуржуазным элементам, и отсталым странам, что коммунизм может быть построен пролетариатом...

Пропустив его в дверь, Глеб Максимилианович предусмотрительно выключил свет в кабинете и, отвечая на недоуменный взгляд Ленина, пояснил:

— На этом ведь можно что-то построить...

В переднюю вышла и Зинаида Павловна.

Проводив Ленина, Кржижановские вернулись в кабинет, подошли к окну.

Глеб Максимилианович прислушался к удалявшемуся по Садовникам рокоту «роллс-ройса», положил руку на плечо жены, и так, молча, они стояли, вглядываясь во тьму ночи.

— О чем ты думаешь? — спросила наконец Зинаида Павловна.

— Неспокойно... План уже готов, но его должен принять съезд Советов, а там, я уверен, далеко не все будут настроены так, как Ленин.

— Ну, уж это самой собой. Как водится.

— Доклад надо закончить. Ты представляешь, что такое доклад об электрификации России съезду Советов?!

Да, она хорошо представляла. Она всегда была товарищем и помощником. И когда, как всякому в жизни, Глебу Максимилиановичу выпадало самое горькое испытание — одиночеством, он все же не оставался одиноким. Рядом с ним, вместе с ним работала Зина. Не случайно на своей фотографии он написал ей, назвав ее не по имени, а литературным

 псевдонимом: «Волжанскому — жизненному центру

моего существа». И это вполне соответствовало действительности.

Даже все свои статьи, все выступления он «испытывал на жене». Диктовал Маше Чашниковой с выражением, словно перед многотысячной аудиторией, расхаживал из угла в угол. «Отбегает» таким манером лист и несет к жене, ворчит еще, если она лежит больная,— понятно, шутливо:

— У меня ответственное выступление, а ты хворать надумала...

Зинаида Павловна весьма и весьма образована, начитана, очень любознательна. Глеб Максимилианович знает, что она могла стать еще более заметным деятелем партии и настоящий подвиг совершила, посвятив большую часть своего «я» мужу.

Если Глеб Максимилианович при первой же встрече обрушивает на человека весь арсенал, весь блеск своей эрудиции, то Зинаида Павловна больше любит послушать, вызвать собеседника на откровенность. И если в Глеба Максимилиановича, по словам товарищей, они влюблялись, то к Зинаиде Павловне относились с уважением.

Зина — человек сильной воли, на «ты» с Надеждой Константиновной Крупской, вместе трудятся на ниве Наркомпроса... Ленин даже в эмиграции постоянно спрашивал приезжавших из России: «Как там «Булочка»?»

— Ты счастлива, Зина? — вдруг спросил Глеб Максимилианович.

— ?..

— Ты ни о чем не жалеешь?

— О чем жалеть, если сбываются наши мечты — мечты нашей юности?

— Ты знаешь, у геологов есть любопытный тер-

мин: «процент удачи». Что, если применить его к нашей с тобой жизни, а?

— Давай попробуем.

— Мне иногда кажется, что я — кляча: везу, везу, и в слякоть, и в зной, а конца дороги не видно, и самой дороги подчас не видно. Кажется, не дотянешь, ни за что не дотянешь, упадешь.

— Полно, Глебаська! — Успокоила она.— Ты же у меня молодчина! — И пошутила, конечно, но так, чтобы можно было подумать — в каждой шутке есть доля правды: — Ты же у меня пионер! Пионер, который прокладывает дороги в обетованную землю — правда, уже завоеванную, но еще не обжитую...

— Спасибо...— также полушутя, полусерьезно поблагодарил он, привлек ее, обнял: — Смех смехом, а вся наша жизнь, от начала до сего дня и от сего дня до конца,— полоса бесконечных работ, переделывающих и землю и самих людей.

— Это и хорошо! Вот это и есть счастье! — опять засмеялась Зинаида Павловна.— Сто процентов удачи.

Глеб Максимилианович написал свой доклад и отнес его Ленину. Они условились, что, когда Владимир Ильич прочтет, он тут же позвонит и скажет: «Вышло» или «Не вышло».

Вернувшись домой, Кржижановский волновался. Ему вдруг представилось, что и доклад и весь план вообще —вся работа ГОЭЛРО — ничто в сравнении с действительностью, с возможностями страны.

В самом деле, вот хотя бы идея Северного морского пути... Как она преломляется в плане? Сказать, что никак, неверно, нельзя. Но мало, мало ею

 занимались. А ведь если по-настоящему использо-



вать водный путь по северным морям, Оби и Иртышу, то сибирский хлеб будет у нас под рукой, там же еще лежат довоенные запасы, которые не на чем вывезти! А лес? Возить не перевозить, и для себя и на экспорт — для обмена, для той же электрификации...

Еще в ссылке он слышал об этом сибирском «окне в Европу». Тогда англичане вывозили хлеб из Барнаула в Лондон на пароходах. Их пароходы перед войной и во время войны приходили к устью Енисея и возвращались домой за одну навигацию...

Или вот еще проблема: академик Книпович Николай Михайлович, глава русской школы ихтиологов, организатор научно-промыслового дела и исследования морей, сотрудничающий с питерской группой ГОЭЛРО, говорит, что океан может прокормить нас, его дары способны занять внушительное место на нашем столе, где теперь столь блистательно отсутствует мясо. А мы пока что собираемся взять у мирового океана ничтожную часть сокровищ...

Он ходил по комнате, пробовал присесть — написать Винтеру в Шатуру, но тут же вскакивал и опять ходил, ходил из угла в угол, словно в прострации. Никого не принимал. Поглядывал на телефон. Доставал часы. Ругал себя: «Шестьдесят семь минут прошло! Разве можно прочесть такой доклад за это время?!»

Старался представить Ленина — читает он сейчас или нет? Что, если не читает?.. Сколько еще ждать? С ума сойдешь!

Внезапно, словно откуда-то со стороны набежала мысль: что такое прекрасное? Чернышевский говорил — сама жизнь... Прекрасен тот, кто олицетворяет собой беспредельную возможность жизни, двигает ее вперед, к высшим достижениям...

«К чему это я все?..» Опять посмотрел на телефон, подошел к нему, проверил, хорошо ли опущен рычаг.

Его позвали ужинать, но он отказался: боялся отойти от телефона.

Снова нервничал, перебирал в памяти пленарные заседания — всю работу Комиссии: что упустили, какие ошибки, огрехи, недоделки.

Все-таки, что там ни толкуй, гору дел перелопатили — го-ру! И социальный аспект работы учитывали и политический — электричество как орудие в борьбе с капитализмом... И тот экономический район, и другой, и третий... Условия, возможности, перспективы. И промышленность, и транспорт, и сельское хозяйство...

Особенно он теперь беспокоился о разделе, посвященном аграрным проблемам. Ленин — большой их знаток, а для Кржижановского этот раздел как раз оказался самым трудным.

Попутно вспомнилось, как на одном из заседаний, возражая Рамзину, Глеб Максимилианович выдвинул идею «централизованного отопления» — теплофикации с использованием пара на производство энергии.

По признанию крупнейших специалистов, отнюдь не щедрых на похвалы, да и самого Рамзина в том числе, теплофикация была не такой уж плохой придумкой. Отработавшего пара уйма на каждой станции, и большая часть его уходила да и сейчас уходит в трубу — и в прямом смысле и фигурально. А вот если построить специальные станции?.. Пусть они дают энергию всему району и тепло — близлежащим городам!

Он стал обдумывать в деталях проект такой станции — «теплоцентрали» — для начала примени-

тельно хотя бы к Москве и Питеру. Углубился в расчеты, набрасывая на листке перед собою каскады цифр.

Когда тишину кабинета раздробил звонок, Глеб Максимилианович вздрогнул от неожиданности и не сразу сообразил, что надо делать. Наконец схватил трубку, прижал к уху:

— Да, да! Слушаю.

Трубка не ответила ни «алло», ни «здравствуйте» — вдохнула и тут же выдохнула голосом Ильича:

— Вышло.

Да здравствует труд и разум!

Двадцать второе — двадцать третье декабря тысяча девятьсот двадцатого года...

Эти дни дадут начало летосчислению нашей мощи. Они станут рубежом между убогой бессильной матушкой-Россией и родиной Днепрогэсов, Пятилеток, Спутников. Возможно, эти дни будут праздновать в ряду рождений армии и флота, годовщин побед и созидания.

Все это будет, все это впереди, а пока... Колючий ветер порошит гривы коней, вздыбленных над порталом, наметает сугробы поперек площади.

Непрерывным потоком спешат к Большому театру делегаты Восьмого Всероссийского съезда Советов. К десяти часам утра и вестибюль, и коридоры, и лестницы уже переполнены, однако заседание не открывают. В киосках делегаты получают газеты, печатные материалы с отчетами о работе народных комиссаров, народных комиссариатов...

Пробившись через фойе, Глеб Максимилианович сразу обращает внимание на группу людей в шинелях, бушлатах, кожанках, сгрудившихся у дверей. Раскрыв тяжелый — еще бы: шестьсот семьдесят две страницы! — том, рыжий бородач водит заскорузлым, побуревшим от махорки пальцем по строкам, шевелит губами:

— «...Э-лек-три-фи-ка-ция Рос-си-и...»

Статная девушка в заячьей ушанке, кокетливо сдвинутой на затылок,— так, чтобы видны были старательно завитые локоны,— то ли ткачиха, то ли вагоновожатая, и коренастый плотный крепыш в путейской поддевке — наверняка паровозный кочегар — подталкивают чтеца, нетерпеливо торопят.

Да и как же тут утерпеть, когда вчера, докладывая о работе Совнаркома, Ленин ходил по сцене с этой книгой, называл ее второй программой партии, говорил торжественно:

— Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны.

Все это прозвучало как сенсация, стало открытием, сделанным здесь, в зале Большого театра.

Ленин не скрывал, не замалчивал и то, что мы слабее, чем капитализм, не только в мировом масштабе, но и внутри страны. Поэтому:

— Самая лучшая политика отныне — поменьше политики. Двигайте больше инженеров и агрономов, у них учитесь, их работу проверяйте, превращайте съезды и совещания не в органы митингования, а в органы проверки хозяйственных успехов, в органы, где мы могли бы настоящим образом учиться хозяйственному строительству.

Большинство делегатов ответило на эти слова громом аплодисментов, но были вокруг — рядом с Глебом Максимилиановичем — и те, кому, казалось бы, яс-

ная, здоровая и дельная мысль Ильича пришлась не по душе. Они восприняли ее как выпад против них, как ущемление их достоинства, были шокированы.

— Как же так? — переглядываясь, говорили подобные «сверхреволюционеры».— Мы кровь проливали, штурмовали буржуазию, завоевывали Советскую власть, а теперь какие-то инженеры будут командовать! Какая-то профессорская книжка — вторая программа партии? За что боролись?..

Теперь, в такой обстановке, предстояло выступать инженеру Кржижановскому. Усаживаясь среди товарищей по работе в Комиссии, он успевает заметить неподалеку округлого пружинистого Федора Дана в неизменном облачении военного врача.

«Что такое? — морщится Глеб Максимилианович и тут же спохватывается: ведь среди делегатов, кроме «сверхреволюционеров», есть еще меньшевики, эсеры, анархисты.— Федор Дан... Все равно как если бы Мартов пришел сюда — тот самый Мартов, который только недавно оставил пределы любезного отечества, но уже успел помочь его врагам, выступив с антисоветской речью на съезде германских независимых. Недаром лондонская «Таймс» назвала вождя русских меньшевиков «высокопочтенным революционером».

Глеб Максимилианович оборачивается и с волнением вглядывается в лица людей, рассаживающихся в красных бархатных рядах партера.

Вспоминаются прежние съезды Советов. Тогда главную роль играл центр — вожди. Массы мало чем себя проявляли, каждый помнил: Краснов, Колчак, Деникин — у ворот, и съезд должен действовать, как артиллерийская батарея.

Первое ощущение от нынешнего съезда — надежда на решительный поворот, ожидание коренного начала чего-то главного, нужного, неповторимого.

Кажется, весь трудовой люд России облачился в шинели и бушлаты, прожженные у походных костров, в материнские кацавейки и зипуны, потерявшие цвет от снегов, дождей и солнца, в трофейные бекеши лихих конников, полушубки волостных исполкомовцев и продовольственных комиссаров, простреленные махновскими пулями, в аккуратно залатанные робы горновых, молотобойцев, углекопов — облачился во все это, собрала сюда и размышляет о том, как лучше построить свой новый дом.

Особенно заметно это стало вчера, когда Ленин заговорил как раз об инженерах и агрономах. Тут же зашумели, заколыхались, заходили ходуном массы людей в партере, ложах, амфитеатре, на галерках — никто из делегатов не остался равнодушным.

«Да, это так, это хорошо,— старался успокоить себя Глеб Максимилианович.— Но все же. Все же...»

Никогда еще он не волновался так — даже в молодости, впервые стоя перед судом. Если хотите, он и теперь должен предстать перед судом, только судить будут не его самого, а главный труд его жизни, его детище — мечту.

Над столом президиума, мягко освещенным огнями рампы, поднялся Михаил Иванович Калинин, потряс колокольчиком, объявил заседание открытым.

В порядке дня — доклад инженера Кржижановского об электрификации России, но прежде, чем Глеб Максимилианович начнет говорить, делегаты должны выслушать прения по вчерашнему докладу Ленина.

Прямо против Глеба Максимилиановича и Зинаиды Павловны, сидящих локоть в локоть, на трибуне, обтянутой кумачом, возникает Дан.

По залу пробегает волна сдержанного смеха, кое-где раздается посвистывание.

Но:

— Тише! Тише, товарищи! Надо выслушать любое мнение.

Начинает Дан с жалобы: слишком мало времени ему отведено, а сказать есть что: Ленин здесь вчера призывал заниматься поменьше политикой и побольше строительством. Ленина занимают электрические лампочки! Но Дана и его товарищей — истинных социал-демократов! — это не интересует. Это все мелочи и подробности. Главное — в политике...

«Поехали!» — досадует Глеб Максимилианович, многозначительно глянув на Зинаиду Павловну.

Меньшевик на трибуне... Живой, настоящий!

Он осуждает председателя Совета Народных Комиссаров, а сбоку за столом президиума сидит Ленин. И выступление Дана интересует Глеба Максимилиановича главным образом своей картинностью — тем, как он воздевает руки, потрясает ими, закатывает глаза, как ставит ударение на обычном слове, и любое обычное слово делается страшным, превращается в опасность, угрозу.

Все, что скажет Дан, Глеб Максимилианович знает наперед:

— ...Полоса новых войн, господство принуждения — согласитесь, товарищи, что это не такие вопросы, по которым агрономы и инженеры могут сказать свое веское и решающее слово... и согласитесь также, что разрешение этих основных вопросов... зависит не от того, много или мало у нас будет электрических лампочек...— В течение положенных пятнадцати плюс десять, да еще добавили десять минут, Дан успевает потыкать пальцем во все прорехи, сунуть нос во все щели Советской России, почти дословно повторяет известные выпады Мартова.

С питерских марксистских кружков знает Федора Дана Глеб Максимилианович Кржижановский. От Второго съезда партии, через всю их сознательную жизнь сплошным водоразделом проходит одна и та же борьба двух противоположных, взаимно исключающих друг друга полюсов. Если Ленин говорит — белое, Дан и Мартов — черное, Ленин — идемте тушить пожар, Дан и Мартов — пусть как следует разгорится. И сейчас — через столько лет! — Дан стоит около Владимира Ильича, как дух невозвратимого прошлого, как зов назад.

После Дана слово представителю меньшинства партии социалистов-революционеров товарищу Вольскому.

Съезд долго ждет. Из последних рядов пробирается мрачная фигура.

— Неужели тот самый Вольский? — Зинаида Павловна наклоняется к мужу.

Да, как ни странно, тот самый: социалист-революционер, известный тем, что два года назад в Самаре он был председателем Комитета членов учредительного собрания — печально знаменитого «Комуча», установившего свою власть в Поволжье и Приуралье с помощью террора белочехов, а потом подготовившего приход Колчака.

Теперь Владимир Казимирович Вольский — в группе, издающей журнал «Народ», осудившей кровавые шалости социалистов-революционеров.

Размеренным, неторопливым шагом человека, безусловно уверенного в том, что абсолютная истина доводится родной сестрой ему одному, он выходит на сцену, подчеркнуто спокойно марширует перед президиумом.

— Вот наглец! — негодует Глеб Максимилианович.

Вольский останавливается у трибуны, невозмутимо кладет портфель и... начинает раздеваться! Демонстративно снимает шапку, вылезает из пальто, бережно его складывает.

— Сейчас портянки развесит сушить!.. Нет! Я его осажу!

— Тсс-с! — Зинаида Павловна опять склоняется к мужу и, как бы удерживая его, сжимает руку.

— Нет! До чего же любит российский «вольнодумец» покривляться, попредставлять на людях Петрушку!..— Приподнявшись, Глеб Максимилианович громко, на весь зал, произносит: — Товарищ Вольский!..

— Что? — вскидывается тот.

— Как поживает Колчак?

Это сразу вышибает Вольского из медлительной спеси. Он трясет кулаками и, должно быть, бранится, но слов его не слышно. Весь съезд смеется: смеется президиум — Ленин, Калинин, Петровский, Орджоникидзе, Ворошилов, Гусев, Сталин... Смеются сидящие в зале Александров, Графтио, Шателен, Угримов... Смеется Маша Чашникова, тоже не обойденная приглашением на съезд — воссевшая где-то на галерке.

Пока Вольский в обычной для эсеров манере, с лихвой восполняя недостаток аргументов пафосом, распинается о народе, равенстве, трудовластии, Глеб Максимилианович задумывается:

«Нет, Дан и Вольский не комические фигуры — отнюдь! Скорее, трагические. Как знаменательно складываются судьбы трех основных течений в российском социализме: большевиков, меньшевиков, эсеров. Лидеры всех трех выступили здесь. И что же? С чем обращаются они к стране, которая, можно сказать, вместилась сейчас в зал Большого театра?»

Все те же, двадцатилетней давности, придыхания, всхлипывания, мольбы меньшевиков об отвлеченной, неосязаемой благодати, неведомо как и почему имеющей снизойти на голых и голодных граждан республики, стоит им лишь отрешиться от бесовского соблазна большевизма — признать нашу некультурность и пойти на выучку к капитализму. Все та же эмоциональность, а вернее бы сказать, истеричность, взбалмошность эсеров, шараханье из одной крайности в другую, прекраснодушие маниловых, на совести которых кровь тысяч сограждан, загубленных в братоубийственной войне.

Ну как не вспомнить разделение людей на два типа — плакальщиков и деятелей?!

А ведь Дан и Вольский в юности тоже мечтали о счастье народа, и, казалось, не было для них более высокого идеала, блага, более высокого мерила поступков. «Суждены нам благие порывы, но свершить...» Известный, слишком хорошо известный сорт людей! Покажите им только что отстроенный, сверкающий мрамором и зеркальным стеклом дом, и они тут же начнут вздыхать: леса не убраны, перил нет на лестницах, на седьмом этаже кран открыт и вода хлещет.

Пустозвоны!

Что предлагаете голому и голодному соотечественнику? Что выставляете перед ним против нашего плана — против мечты Ильича, его дерзкого и всегда определенно-действенного чаяния о возрождении истерзанной Родины?

Нет уж! Не посетуйте, не взыщите, «товарищи»-господа, что заключительное слово Ленина звучит, как отповедь, как приговор:

— ...Партии меньшевиков и эсеров... представляют такую группировку разношерстных частей, та-

кой постоянный переход одной части к другой, который делает из них вольных или невольных, сознательных или бессознательных пособников международного империализма... Ни меньшевики, ни эсеры не говорят: «Вот нужда, вот нищета крестьян и рабочих, а вот путь, как выйти из этой нищеты». Нет, этого они не говорят...

«Какое счастье, что я пошел за ним, с ним, еще тогда, в юности, и на всю жизнь!» — Глеб Максимилианович приосанивается, поднимает голову, с гордостью смотрит на Ильича, энергично расхаживающего по сцене.

Приходит на память недавний спор с ученым знатоком по поводу одного высказывания Ильича.

— Ленин этого не говорил! — решительно утверждал тот «знаток».

— Вам не говорил, а мне говорил,— спокойно возразил ему Глеб Максимилианович.

Или вот еще диалог с сотрудником парткомиссии Замоскворецкого райкома:

— С какого года вы в партии, товарищ Кржижановский?

— С тысяча восемьсот девяносто третьего.

— Но тогда же и партии еще не было!

— Для кого еще не было, а для кого уже и была...

Глеб Максимилианович не спускает взгляд с Ильича, продолжающего заключительное выступление по отчетному докладу Совнаркома, улыбается про себя: «Знай наших!» С вызовом наклоняет голову, точно собирается забодать всех противников и недоброжелателей...

Наконец Михаил Иванович Калинин объявляет:

— Слово для доклада имеет товарищ Кржижановский.

Зина напутствует взглядом, желает удачи. Помня,

какое впечатление произвел Вольский, в пику ему, Глеб Максимилианович держится правил приличия и хорошего тона — проходит позади президиума,— успевает поймать взгляд Ильича, поднимается на трибуну, с которой только что выступал Ленин.

Снизу доверху в пятиярусном зале висит туман от дыхания двух тысяч людей. В свете сотен мутновато мерцающих лампочек не различишь их лица, но там, среди них, было тепло, а здесь — холодно, ох как холодно, словно в леднике.

Он все же снимает малахай и прячет куда-то вниз, не то на полку, не то на табуретку.

«Дойдет ли все, что собираюсь сказать, до людей, которым сегодня вместо хлеба выдано по горсти овса?.. Говорят: что общего между революцией и электрификацией?.. Вероятно, через десять — двадцать лет такое опасение покажется дикостью, но сейчас оно приходит в умные, очень умные головы, высказывается в газетах. И неизменно рядом с ним возникает слово «утопия».

«Товарищи!» — хочет начать Глеб Максимилианович, но ведь здесь, перед ним, не только товарищи. Недаром Ленин, возражая Дану, называл его «гражданином». Но обратиться так ко всему съезду — значит обидеть большинство делегатов...

Он начинает прямо, без обращения:

— Передо мной стоит чрезвычайно трудная задача — в краткий предоставленный мне срок развить громадную тему электрификации нашей страны.

Он говорит тихо: сказываются переутомление, бессонные ночи накануне съезда. Посматривает в сторону Владимира Ильича. Воодушевляет себя:

«Не бойся! Не бойся прослыть утопистом. Без утопистов, придумавших молот и колесо, люди так и остались бы несчастными «голяками» в пещерах.

Это утописты проложили улицы первого города. Из их дерзких мечтаний родились благодетельные реальности».

Вперед, Глеб Кржижановский! Техник должен быть борцом.

— ...Нам приходится спешно заняться основными вопросами хозяйства великой страны в очень трудное и очень сложное по переплетающимся в нем событиям время. Оно может быть охарактеризовано как переходное время от частнохозяйственного строя, строя капиталистического, к хозяйству планомерно-обобществленному, социалистическому.

«Да, да, гражданин Дан! Как бы вы ни морщились, как бы ни вперяли в меня огнедышащий взор, ни сбивали, пуская в ход гримасничанье, притоптывание и прочие кульбиты из арсенала испытанных мастеров обструкции. Именно так. И только так».

— ...Благодаря электричеству является возможным подход к такому овладению силами природы, к созданию таких могучих производственных центров, которые уже не мирятся с частной собственностью. Там, где идет вопрос о том, чтобы громадные реки заковать в каменные одежды и построить такие станции, которые будут влиять на жизнь целых районов страны, где дело идет о хозяйственном объединении этих районов в целостное народное хозяйство,— там территориальная собственническая грань не может не мешать.

— ...страна, стряхнувшая гнет частной собственности, получает возможность свободного подхода к источникам природной энергии и может не считаться в своих проектах и планах с прихотливой игрой частных интересов. Ошибочно и, более того, преступно было бы не использовать это наше преимущество.

— ...Нам противостоят противники, вооруженные всеми атрибутами сильно развитого капиталистического хозяйства. Совершенно ясно, что и в экономической борьбе нам надо быть вооруженными тем же оружием, каким вооружены они. При этом было бы крайне опасно переоценить элемент так называемой живой силы, рассчитывать на то, что масса трудового населения в нашей громадной стране может победить, опираясь лишь на свою численность. Вспомним, что Америка в своих механических двигателях располагает мощностью в сто тридцать миллионов лошадиных сил, тогда как мощность наших двигателей в довоенное время не превосходила тринадцати миллионов лошадиных сил. В переводе на мускульную силу человека приходится каждую лошадиную силу множить на десять, то есть Америка в своих двигателях как бы располагает армией в миллиард триста миллионов человек...

Он говорил уже громко, высоким, чуть звенящим голосом,— о том, как электрификация поднимет производительность труда и взрастит промышленность, о расцвете сельского хозяйства, о возрождении транспорта, дружного с такой замечательной штукой, как электровоз, о безграничности наших богатств и возможностей: черноземы Кубани, Поволжья, таежный лес, уголь Донбасса, уголь Сибири, «белый уголь», разлитый повсюду, «черное золото» — нефть — сокровище подороже настоящего золота! Все твое, все наше, приложи только руки.

Перед ним в полутемном зазябшем зале сидели люди, видавшие, как добровольцы Булак-Балаховича обматывают колючей проволокой голого старика, а потом катают его по улице деревни, и он сходит с ума; люди, слыхавшие, как в облитом керосином и подожженном бунте потрескивает пшеничное зерно,

наполняя удушливо-сытным чадом голодающую округу; люди, знавшие, как ноют пальцы на недавно ампутированной руке.

Все они сидели перед ним, напряженно притихнув,— жадно слушали его.

Там, среди них, сидела Зина и тоже внимательно, очень внимательно слушала его, точно он не читал ей по десять раз каждую главу, не обсуждал с ней каждый абзац своего доклада.

Товарищи из президиума повернулись к нему, подались вперед, как бы стараясь быть поближе. Сталин, стиснув карандаш, подпер кулаком усы. Калинин выпустил колокольчик, сцепил пальцы — рука с рукой. Ворошилов, Гусев, Петровский, Орджоникидзе буквально ловили каждое слово докладчика.

Ленин энергично чиркал по листку для заметок и, ободряя, поглядывал на Глеба Максимилиановича.

Та особая серьезность, с которой он записывал и слушал, для делегатов была, наверно, лучшим свидетельством того, что задумано стоящее дело и оно будет двинуто с той же настойчивостью, так же победоносно, как разгром нашествия капиталистов всего мира.

Глеб Максимилианович достал свои неотлучные «мозер», щелкнул серебряной крышкой: отведенное время уже истекло, но никто не напоминал ему об этом, никто не перебивал его.

Он взял тяжелый биллиардный кий, прислоненный к трибуне, и двинулся в глубь сцены — туда, где с кулисных колосников спускалась громадная карта европейской части страны, а рядом с ней, за пультом стоял наготове инженер Михаил Алексеевич Смирнов. На карте красными кругами были обозначены проектируемые станции, синими — уже действующие.

Вот так же в прошлом году здесь, на этой самой

сцене, стоял главнокомандующий красными армиями Сергей Сергеевич Каменев и показывал делегатам Седьмого съезда Советов карту с фронтами гражданской войны. Теперь главком инженеров и агрономов развернул совсем, совсем иную карту. Сходство с прежней у нее оставалось лишь в названиях узловых пунктов.

Чего, каких трудов стоил этот практический — даже не шаг — шажок в деле электрификации: ее карта! Окончательный список станций, которые нужно строить, приняли ровно месяц назад — на заседании ГОЭЛРО двадцать третьего ноября.

Экономист и видный инженер Евгений Яковлевич Шульгин, слывший у работников Комиссии «живой энциклопедией», вооружился цветными карандашами и засел за карту. Вот на ней уже все двадцать семь задуманных для европейской части станций, линии электропередач, штриховка районов, которые должны ожить...

Карту несут к Ленину.

— Что же вы не провели эти линии дальше? — вырывается у Ильича.

Он тут же смущается: знает, что есть технический предел, и словно оправдывается:

— Так хотелось бы дальше... Дальше! Чтоб заштриховать все, буквально все — сплошь! Чтоб ни единого белого пятна. Но... Что поделаешь?.. Только давайте если делать, так уже делать по-настоящему, с размахом, ярко, внушительно — чтоб каждый понял, почувствовал, представил: и его Гореловка, его Нееловка, Неурожайка освещается, поднимается к жизни, попадает в сферу новой цивилизации.

Как трудно раздобыть в Москве, опустошенной семью годами войны, обычные вещи, материалы.
 Требуется вмешательство председателя Совета На-

родных Комиссаров. Но и холст, и гуашь, и кисти получены.

До открытия съезда остается четыре дня, а комендант Большого театра не пускает в удобные мастерские, где обычно делают декорации. И сейчас же предписание ретивому коменданту:

— Предлагаю не препятствовать и не прекращать работ художника Родионова, инженера Смирнова и монтеров, приготовляющих по моему заданию... карты по электрификации...

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин).

Чтобы на грандиозной карте по-настоящему вспыхнули сигналы-маяки, нужен настоящий накал, а где его нынче взять?.. На время доклада товарища Кржижановского решено отключить центр города, в том числе и Кремль,— направить всю энергию в Большой театр.

В общем, понятно, не такая уж разительная, но победа. Обнадеживающая, многообещающая, знаменательная. От нее Глебу Максимилиановичу стало как будто теплее. Покосившись в ту сторону, где сидела его Зина, он крепче сжал кий и уверенно подступил к освещенному холсту.

Невысокий, в оленьей дохе, без шапки, он стоял у своей карты, кивком подавал знаки Смирнову, и одну за другой называл станции, которые будут.

Будут!

Тень от его откинутых с широкого чистого лба волос перекрывала Черное море, Таврию, захватывала Донецкий бассейн.

Он дотронулся кием до красного круга с номером три — и сейчас же из центра его, возле Александровска на Днепре ударил фонтан света — ударил

так, что заиграло, затеплилось давно не чищенное золото ярусов.

Отчетливо обозначились, как будто приблизились, лица делегатов: то изможденные, то пышущие здоровьем, невзирая ни на что, то пожилые, то юные, но все одинаково напряженные. Впервые услышанные слова «гидроэлектрическая станция», «нефтепровод», «сверхмагистраль» зажигали четыре тысячи глаз — две тысячи душ — точно так же, как «Даешь Перекоп!», «Даешь Варшаву!», «...Каховку!».

Глеб Максимилианович уже не доклад продолжает, а беседует с друзьями, среди которых почему-то все время всплывает лицо тети Нади из далекого детства.

Эх, видела бы мама!.. Вот возмездие за ее унижения, муки, нужду — оправдание загубленной, вдовьей молодости, ссылки, поделенной с сыном, и еще многого, многого другого — разве все вспомнишь?

В зале нет прежней тишины: партер, ложи, ярусы,— все переполнено сочувствием, нетерпением. И хотя на протяжении доклада, уже длящегося два с половиной часа, Ленин не назван, все обращено к нему. Все прекрасно понимают, что электрификация страны — это прежде всего Ленин, сидящий неподалеку от того места, где работает кием-указкой главком инженеров и агрономов,— Ленин, стоящий сейчас здесь, вместе с ним, вместе с ними, у начала будущего — в самом начале его.

Без малого три часа говорит инженер Кржижановский — без малого три часа внимания отдают ему делегаты. Ведь это о них, обо всех — об их товарищах, отцах, детях — он думает вслух, возвратясь на трибуну.

— ...В период империалистической войны у нас было мобилизовано и оторвано от мирного труда...

пятнадцать миллионов человек. Но если наши электрические станции будут работать не в течение восьми часов в сутки, как это нормировано для трудящихся в Советской России, а по меньшей мере шестнадцать часов, то их действие уже равносильно работе тридцатимиллионной армии.

Таким образом мы будем лечить ужасные раны войны. Нам не вернуть наших погибших братьев, и им не придется воспользоваться благами электрической энергии. Но да послужит нам утешением, что эти жертвы не напрасны, что мы переживаем такие великие дни, в которые люди проходят, как тени, но дела этих людей остаются, как скалы.

Сидевшая на верхотуре в зимнем пальто, в валенках Маша Чашникова встрепенулась — со всех сторон точно раскаты грома:

Весь мир насилья мы разрушим...

Огляделась: кругом, на ярусах, в зале полумрак, а там, впереди, внизу, во всю сцену озарена карта — и на ней двадцать семь ослепительно-мощных маяков.

Небывалый даже для Большого театра хор, как один голос:

Мы наш, мы новый мир построим.

Пусть это не покажется странным, но после доклада, после восторженного приема делегатами Глеб Максимилианович сходил с кафедры очень недовольный собой — будто не выполнил задачу, не сказал и малой доли того, что должен был сказать.

Одобряющая улыбка Ленина и дружеские похвалы Калинина, Орджоникидзе, Петровского несколько успокоили его. К ним, в президиум накидали

столько записок, что съезд постановил устроить специальное совещание для всех делегатов, интересующихся электрификацией. Там товарищ Кржижановский даст подробные разъяснения.

Со съезда Глеб Максимилианович уходил вместе с Лениным. Уже в дверях, из группы собравшихся возле Дана послышались голоса:

— Еще новость! Спецы уж теперь и на съезд Советов пролезли...

— Рождественскими елочками да лампочками очки втирают!

— А мы сидим — ушами хлопаем!..

Глеб Максимилианович растерялся, точно его ударили, и не заметил, как Ленин подозвал редактора «Правды», сказал ему что-то. Конечно, это все Дан и Мартов мутят воду — их окружение. Хотя... и среди наших есть — наверняка есть — люди, которые думают и говорят так же.

Слово «спец» сейчас что-то вроде нового ругательства. Да и не без основания. Сколько измен, саботажа, явной вражды подарила в последние годы интеллигенция простому люду,— тот же Фарадей с Петровки, который так и не пошел работать, уплыл за океан и оттуда поливает помоями «бывшую родину».

Как рассказать им всем, всем «простым людям», как объяснить, что инженер Кржижановский и те, кого он собрал вокруг себя, не «спецы», а специалисты?..

Эта, казалось бы, мелочь надолго испортила настроение, сбила рабочий пыл.

В воскресенье, как всегда просматривая утром газеты, он наткнулся на заметку «Предварилка и съезд Советов» с подзаголовком: «К биографии тов. Кржижановского».

«Что такое?! — Пододвинулся к столу, поправил очки.— Кого это заинтересовала моя персона?»

В начале заметки дословно приводились те самые выпады против «спеца», которые после его доклада делали меньшевики («Кто же их подслушал? Кто надоумил автора заметки — не Ленин ли?»), потом говорилось:

— ...для охлаждения разгоряченного воображения таких товарищей, а также и для пользы дела мы даем некоторые штрихи из биографии первого инженера, выступавшего с докладом на съезде Советов...

«Черт возьми! Да кто же это пишет? Какой-то «К». Чей это псевдоним?»

— ...Когда он был еще в Нижнем, там он написал работу о реорганизации промыслов, которая была написана с таким блеском, что тогдашний министр земледелия Ермолов повелел разыскать автора, где бы он ни находился.

Каково же было удивление и гнев царского служаки, когда он узнал, что адрес талантливого инженера — предварилка!

Всем известно, что царское правительство тоже стояло за натуральное премирование выдающихся русских граждан: им «даром» давали квартиру с решеткой (охраняет от воров), парашу и баланду.

«Конечно, стиль явно не Ленина, но по конкретным деталям чувствуется его наводящая рука».

— ...Затем тов. Кржижановский (тоже в порядке премирования) был сослан в Сибирь (по процессу «декабристов», по которому был сослан туда же и Владимир Ильич), где и «прожил» на иждивении попечительного начальства три года.

После ссылки очутился в Самаре, где работал на железной дороге и одновременно в центре тогдашней

русской организации старой «Искры». На 2-м съезде партии тов. Кржижановский был выбран членом Центрального Комитета...

Все давным-давно известно, все так, но как-то поособому, свежо видится, когда читаешь это напечатанным для других. И заново переживается то, что ушло вместе с молодостью:

— ...В 1905 году был председателем забастовочного комитета Юго-Западных железных дорог.

Конечно, после подавления революции ему пришлось получить увольнительный билет. Тов. Кржижановский переехал в Питер, избрал своей специальностью электротехнику и скоро завоевал себе репутацию одного из лучших электротехников. С 1912 года он уже является организатором «Электропередачи».

Всем известна боевая песнь рабочего класса «Варшавянка» («Вихри враждебные веют над нами...»). Русские слова этой песни принадлежат тов. Кржижановскому.

Глеб Максимилианович подправил усы, но тут же оглянулся, точно его могли увидеть и упрекнуть в нескромности. В кабинете по-прежнему был только он один. Дочитал:

— Не понятно ли, после всего вышеизложенного, что наркомы РСФСР, в противоречии с Ермоловым, сменили предварилку на трибуну Всероссийского съезда Советов?

«Понятно, что «все вышеизложенное» подстроил Ленин, чтобы поддержать тебя, чтобы ты нос не вешал».

Но, хотя маневр был разгадан, настроение сразу поднялось. Что он, в самом деле, раскис? План ГОЭЛРО одобрен съездом, принят как основной для хозяйственного строительства, под рукой на столе

уже лежит новое, нетерпеливое, торопящее письмо Ильича:

«...развить (...*т о т ч а с*) практический план кампании по электрификации... в *каждом* уезде создать *срочно* не менее одной электрической станции...»

Опять, как и в прошлую зиму, на московских домах шелестели истерзанные вьюгой афиши: «Художественный — «Дочь Анго», Корш — «Рюи Блаз», Незлобина — «Раб наживы», а поверх них объявления: «Хлеб по карточкам (отпуск бесплатный)», «Распределение картофеля», «Распределение дрожжей». Опять на углах заваленных снегом улиц высились груды дров, сброшенных с трамваев, а возле них у неугасавших костров притоптывали стражи с винтовками.

По мосту через Москву-реку, снова будто бы навечно закованную в черный лед, красноармеец легко катил диковинное сооружение: четыре параллельных обруча-рельса диаметром в рост человека изнутри скреплены брусьями, и в образовавшуюся бочку туго напиханы поленья — целая сажень!

«Сколько дров сжигается сторожами на кострах, на этих вечных жертвенниках прожорливому божеству транспортной разрухи! — отметил для себя Глеб Максимилианович.— Ну что бы наделать побольше вот таких «рельсобочек» и развезти все сразу по домам!.. Надо это не забыть. Не за-быть...»

Лестница и большие залы Дома Союзов декорированы красными лентами, знаменами. Плакаты, лозунги:

«Здоровый паровоз — гвоздь революции!»

«Молот впереди, винтовка позади!»

«Да здравствует труд и разум!»

У входа на выставку Восьмого съезда Советов теснятся мастеровые — ребята и девчата с красными

бантами на куртках и шубейках, выкрикивают хором, весело, задиристо новые стихи Демьяна:

Последнее теперь дело — прокламации,
Коммунизм — ничто без электрификации;
Мы пришли к тому, к чему стремились давно мы:
Первые места займут инженеры и агрономы.

— Пожалуйте, товарищ инженер, проходите,— расступились перед Глебом Максимилиановичем.

— Спасибо.

— Мы про вас в газетке читали... Проходите без очереди.

— Да нет уж, я, как все.— И стал в хвост.

В залах выставки — диаграммы, диаграммы, очень вошедшие теперь в моду. У дверей, на первой таблице,— огромный лодырь сунул руки в брюки, а рядом крохотный рабочий с киркой. На второй таблице лодырь стал чуть поменьше, а старательный работник подрос. Дальше — бездельник все уменьшается, а рабочий достигает исполинских размеров. Все это — «Диаграмм: падение прогулов на Кольчугинском металлообрабатывающем заводе».

Развеселили Глеба Максимилиановича и образцы изделий Петроградского фарфорового завода — тарелки, чашки, блюда с надписями: «Кто не трудится, тот не ест», «Мир хижинам, война дворцам», «Что добыто силой рук трудовых, да не проглотится ленивым брюхом».

В разделе ВСНХ, на аккуратных стендах, среди деталей для электровозов, сделанных в порядке опыта Кизеловской мастерской, и веревочных приводных ремней, «великолепно заменяющих кожаные», перед Глебом Максимилиановичем вдруг предстал снаряд.

 Что такое? Почему? Зачем?

Проворный распорядитель стукнул кулаком по головке — из снаряда выпали брошюры Кржижановского «Основные задачи электрификации...». Агитснаряд изобретен красноармейцами братьями Вишневскими для разбрасывания листовок.

— Почтеннейший, а почтеннейший! — потянул кто-то за рукав.

Обернулся — крестьянин, старик в лаптях и свитке домотканого сукна, корявый, ни дать ни взять мшистый пень из глухих Беловежских пущ.

— Извиняй, братка. Никак в толк не возьмем. Растолкуй, будь ласка.— И повел туда, где возле диаграммы «Сколько у нас земли» в замешательстве переминались еще десять — двенадцать таких же «ходоков».

Глеб Максимилианович объяснил, что большой квадрат означает все наше земельное богатство — два миллиарда десятин, а крохотный внутри него — те сто три миллиона, которые обрабатываем.

Зачмокали, заскребли в бородах.

— Ахти! Сколько земли гуляет!

— Вот бы поднять!..

— Нешто поднимешь этакую махину...

— Теперь поднимем,— убежденно, веско произнес старик — тот, что привел Глеба Максимилиановича.

Произнес не «теперь», а «тяпер»: он и в самом деле оказался из Белоруссии:

— Вызвали с дяревни у волость. «Волревк» выборы вчинил. А там — на уездный съезд Советов у Бобруйску. А там — у самом Минску. Замотался! Но ни óдного заседания не пропустил. Стал понимать: чаго не пóйму — товарышы растолкують... Как на Всероссийский выборы подошли, выставили беспартийные, коммунисты руки подняли: «Езжай, дед, у

Москву. Погляди, як там. Верно ли, что у большевиков сила. Ленина и Калиныча погляди...»

Рассказ его прерывают голоса других «ходоков» — видимо, давно тянущийся спор.

— А все ж таки надо бы нам самим в посевкомы взойтить,— упрямо твердит молодой, кровь с молоком бородач, Стенька Разин с лапищами, зачерневшими от угля и железной окалины,— конечно, кузнец деревенский.

— И Калиныча об том повестить! — поддерживает хлипкий мужичонка с аккуратным кожаным ремешком — от пояса к карману, выдающим в нем коновала, тоже избалованного вниманием односельчан.

— Зачем? — все так же убежденно и убедительно гудит старик.— Ежели к трем безграмотным мужикам из волисполкома прибавить еще три безграмотных мужика по выбору, то получится шесть безграмотных мужиков — только и всего. Нужно образование...

— Эк, пристало слово, ровно оспа!

— Нам нужны свои, красные инструктóры! — не уступает старик.— Иначе, как оно было два мильярда и сто три мильена,— кивает на диаграмму,— так и останется! — Отрубает ладонью пространство и тут же доверительно обращается к Глебу Максимилиановичу: — Слышь, почтеннейший, напиши мне семиграмму.

— Что, что?

— Ну, это... как его?.. По скорой почте. До дому. Письмо.

— А! Телеграмму?

— Во, во.

— А сам-то что же?

— Да я, вишь,.. того... Глазами не дюж... Окуляры посеял...

Глеб Максимилианович видит: старик хитрит, лукавит: стыдно признаться, что неграмотен.

Устроившись в стороне, за столом распорядителя, Кржижановский пишет под диктовку:

«Доехал в Москву благополучно. Спать ложусь в гостинице — «Метрополь» прозывается. Москва большая, и все — товарищи, но есть и беспартийные (пиши, пиши...) Был у Калиныча. С ним мы други-приятели. И товарища Ленина видал. Сказал ему про наше житье. Обходительный товарищ, адрес мой записал в книжку. Нашим в деревне скажи, чтобы крепко стояли за Советы. Скоро все будут коммунистами, потому что кругом будет электричество. Приеду — книжек привезу. И картин разных. Прощайте...»

Когда Глеб Максимилианович перечитал написанное, дед разочарованно поглядел на него, искренне огорчился:

— Больно коротко!.. Ну, ладно. Приеду — расскажу.

Потом, уже вместе с крестьянами, Кржижановский перешел в следующий зал, где выставил экспонаты Народный комиссариат внешней торговли. «Вывоз» — меха, доски, брусья, балансы для производства фанеры и бумаги, лен. «Ввоз» — топоры, пилы, телефоны, телеграфные аппараты, тракторные плуги.

От них, понятно, крестьян долго нельзя было оторвать. Старик белорус гладил отполированные до сияния отвалы, пробовал ногтем заточку лемехов, завистливо качал головой, вздыхал, но под конец все же упрекнул Глеба Максимилиановича:

— Не худо бы самим топоры делать, чем на соболей выменивать.

Нагулявшись по выставке, уселись смотреть кинематографическую ленту о гидроторфе.

Каждый раз, когда на экране водяная струя расшибала тяжелые пласты топлива, работал экскаватор, подъемный кран или грузовик, тишина Колонного зала взрывалась и равномерное стрекотание аппарата тонуло в таких аплодисментах, какими, наверно, не награждались ни Макс Линдер, ни Иван Мозжухин, ни Вера Холодная.

— Вот видишь! — толкал старик соседа, того самого, что сомневался, можно ли совладать с двумя миллиардами десятин земли.— Вот видишь! А ты: «Не поднять!» Три мильярда подымем. Десять! Дай срок.

Глеб Максимилианович между тем уже прикидывал, с чего ему завтра, в понедельник, начинать этот «подъем», и постепенно задумался: ровно год назад, двадцать шестого декабря, он говорил с Лениным в его кабинете, у карты... Ровно год! Как быстро он промелькнул! Как долго тянулся! В твоей жизни этот год — самый значительный, самый насыщенный. Много было дел, много еще будет, но это — главное, это — не повторится. План электрификации России не только новые станции, заводы, машины...

ГОЭЛРО — это неграмотный крестьянин, отстаивающий образование и рассуждающий, как государственный деятель.

ГОЭЛРО — это рабочий-путиловец, призывающий с трибуны съезда Советов строить новую цивилизацию и отдающий ей все, что у него есть,— обе руки с мозолями.

ГОЭЛРО — это Ленин, требующий, чтобы каждая фабрика, каждая электрическая станция превратилась в очаг просвещения, знающий, верящий, что если Россия покроется густою сетью электрических
 станций и мощных технических оборудований, то

наше коммунистическое хозяйственное строительство станет образцом для грядущей социалистической Европы и Азии.

В порядке первого приближения

Зима... Русская зима...
За последние годы эти слова потеряли свой романтический смысл, полностью лишились поэзии. С ними связывали наивысшее напряжение — пик холода и голода, агонию транспорта.

В губернских городах и в Москве жилось особенно тяжко. Березовые поленья продавали по весу — на фунты. Суп из воблы и пшена почитали за роскошь. И никакой юмор не действовал, ничьи шутки не помогали взбодриться, когда за дверью в тифозном бреду стонал сосед.

Но здесь, в Архангельском, начинало казаться, будто ничего подобного вокруг и нет.

За окнами уютного барского особняка, среди которых Зина не нашла двух одинаковых, и это, неведомо почему, до сих пор ее тешило, как девчонку,— за окнами усадьбы, превращенной в дом отдыха, безмятежно разлеглись снега.

Февральское солнце, уже склонившееся к черносизым лесным далям, казалось, вот-вот подпалит сороку на макушке вековой ели, оплавит голубые, багряные, розовые гребни наметов по краям рощи. Но сероватая дымка над дорогой, над поймой, пронизанная дрожавшими ниточками света, уверяла, что надежда на тепло — пока только надежда и к ночи мороз завернет еще злее.

Ну и пусть!

Рядом, обжигая колени, потрескивали и слезились смоляными каплями сосновые плахи. Теплые зайчики скользили по изразцам камина, танцевали на шелковистых обоях, прыгали с тарелки на тарелку. А добрая фея, наряженная в белый халат и принявшая облик сестры-распорядительницы, пела:

— На обед лапша домашняя и кулебяка с осетриной.

Глебу Максимилиановичу опять стало неловко за то, что он благоденствует в этаком раю. Вспомнилось, как Ленин выпроваживал его из Москвы, измотанного, изнемогшего, падавшего с ног,— выпроваживал и выпроводил. Так что теперь Кржижановский объяснял свое пребывание здесь виновато и не иначе как только словами: «Я выслан сюда Ильичем».

Ленин обещал навестить его в Архангельском, да разве выберется, оторвется от дел? Эх! Разве ему, Ленину, меньше нужен отдых? Разве сейчас время отдыхать, когда все еще так зыбко, так туманно? Когда в Москве, в Высшем совете народного хозяйства есть люди, которые открыто говорят, что ГОЭЛРО будет выполнен через несколько столетий? Когда надо, не покладая рук действовать, действовать, действовать?

Ведь еще в ноябре прошлого года правительственная комиссия предложила проект общепланового органа при Совете Труда и Обороны, не приняв во внимание... ГОЭЛРО. И Ленин тут же запротестовал:

— Чего стоят все «планы» (и все «плановые комиссии» и «плановые программы») *без плана электрификации?* Ничего не стоят.

Спешная подготовка к Восьмому съезду как-то заслонила эту проблему. Теперь же к ней предстояло вернуться.

О ней нельзя было забыть, даже если б захотелось. О ней напоминали и те делегатские записки, которые он любовно хранил в портфеле и принялся перебирать, придя в свою комнату номер пять после обеда.

Химическим карандашом на листах в клетку из тетрадей:

«Каковы запасы торфа и подмосковного угля? Оправдают ли себя такие постройки, как Шатурка или Каширка, при имеющихся залежах?..»

«Почему так мало обращено внимания на Азиатскую Россию в смысле электрификации?..»

«Каким же образом, т. Кржижановский, Советская Россия, не имея ломаного гроша в кармане, осуществит сей грандиозный проект, требующий громадных капиталов? На иностранный капитал, конечно, рта разевать не приходится...»

На листке из блокнота, на обрывке газеты, на клочке пергамента, пахнущего селедкой:

«Сообщите о литературе по электрификации...»

«Имеет ли теория Эйнштейна отношение к электрификации? Если да, то какое?..»

«В какой степени эксплуатируется Ниагара?..»

Записки, записки... Пестрые, разные, за каждой — человек, живой, особенный. Но всех одинаково интересует одно и то же дело. Все равно требуют: скорей, быстрей, немедля — «вынь да положь». А он, Глеб Кржижановский, еще далеко не на каждое «почему», не на каждое «когда» может ответить даже самому себе.

Задумавшись, он вдруг уловил какой-то гул, возвысившийся над монотонным шорохом ветра за окном.

Да, это рев мотора. Не может быть!.. Не так часто в здешних местах услышишь дыхание машины. Но по снежной целине, курившейся белесой пылью,

карабкался, тяжело переваливался через переметы зеленовато-серый экипаж. Ближе, ближе...

Автомобиль «роллс-ройс»! Только передние колеса поставлены на широкие лыжи, а вместо задних — резиновые гусеницы.

Скрип снега под полозьями. Стук металлической дверцы. Суматоха в коридоре:

— Ленин!

— Ленин!

— К нам!..

Распахнув полы шубы, разрумянившийся, борода, усы, ресницы заиндевели, он деликатно оттеснял наседавших и слева и справа отдыхающих, спешил по коридору навстречу выбежавшему Кржижановскому.

— Привет! Не ждали? Как видите, я держу слово.

— Владимир Ильич! Как добрались?

— Не спрашивайте! Не дорóга — проклятье. Каких-то тридцать верст... Выехали из Кремля в половине первого. А теперь? Ого! Без малого три часа ковыляли.

— По нынешним временам и то сверхскоро. Машина у вас молодец.

— Молодец-то молодец, да вот снег набивается между гусеницей и роликом. То и дело приходится останавливаться, вышибать его оттуда...

— Чуть бы пораньше! Мы только что пообедали. Ну, да придумаем что-нибудь. Зина! Куда ты запропастилась?

— Спасибо, спасибо, не хлопочите. Стакан чаю погорячее — не откажусь. А вот Гиля накормите непременно. Ну-с, как вы тут отдыхаете?

— Пойдемте, Владимир Ильич, я вам глухариное зимовье покажу и заячьи тропы. Ох, и охота здесь должна быть!..



— Как-нибудь в другой раз,— улыбнулся Ленин, уже входя в комнату и пристраивая шапку на оленьи рога, служившие вешалкой.— У меня ровно час. Не уговаривайте. К семи я должен быть в Москве. Так что прямо к делу. Ты уж нас извини, «Булочка».

Усевшись за стол, он размял застывшие пальцы, выложил привезенные бумаги:

— Завтра в Совете Труда и Обороны мой доклад о реорганизации ГОЭЛРО в общеплановую комиссию. Что вы скажете по этому поводу?

— Владимир Ильич! — взмолился Кржижановский.— Как же я могу здесь сидеть, когда там...

— Вам необходим отдых,— перебил его Ленин.— Это приказ. Давайте не отвлекаться интеллигентскими всхлипываниями. К делу, к делу, дорогой Глеб Максимилианович!

— Я же знаю, как вам тяжело. Сколько недругов у этого начинания!..

— Вот черновой проект. Просмотрите, пожалуйста.

Глеб Максимилианович пододвинул листок, протянутый Лениным, и стал читать. Потом они вместе принялись перечеркивать, переписывать, подправлять и наконец набросали:

«При СТО создается Общеплановая комиссия для разработки единого общегосударственного хозяйственного плана на основе одобренного VIII съездом Советов плана электрификации и для общего наблюдения за осуществлением этого плана».

— Та-ак.— Кржижановский еще раз поглядел на исчерканный листок.— Это главная задача новой комиссии.

— Коротко и ясно,— согласился Ленин.— Все сказано.

Морозный румянец сошел с его щек, и Глеб Мак-

симилианович увидел, какое усталое и озабоченное у Ильича лицо.

Есть от чего нынче устать, есть чем озаботиться. Достаточно вспомнить хотя бы названия последних его статей: «Кризис партии», «Еще раз о профсоюзах, о текущем моменте и об ошибках товарищей Троцкого и Бухарина»... Только на завтра, в повестке одного заседания Совета Труда и Обороны, кроме организации Государственной общеплановой комиссии, доклад о работе транспорта во второй половине минувшего года — «больные» паровозы, взорванные, погребенные подо льдом мосты, разбитые в щепу вагоны,— потом о невыдаче Сормовскому заводу и Приокскому округу продовольствия и так далее и тому подобное.

До боли захотелось как-то поддержать, обогреть Владимира Ильича. Пока он смотрел в окно, Глеб Максимилианович подсыпал ему в чай две ложки сахару, достал из тумбочки пшеничный сухарь. Эх, меду бы хорошо для поддержки сердца! Шепнул:

— Зина! Добудь меду. У Ленгника есть баночка...

— Да,— отвечая на свои мысли, Владимир Ильич отвернулся от окна.— Я должен предостеречь вас. Для вас, конечно, не новость, что идея создания государственного общепланового органа отнюдь не пользуется в советских руководящих верхах всеобщей поддержкой.

— Я уже привык к этому.— Кржижановский обиженно вздохнул и прикусил губу.— Все время слышишь: кто-то где-то что-то обронил, кто-то намекнул, стоит ли проводить ГОЭЛРО в жизнь.

— Сплетня любит темноту и безыменность!

— Но я знаю и другое, Владимир Ильич! Самыми строгими нашими критиками всегда были и остаются

 те, кто не верят в силу и возможности советского

строя. Да, да, я могу заранее сказать, как тот или иной деятель отнесется к нашему плану, если известно, по какую сторону баррикад устремлены его симпатии. Скажи мне, кто твой друг...

— Ну, это слишком упрощенно. Тут дело хитрее, хотя в общем-то вы правы... Рыков просит не торопиться, тянет, откладывает. Милютин, Ларин, Крицман выдвигают контрпредложения, суетятся, дебатируют. Как будто холод и голод подождут, и мы можем сидеть сложа руки, философствовать на манер гоголевского Кифы Мокиевича: «А что было бы, если бы слон родился в яйце?»

— И это в то время,— добавил Кржижановский с грустной улыбкой,— когда его сын Мокий Кифович, «двадцатилетняя плечистая натура», дурашливый и буйный богатырь, никому не дает проходу — ни дворовой девке, ни дворовой собаке, крушит все подряд в соседстве и в доме, даже собственную кровать!

— Вот именно! Но вернемся к делу. Вам предстоит строить и — я верю — построить государственный орган, какого еще не было в истории.

— Я здесь на досуге уже прикидывал кое-что, Владимир Ильич...

За полями, за снегами, в цепеневших от стужи далях тонуло пунцовое солнце. Гуще гудело в печной трубе. И даже по узорчатой наледи оконных стекол было заметно, как быстро крепчает мороз.

А двое за столом в тесноватой комнате горячились, спорили, каким быть Госплану, чем заниматься... Перспективы страны и задачи ближайших лет. Город и деревня. Производство и знание. Исследования и пропаганда. Подчиненность. Взаимоотношения с другими организациями. Бюджет. Наконец, подошли к составу.

— Итак, председатель комиссии — Кржижанов-

ский,— с веселой торжественностью объявил Ленин, прищурился, сдержал улыбку.— У кого есть замечания, возражения по поводу данной кандидатуры?

Глеб Максимилианович смутился.

— Может быть, у вас, товарищ Кржижановский? Нет? Хорошо. Тогда у меня есть. Уж не прогневайтесь: вы излишне доверчивы. Когда вы научитесь сдерживать себя? Вы каждому готовы высказать все, что чувствуете. Вы думаете, все — ваши друзья-приятели. Вы не обиделись? Не могу сейчас не сказать об этом, предлагая вас на такой высокий государственный пост.

— Зато у меня способности дипломата,— пробурчал Кржижановский, потупившись и как бы в отместку.

— Что-о?! — Ленин обернулся к нему, откинулся на стуле, упер руки в бока и зашелся тем характерным смехом — от души, до слез, который объяснял, почему его любят дети.

Пока он смеялся, Глеб Максимилианович невольно припоминал, как когда-то Володя катался на коньках куда хуже него, Глеба, старался во что бы то ни стало обогнать товарища, но никак не мог. Однажды Глеб уступил, и надо было видеть, как Ульянов, взрослый, серьезный Ульянов, только что закончивший фундаментальное «Развитие капитализма», радовался той крошечной победе...

— Что-о?! — повторил он сквозь смех.— Какие у вас еще есть способности?

— Да что же... Я в общем-то...— Кржижановский сконфуженно оправдывался.— Я ведь, собственно, не администратор.

— Не беда. Вы должны быть «душой» дела и руководителем идейным (в особенности отшибать, отгонять нетактичных коммунистов, способных разо-

гнать спецов)... Ваша задача выловить, выделить, приставить к работе способных организаторов, администраторов...— дать Центральному Комитету РКП возможность, данные, материал для оценки их. Вы понимаете, что это значит?

— Куда уж! Ой! — притворно покряхтывая, кивал Глеб Максимилианович.— Все та же ниточка: революция — интеллигенция — все так же тянется через меня, грешного.

— Итак,— Ленин провел по лбу ладонью, стараясь сосредоточиться, сдвинул брови,— в нашей комиссии уже есть душа, есть административное тело...— но не сдержался: — Заведете специального помощника, который бы охранял «душу» в лице вашей особы от всяких случайных «тел».

— Владимир Ильич...

— Не буду, не буду больше. Пойдем далее.

— Профессора Круга привлечь,— предложил Кржижановский.

— Та-ак,— Ленин одобрительно склонил голову.

— Рамзина.

— Первоклассный ученый, но, боюсь, академичен.

— Ничего, Владимир Ильич! Будет на месте.

— Не забудьте Александрова.

— Разве можно его забыть? Да! Вот еще: нужен ученый секретарь. Я думаю, что лучше Евгения Яковлевича Шульгина, пожалуй, не найдешь. Вы знаете, что это за человек?..

Каждого сотрудника Глеб Максимилианович старался похвалить, отмечал достоинства. Добавлял все новые и новые штрихи. Об Александрове, например, сказал, что главная черта его проектов — смелость. Это пламенная натура, презирает равнодушие, страстно утверждает на земле свое... А Графтио? Человек феноменальной трудоспособности! Хорошо зарегули-

рованная гидростанция, которая исправно несет «базисную» нагрузку, не теряя способности выдерживать и «пиковую». Знает английский, французский, немецкий, итальянский, шведский... Крушение попыток использовать энергию Иматры для Питера до сих пор личная трагедия инженера Графтио. До сих пор он с яростью вспоминает, как после его доклада финляндскому сейму о строительстве гидростанции к нему подошел представитель германского банка и сказал: «Неужели вы допускаете возможность создания таких мощностей для петербургской промышленности вне нашего контроля?..»

Глеб Максимилианович углубился в подробности, так что Ленин должен был напомнить: времени в обрез.

— Хорошо,— произнес Владимир Ильич.— Александров, Шульгин, Графтио, Шателен.

— Ну конечно, конечно. Потом Прянишников, Вашков, Коган,— предложил Кржижановский,— и непременно Есин.

— Это кто такой? — Ленин насторожился.

— О! Это замечательный человек. Жаль, что титулы «бесподобный», «крупнейший» мы привыкли применять только к художникам, философам, изобретателям. Василий Захарович Есин — выдающийся рабочий. Монтер, выросший у нас на «Электропередаче». Большевик с тринадцатого года. Участник Октябрьских боев в Москве. Командир красных автомобильных частей на гражданской войне...

— Остановитесь, Глеб Максимилианович! Я надеюсь, вы не станете упрекать меня в недооценке рабочего класса, но в вашей комиссии должны быть специалисты — ученые.

— Все это так, Владимир Ильич. Но тут, с Есиным, исключительный случай... Борис Иванович

Угримов, как вы знаете, теперь особоуполномоченный Совета Труда и Обороны в комиссии «Электроплуг». А Есин работает на месте профессора Угримова — начальником отдела электрификации сельского хозяйства. И хорошо работает. Иному «спецу» сто очков даст! Истинный самородок!

— Ох, Глеб Максимилианович!.. Не слишком ли? Не увлекаетесь ли?

— А по-моему, лучше перехвалить человека, чем недооценить. Слышали бы вы, как Есин отбрил одного высокообразованного пошляка, который увидал в плане ГОЭЛРО лишь возможность для молодых крестьянок завивать волосы электрическими щипцами!..

— Ну, что же,— подумав, уступил Ленин.— В виде исключения — пусть,— и черканул в конце списка:

«Есин (НКЗ)».

Помолчали, допили чай с медом. И Глеб Максимилианович вдруг почувствовал, что не только настроение, но и самочувствие улучшилось.

Отчего бы?.. Разве не ясно? Сделали много: часу не просидели, а сделали!..

Он попросил:

— Остались бы, Владимир Ильич!.. Как же так? Столько верст туда-обратно, по такой дороге, в этакое лихо, а с нами — только час...

— Не удерживайте. Спасибо. Это мне полезно — проветрить голову. Я очень доволен. О-чень! Счастливо отдыхать вам.

И укатил.

Ленин оттолкнулся вместе с креслом от стола, глянул на часы, покачал головой: ровно шесть. До начала

заседания считанные минуты, а никто из противников не зашел, не прислал свои возражения.

В чем дело? Что это, случайное совпадение? Или тактика — не раскрывать до поры свои карты, не давать лишнее время на размышления, на подготовку?

Позвонил секретарю.

— Пожалуйста, поторопите Милютина, Ларина и Крицмана с присылкой тезисов об едином хозяйственном плане.

Вскоре уже пора перейти из кабинета в зал заседаний...

И вот длинный-предлинный стол в этом зале. Пятнадцать мест с одной стороны, пятнадцать с другой. Ведущие политические и хозяйственные деятели страны: Аванесов, Рудзутак, Брюханов, Попов, Халатов, Ломов, Милютин...

Вдоль стены со строгими деревянными панелями, с глубокими проемами четырех окон, за которыми в слепой пустоте ночи надрывается метель, расселись приглашенные товарищи, докладчики, эксперты.

Во главе стола, точнее, уже за другим, приставленным к нему, как перекладина буквы *Т*,— Ленин. В левой руке — часы, правая — над листком для заметок.

Рывком поднимается Михаил Александрович Ларин — тот самый, что слывет старым партийным работником и литератором. В былые годы — меньшевик, а в девятьсот седьмом — автор самого правого из проектов созыва «широкого рабочего съезда», которым пытались заменить партию. Во время войны примкнул к Мартову...

Опять Мартов и мартовцы — пусть бывшие! — против Ленина, против ГОЭЛРО...

Ларин так долго подавался вправо, что оказался слева: после Февральской революции он занял самую левую позицию среди меньшевиков-интернационалистов, после июльских событий вошел в большевистскую партию и ныне трудится на посту заместителя председателя Высшего совета по перевозкам. Самонадеян, самоуверен, привык идти напролом, без оглядки и полагает это главным достоинством революционера.

Перед началом заседания, прочитав проект положения о Государственной общеплановой комиссии, подошел к Ленину и шепнул на ухо как бы в шутку:

— Вы дали нам мизинец, мы возьмем всю руку.

Для себя Ленин называет его «архиловким нахалом», смеется:

— Если Ларин просит миллион, то давать ему надо полтинник.

Ларина, и прежде всего его, имел в виду Владимир Ильич, когда предупреждал Кржижановского, что придется отшибать нетактичных коммунистов.

С убежденностью всезнающего метра, с апломбом пророка Ларин бросает в лицо Ленину:

— Как можно признавать ГОЭЛРО основным планом восстановления всего народного хозяйства? Как можно всерьез говорить о немедленном приступе к практическому проведению этого плана в жизнь, если жизнь сплошь и рядом на каждом шагу опрокидывает куда более скромные наши наметки?..

В плане ГОЭЛРО, составленном техниками, хромает экономическое обоснование. Не учтен прирост населения. Слабы расчеты необходимого ввоза и так далее и так далее...

Я считаю, что во главе технической группы, предложенной товарищем Лениным, если хотите, над ней, надо обязательно поставить экономический президиум...

Он говорит многозначительно и запальчиво, то и дело снимая и надевая очки. Отирает взмокший, начинающий лысеть — «бог лица прибавляет» — лоб.

Но Ленин умещает суть его выступления в строку:

...«Дело не кончается одной техникой»...

В три строки — следующее выступление, заместителя председателя Высшего совета народного хозяйства Милютина:

|| «*Ларин* часто путает (Милютин)
|| *Задача экономически-политическая*
[Ни разу не возразил Ленин]»

Раскинув перед собой широкие сухие руки так, что левая легла на общий стол, а правая уперлась в тот, за которым сидел Ленин, Рыков поморщился: нет, ни Ларин не произвел впечатления, ни зам не сверкнул красноречием, хотя все же сказал, что с точки зрения методологической план ГОЭЛРО построен неправильно. Взял слово.

Председатель Высшего совета народного хозяйства говорит не торопясь — отмеривая, процеживая каждое слово, каждый вздох: у зама одна ответственность, у преда — иная. Привычно заикаясь, он растягивает начальные согласные — выгадывает секунды, чтобы отмерить, взвесить еще и еще раз:

— Н-н-не надо спешить. В-в-ведь прежде, чем выполнять ГОЭЛРО, его н-н-необходимо еще утвердить. Можно его утвердить н-немедля, с-сейчас? Можно. А нужно ли?.. Может быть, лучше утвердить после съезда электротехнического — после, как сказано в постановлении Совнаркома от восьмого сего

 февраля, «всестороннего обсуждения технико-эконо-

мических вопросов, связанных с осуществлением плана электрификации России»?

Всем своим видом — и тем, как сжимает в кулаке карандаш, как отмахивает такт своим словам, как придерживает вытянутыми пальцами другой руки бумаги на столе, но не заглядывает в них — по памяти безошибочно цитирует нужные параграфы,— всем своим видом Рыков как бы внушает Ленину: «Без моего благословения ГОЭЛРО не отправится в путь. Я могу дать «добро», могу и не дать».

— Ш-ш-што, если в результате упомянутого «всестороннего обсуждения» упомянутый план электрификации окажется планом электрофикции?..— Он прикрывает рот ладонью, будто бы разглаживая усы, сдерживает улыбку.— Н-н-не скрою, д-да, я слыхал, что есть ошибки. Товарищ Ларин, товарищ Милютин пять минут назад подтвердили нам это.— И тут же великодушно защищает председателя ГОЭЛРО от Ларина и Милютина: — Кржижановский не только теоретик, но и практик... Однако излишней нервозностью, чрезмерной поспешностью,— смотрит на Ленина,— затемняется существо дела.

Ленин буквально хватает последнюю фразу — с маху так и записывает:

«...затемняется существо дела...»

По тому, как задиристо он склоняет голову, как наперекор противнику — размашисто и стремительно — мчит по листку свой толстый черный карандаш, нетрудно заметить, что он повторяет эту фразу про себя с иной интонацией, вкладывает в нее совсем иной смысл.

Тем временем предложенный Лениным проект атакует уже новый оратор — Валериан Валерианович Осинский, заместитель Народного комиссара земледелия. Это экономист и литератор, во время Брест-

ских переговоров — глава «левых коммунистов», сторонник продолжения «революционной» войны, теперь один из вождей фракционной группы «демократического централизма»:

— Легкомыслие — утверждать!..— Обращается он исключительно к Ленину и с присущей ему особенностью во всем усматривать политиканство, козни, направленные против него, подозрительно щурится, встряхивает густой шевелюрой: — Легкомыслие — утверждать план электрификации! Нарушать решения Восьмого съезда Советов, который не утвердил, а одобрил! Кржижановскому задание не было дано выработать государственный план. Общеплановая комиссия будет наполовину административная комиссия, а Кржижановский не администратор. Разве не так, Владимир Ильич? Сами же вы признавали...

Спокойно, сдерживая себя, Ленин кивает, стискивает зубы так, что желваки играют на лице.

— Вот видите! У него в ГОЭЛРО буржуазные спецы, правые эсеры и прочие, коммунистов мало. ГОЭЛРО должна дать кадры экспертов, а не общеплановой комиссии. И вообще!..— вдруг махнув рукой, срывается Осинский.— Я всегда был против! Никогда не верил! Почему электрификация, а не газификация, скажем? Все равно пустое фантазерство. Сначала восстановим хоть частью старое, прежде чем строить новое. Я не полагаюсь на Кржижановского. Пусть экономист просмотрит, только экономисты могут сделать...

Его сумбурное, переполненное эмоциями выступление подлило масла в огонь. Дебаты пошли по второму кругу: снова Рыков, снова Милютин, снова Ларин...

«Опять об одном и том же! — недовольно усмехнулся про себя Ильич.— Мешают додумать».

Он пришел в свое обычное, преобладающее настроение — напряженной сосредоточенности, набрасывал план заключительного слова.

А перед ним в зале за столом шумели, то и дело повторяли:

— Экономика...

— Экономист...

— Экономический...

Ленин как бы отодвинулся от наседавших противников, сдержал себя, собрался, записал, сжимая каждое слово до предела — в слог: «отн к *эк*» — «отношение к экономике»,— прислушался к тягучему тенорку Рыкова, помедлил, добавил: «(Далеко, в куток!) «Мозг»».

«Да, вот главное. Именно мозгом должен стать Госплан. А эти... Живую работу заменяют интеллигентским и бюрократическим прожектерством! Конечно, «планы» — вещь такая, говорить и спорить можно бесконечно. Но неумно допускать общие разглагольствования и споры о «принципах» построения плана, когда надо взяться за изучение уже данного, единственно научного плана, исправить его на основании... опыта!» — Снова черканул, еще стремительнее, наперекор, в пику своим оппонентам:

«хоз здр смысл» — «(хозяйственный здравый смысл)».

Рослый, прямой, застегнутый на все пуговицы, с аккуратно зачесанными назад волосами, с крупными, чуть вывернутыми губами, делающими его лицо обиженным, Милютин, перебирает на столе бумаги, обдает прокуренным, табачным дыханием, долго ищет нужную.

Почему-то нелегко поверить, что из тридцати семи своих лет половину этот человек отдал революции, семь провел в тюрьмах и ссылке, после Февральского

переворота был председателем Саратовского Совета, на Апрельской конференции избран в ЦК большевиков, в Октябре — Народный комиссар земледелия первого Советского правительства. Пост, впрочем, вскоре им оставленный из-за несогласия с позицией Ленина и ленинцев. В это, к сожалению, поверить уже легче...

Сейчас Владимир Павлович больше напоминает учителя, старающегося вдолбить школярам трудный урок.

— Тезис первый,— монотонно читает он.— Единым хозяйственным планом называется совокупность... Тезис второй. Осуществление единого хозяйственного плана становится возможным только после свержения капитализма... Тезис третий... Тезис четвертый...

«Какая скученция! — думает Ленин.— Дельный экономист, вместо пустяковых тезисов, засядет за изучение фактов, цифр, данных, проанализирует наш собственный опыт и скажет: ошибка там-то, исправлять ее надо так-то...» — Он опускает карандаш на бумагу так, точно надоедливого и нудного Милютина отметает: обводит слова «(хозяйственный здравый смысл)» густой черной рамкой. Дает слово следующему оратору.

Опять — Ларин.

Щуплый, юркий, желчный, Ларин едва успел раскрыть рот — уже сказал всем что-нибудь неприятное, даже единомышленников своих не пощадил, увлекшись.

«Н-да-а...— глядя на него, задумывается Ленин.— Коммунист, не доказавший своего умения объединять и скромно направлять работу специалистов, входя в суть дела, изучая его детально, такой коммунист часто вреден. Таких коммунистов у нас много, и я бы

их отдал дюжинами за одного добросовестно изучающего свое дело и знающего буржуазного спеца».

Рука его опускается на листок, второй рамкой — еще раз! — выделяет и подчеркивает слова «(хозяйственный здравый смысл)», двумя четкими линиями отбивает от дальнейшего, останавливается, будто насторожившись, прикидывая, и решительно продолжает:

««Дело затемняется»...
бюрократизмом (Рыков)...
и литературщиной
(Милютин, Ларин и Осинский)».

Набрасывая свой план, Ленин то и дело косится на брызжущего слюной Ларина, который уже противопоставляет тезисам Милютина собственные тезисы, пересыпает речь шутками вроде:

Мужик рубит
Лошадь везет.

И вдруг... Вдруг Владимир Ильич просто-напросто взрывается смехом.

Но это совсем не тот радушно-заразительный ленинский смех. Это смех-вызов, смех-горечь, ирония, смех-выстрел. Недаром на листок для заметок он ложится строками, напоминающими беспощадно злую частушку:

«Мужик рубит
Лошадь везет
Советский служащий крадет
Экономист пишет тезисы».

Наконец выговорились все противники.

Владимир Ильич спокойно отложил толстый черный карандаш, откашлялся, уперся руками в край стола:

— Тяжелое впечатление производят ваши разговоры...— И тут же всегда так ярко выраженная у него потребность высказаться, выяснить суть взяла верх над сдержанностью:

— Пустейшее говорение. Рассуждения о том, как надо подойти к изучению, вместо изучения... Пустейшее «производство тезисов» или высасывание из пальца лозунгов и проектов! Высокомерно-бюрократическое невнимание к тому живому делу, которое уже сделано и которое надо продолжать. Да, да, товарищ Осинский! Не смотрите зверем. Единственная серьезная работа по вопросу об едином хозяйственном плане есть «План электрификации РСФСР». Он разработан — разумеется, лишь в порядке первого приближения,— Ленин усмехнулся тому, что невольно употребил излюбленное выражение Глеба Максимилиановича и повторил с особым ударением для Рыкова, Милютина, Ларина и всех тех, кто чересчур напирает на допущенные ошибки, стараясь тем самым перечеркнуть всю работу ГОЭЛРО,— лишь в порядке первого приближения — лучшими учеными силами нашей республики по поручению высших ее органов. И борьбу с невежественным самомнением сановников,— взгляд на Рыкова — Осинского,— с интеллигентским самомнением коммунистических литераторов,— кивок в сторону Ларина — Милютина,— приходится начать с самого скромного дела, с простого рассказа об истории этой книги, ее содержании, ее значении.

Скользнув взглядом по заметкам на листке, Ленин напоминает, что главной задачей, поставленной ВЦИК Кржижановскому и его комиссии, была «научная выработка государственного плана всего народного хозяйства». Результатом работ ГОЭЛРО стал обширный — и превосходный — научный труд.

Обстоятельно и увлеченно Владимир Ильич говорит о том, что для правильной оценки труда, совершенного ГОЭЛРО, надо обратиться к примеру Германии. Там аналогичную работу проделал ученый Баллод. Он составил научный план социалистической перестройки всего народного хозяйства. В капиталистической Германии план повис в воздухе, остался литературщиной, работой одиночки...

План электрификации России — это точные расчеты специалистов по всем основным вопросам, по всем отраслям промышленности... вплоть до расчета производства кожи, обуви по две пары на душу... В итоге — и материальный и финансовый баланс электрификации... Баланс рассчитан на увеличение обрабатывающей промышленности за десять лет на восемьдесят процентов, а добывающей — на восемьдесят — сто. Дефицит золотого баланса... «может быть покрыт путем концессий и кредитных операций». Электрификация сама — золото: использование половины мощностей Северного района для увеличения заготовок и сплава леса через Мурманск, Архангельск и другие порты за границу могло бы дать до полумиллиарда валютных рублей в год! И не когда-нибудь, а в ближайшее время! Вот это и называется — «работа государственного мозга». Вот это и есть хозяйственный здравый смысл, воплощенный в научно обоснованном плане.

Он рассказывал им так, точно тыкал их носом в то, что все они хорошо знали,— и это шокировало их всех. Рассказывал так, будто сам написал каждую строку, выносил каждую цифру,— и его слушали с невольным вниманием. Хотя и Ларин, ни секунды не сидевший спокойно, и монументально-неприступный Осинский, и Рыков, то и дело наклонявшийся к Милютину, с улыбкой шептавший что-то на ухо,—

все они, раскрасневшиеся, даже чуть взмокшие от напряжения, по-прежнему стеной держались против Ленина, показывали ему: «вы — мечтатель, мы — реалисты, говорите, говорите...»

Он видел это, чувствовал, понимал. Но не раздражался от того, что мечту его хватали, сдерживали, давили грубыми руками, а с еще большим воодушевлением бросался на штурм стены.

— Непонимание дела чудовищное! Господство интеллигентского и бюрократического самомнения над настоящим делом. Насмешечки над фантастичностью плана, вопросы насчет газификации и прочее обнаруживают самомнение невежества.— Он подался вперед и, не задев рукавом ни ту, ни другую крышки чернильниц на столе, выбросил над ними широкую ладонь, точно выкладывая перед Осинским его же собственные «идеи»: — Поправлять с кондачка работу сотен лучших специалистов, отделываться пошло звучащими шуточками, чваниться своим правом «не утвердить»,— разве это не позорно?

Ленин не усидел — быстро обошел свой стол, остановился позади покатой, туго обтянутой суконным френчем спины Осинского, так что оказался прямо против Рыкова. Теперь Ленин возражал ему одному, словно тот только что бросил реплику:

— Конечно, право «утверждать» и «не утверждать» всегда остается за сановником и сановниками. Если понимать разумно это право,.. то под утверждением надо понимать ряд заказов и приказов: то-то, тогда-то и там-то купить, то-то начать строить, такие-то материалы собрать и подвезти... Если же толковать по-бюрократически, тогда «утверждение» означает самодурство сановников, бумажную волокиту, игру в проверяющие комиссии, одним словом, чисто чиновничье убийство живого дела.— И опять широ-

кий жест, привычно-ленинское движение правой рукой вперед и вправо: «возьми себе все, что ты подарил мне».

Рыкова передернуло. Он начал оправдываться, возражать.

Но:

— К порядку! К порядку! Я вас не перебивал.— И Владимир Ильич обратился к Милютину.

Резким движением Рыков достал кожаный портсигар, примял, сунул в рот папиросу, глянул на Ленина с той виновато-боязливой неприязнью, с какой курильщики смотрят на тех, кто не терпит курения, отошел к печке, запрокинул голову, пустил струю дыма в вытяжку.

В зале тем временем все звучал громкий грудной баритон:

— Надо же научиться ценить науку, отвергать «коммунистическое» чванство дилетантов и бюрократов, надо же научиться работать систематично, используя свой же опыт, свою же практику! Дело идет у нас уже давно не об общих принципах, а именно о практическом опыте, нам опять в десять раз ценнее хотя бы буржуазный, но знающий дело «специалист науки и техники», чем чванный коммунист, готовый в любую минуту дня и ночи написать «тезисы», выдвинуть «лозунги», преподнести голые абстракции.

Милютин справедливо принял все это на свой счет, заерзал, готовясь к отпору, но Ленин уже обогнул стол в обратном направлении и остановился против Ларина — лицо в лицо, глаза в глаза:

— ...не командовать, а подходить к специалистам науки и техники чрезвычайно осторожно и умело, учась у них и помогая им расширять свой кругозор, исходя из завоеваний и данных соответственной науки, памятуя, что инженер придет к признанию

коммунизма *не так*, как пришел подпольщик-пропагандист, литератор, а через данные своей науки, что по-своему придет к признанию коммунизма агроном, по-своему лесовод...

Ларин, до сих пор усмехавшийся, пожимавший плечами — воплощавший в себе упрек Ленину, который словами можно было бы выразить примерно так: «ну, стоит ли ломиться в открытую дверь?» — вдруг затих.

Ленин вернулся на свое место во главе стола, но не сел, а продолжал стоя:

— Никакого другого единого хозяйственного плана, кроме — «Гоэлро», нет и быть не может. Строить что-либо серьезное, в смысле улучшения общего плана нашего народного хозяйства, можно только на этой основе, только продолжая начатое, иначе это будет игра в администрирование или, проще, самодурство... Голосую за Государственную общеплановую комиссию на основе «Гоэлро» во главе с Кржижановским — человеком широкого опыта, научно образованным, способным привлекать к себе людей. Кто за?

Ленин смотрел в упор на Рыкова, снова усевшегося на свое место.

На Рыкова — настороженно, выжидательно — смотрели и остальные.

Но Рыков не поднимал руку.

Против предложения Ленина было явное большинство.

— Та-ак...— Ленин потупился, опустил взгляд:— Заседание Совета Труда и Обороны объявляется закрытым,— и стремительно вышел.

В коридоре, у двери, он столкнулся с Кржижановским.

— О-о! Подслушивали! Как некрасиво!

— Я не подслушивал, Владимир Ильич!

— Да-а?.. А что же вы делали? Чуть-чуть не отбил вашей милости нос.

— Я не виноват, Владимир Ильич, что у вас такой зычный голос... Дверь была плохо притворена...

— «Плохо притворена»! Скажите!.. А может быть, вы ее сами приоткрыли?

— Может быть, и так,— признался Глеб Максимилианович и, несмотря на удручающую серьезность положения, улыбнулся доверительно.

— Все слышали? — спросил Ленин, вновь мрачнея.

— Все. Что же это такое? Обструкция? Бойкот?

— Почему? Лишь эпизод войны, которую приходится вести в партии. Предсъездовская дискуссия. «Рабочая оппозиция» — Шляпников, Коллонтай, Троцкий с его «перетряхиванием» профсоюзов. «Буферная группа» Бухарина, Ларина, Преображенского. «Демократический централизм» платформы Бубнова — Сапронова — Осинского... Партия больна. Партию треплет лихорадка...

Только теперь Глеб Максимилианович до конца осознал весь смысл происшедшего. Он негодовал на людей, виновных в болезни партии — той партии, которую Кржижановский вместе с Лениным вынашивал, взращивал еще в юности... Да, нужно мужество и мужество, чтобы так, как Ленин, посмотреть в лицо горькой истине...

Владимир Ильич кивнул на дверь, из-за которой молча, по одному, выходили не побежденные им противники:

— Все это по беспроволочным сплетням немедленно передается буржуазии. Все это завтра же кумушки советских учреждений будут, подбоченясь,

повторять со злорадством!.. Погодите! — вдруг спохватился он.— Вам велено было отдыхать. Почему вы здесь? Как добрались из Архангельского?

— Пустяки. Важно, что добрался.

— На чем?

— Где на лошади, где пешком, а от Подольска — на паровике... Владимир Ильич! А все же в тезисах Милютина есть, мне кажется, та широта, которой, возможно, не хватает нам?

— Вздор! Самая большая опасность, это — забюрократизировать дело с планом государственного хозяйства. Это опасность великая. Ее не видит Милютин. Очень боюсь, что, иначе подходя к делу, и вы не видите ее, Глеб Максимилианович!

— Ну, уж положим!..

— Да, да! — От неприятных переживаний он уже переходил к делу, и дело, как всегда, волновало его.— Мы нищие. Голодные, разоренные нищие. Целый, цельный, настоящий план для нас теперь «бюрократическая утопия». Не гоняйтесь за ней. Тотчас, не медля ни дня, ни часа, по кусочкам выделить важнейшее, минимум предприятий и их поставить. Пойдемте ко мне — поговорим.

Кржижановский хотел пойти, но увидел в конце коридора, у дверей ленинской квартиры, Мартенса. Людвиг Карлович Мартенс два года был неофициальным представителем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в США. Он только что, сегодня, вернулся в Москву, и Ленин специально посылал за ним автомобиль...

— Лучше завтра,— сказал Глеб Максимилианович,— уже без двадцати одиннадцать.

— Ну что ж, завтра так завтра! — понимающе улыбнулся Ленин и задумчиво припомнил: — «где на лошади, где пешком...» Молодец, что приехали! Зав-

тра вы мне очень понадобитесь. На Совете Труда и Обороны свет клином не сошелся. Есть Политбюро. Есть Совнарком. Отдохните как следует. Выспитесь хорошенько.

— Что же все-таки делать, Владимир Ильич?

— Как «что делать»? Драться!

Хозяйственный здравый смысл

Ильич не бросал слова на ветер...

На следующий же день он перенес центр тяжести борьбы за Госплан в Политбюро и Совнарком. Все, кто трезво подходили к жизни и искренне стремились к немедленному действию во имя улучшения ее, поддержали Ильича.

Однако противники не отступали. Наоборот, они с новыми силами атаковали идею создания Государственной общеплановой комиссии на основе ГОЭЛРО. Изо дня в день газета «Экономическая жизнь» публиковала пространные статьи Милютина, потом Ларина, Крицмана...

В этих статьях доказывалось: план ГОЭЛРО хромает на все четыре ноги. Шагать ему в жизнь более чем преждевременно, более чем рискованно, более чем пагубно...

Развивая свое недавнее выступление в Совете Труда и Обороны, Ленин пишет статью «Об едином хозяйственном плане» — публично признает заслуги лучших специалистов страны, высоко оценивает их труд, воплощенный в плане ГОЭЛРО, беспощадно критикует противников этого плана.

Утром двадцать второго февраля статью Ленина

прочитал каждый гражданин республики, развернувший «Правду».

А вечером Совет Народных Комиссаров подавляющим большинством голосов постановил утвердить внесенное Лениным «Положение о Государственной общеплановой комиссии» и предложенный им список ее членов.

Под натиском обстоятельств Рыкову, Милютину, Осинскому... не оставалось ничего иного, как уступить,— Положение о Госплане было утверждено наконец и Советом Труда и Обороны, официально подписано Лениным...

Председателем Государственной общеплановой комиссии назначен товарищ Кржижановский Глеб Максимилианович.

Как ни сопротивлялся упомянутый товарищ, Владимир Ильич тут же прогнал его обратно в Архангельское — «доотдыхать» положенный срок, ибо:

— Нам нужен живой председатель Госплана, только живой. После январской поездки в Питер выглядите вы убийственно.

В самом деле, Восьмой съезд — волнения, напряжение, переживания, помноженные на непрерывную работу, а потом сразу же Государственная комиссия по электрификации России в полном составе уезжает, чтобы дать отчет рабочим Красного Питера...

Вспоминается дворец имени Урицкого. Глеб Максимилианович выступает на заседании Петроградского Совета. Снова карта на стене громадного, битком набитого зала. Снова красные и синие огоньки вспыхивают, разбегаются по воображаемым просторам Урала, Кавказа, Поволжья... Снова последние слова докладчика заглушает пение «Интернационала».

Но не все, далеко не все встречи проходили так восторженно и гладко...

Почти после каждой где-нибудь возле трибуны или уже в коридоре Глеба Максимилиановича ловили за рукав «истинные революционеры». Словно сговорившись, они объявляли примерно одно и то же:

— Созданный вами план электрификации для нас неприемлем.

— Почему?

— Петроград переживает длительную агонию, на которую мы слишком долго смотрим почти равнодушно. Петроград давно живет только мужеством своего пролетариата. Теперь мы дошли до края. Последние уцелевшие заводы вынуждены остановиться — ждать больше нельзя.

— Все это верно. Все это нестерпимо,— признавал Глеб Максимилианович. Боль собеседника была ему понятна, он разделял ее.— И именно против всего этого обращен план ГОЭЛРО...

— План ГОЭЛРО рассчитан на десять — пятнадцать лет, а здесь через три года будет пустыня.

— Что же вы предлагаете, дорогой товарищ?

— Нужно ударить в набат. Нужно всем стать в ряды и с готовностью отдать жизнь, как в дни Юденича.

Обычно Кржижановский бывал, как он сам признавался, «ошарашен» таким оборотом — озадачен, смущен. Но все же пытался что-то растолковать самонадеянному товарищу, увещевал его примерно так:

— Ну, хорошо... «Ударить в набат», «стать в ряды» — это все хорошо... А конкретнее? От холода и голода вряд ли спасут штыки и гранаты. И если даже все население «с готовностью» отдаст жизнь, вряд ли это хоть на киловатт увеличит мощность питерских станций. Что конкретно вы предлагаете?

— ...Ударить в набат... Стать в ряды...

— А еще?

— М-м-м...— Упрямо сдвинутые брови пророка. Слепая уверенность в могуществе громких фраз.— М-м-м...— И ничего больше.

«Сверхреволюционное мычание» — так окрестил про себя это Глеб Максимилианович. Все это, действительно, было бы смешно, когда б он не чувствовал, откуда дует ветер, не угадывал за каждым доводом противника опору на фразеологию Троцкого.

Нет, все это отнюдь, отнюдь не смешно.

Как ни горько, семена «сверхреволюционного» шапкозакидательства где-то падают на хорошо вспаханную лишениями войны, удобренную муками разрухи почву людских сердец. Они, семена, еще прорастут несбывшимися надеждами, взойдут скорбными разочарованиями, словом, дадут о себе знать, отвлекут, расстроят, помешают в самый неподходящий момент...

Теперь, после возвращения в Архангельское, протаптывая тропинку в снегу, Глеб Максимилианович мысленно обращался к своим питерским противникам:

«Разве не Ленин прежде вас всех, без паники, без пышных фраз, принялся именно за то дело, о котором вы нынче столько шумите, почтенные «сверхреволюционеры»? И разве мы не предлагаем план, который, пусть в десять, пусть даже в пятнадцать лет, но выведет страну, в том числе и Питер, из тупика разрухи? В ответ от вас мы не слышали еще сколько-нибудь внятного, сколько-нибудь вразумительного предложения. Ни разу! Ни единого практического, делового предложения! Зато сколько угодно упреков в том, что мы «слишком поспешно выводим из употребления меры крайние, героические, революционные», что «план ГОЭЛРО — путь мирного строительства, а не революции...»

«Черт те что! — сам себя перебил Глеб Максимилианович.— Как будто «мирное строительство» — бранные слова! Как будто можно противопоставлять мирное строительство революции!..»

«Хряп, хряп, хряп» — смачно разговаривал под бурками набухший, свежо пахнувший весной снег. Но Глеб Максимилианович шел и шел напрямик — напролом, хотя Зина предлагала обойти стороной по дорожке и уже смеялась впереди, поджидая его в намеченном месте.

«Хряп, хряп, хряп...»

Глеб Максимилианович сдвинул шапку на затылок, распахнул доху, мешавшую шагать, задевавшую полами снег. Было радостно, и в то же время, что ни толкуй, нелегкое дело — торить дороги по целине.

Эта мысль тут же вернула его к воображаемой перепалке с противниками:

«На любые доводы здравого смысла у вас вечно одни и те же возражения: «без мер крайних, без героических, революционных неизбежна гибель всех и вся, всеобщий крах, конец света». Ну, хорошо, допустим, почтеннейшие «сверхреволюционеры», что все это так. Но в чем же ваши «крайние меры»? Откройте секрет! Вразумите! В ответ все та же песня: «Выход из тупика... прост и ясен. Имя ему — революция. Революция не на словах, а на деле именно в том и состоит, что из трудного, безысходного положения мы выходим новым, невиданным до этого момента путем — энергией масс, разрушающих старое и творящих новое...» Что и говорить, здорово придумано! Откровение, да и только! А главное, конкретно и по-деловому... В общем: «Даешь рывок, бросок, скачок — вперед и выше!» А если говорить серьезно, то вдруг... Вдруг ваш «сверхреволюционный» скачок,

бросок, рывок окажется совсем не туда, не вперед? Ведь как ни прикинь, как ни повороти — кругом слова, голые слова, и ничего за ними. На деле пока... Дело пока наметилось только одно: хотя Рыкова план смущает дерзостью размаха, а Троцкому кажется недостаточно решительным, все равно уже возникло что-то похожее на единый фронт и «правых» и «левых» против ГОЭЛРО».

Впрочем, даже теперь, на отдыхе в Архангельском, недосуг было предаваться полемической философии.

Ясное свежее утро. Февраль на исходе. Солнце греет, щекочет ноздри, дразнит в упор. На ветках берез, елок, рябин вчерашняя капель застыла изумрудными сосульками. С крыши дома отдыха сосульки свисают гроздьями, того и гляди отломят водосток. Дворник ругается, подставляет лестницу, сбивает наледь пожарным багром. Хочется, как бывало давным-давно в Самаре, схватить студеный леденец, попробовать: вдруг слаще петушка на палочке?

Хорошо-о-о...

Глеб Максимилианович подправил напильником давно не точенные коньки, проверил ногтем: пойдет! Усадил Зинаиду Павловну в высокие, на манер кресла сани, уперся в спинку и... помчал по льду, расчищенному недавно общими усилиями всех отдыхающих под горкой, на реке.

— Ой, Глебаська!

— Держись, держись! Не бойся!

— Зачем так быстро? Ты же не гимназист.

— Это еще посмотрим... Как хорошо!

На повороте их остановил нарочный курьер: депеша от Ленина.

 Глеб Максимилианович разорвал пакет и тут же,

на катке, стал читать, щурясь от солнца, прикрывая глаза свободной рукой.

Ильича беспокоило то, что ЦК решил пока оставить Ларина в Государственной общеплановой комиссии. «На Вас ложится тяжелая задача подчинить, дисциплинировать, умерить Ларина. Помните: как только он «начнет» вырываться из рамок, бегите ко мне (или шлите мне письмо). Иначе Ларин опрокинет *всю* Общеплановую комиссию».

Ленина заботит не только окончательный состав комиссии, но и подбор для нее *архитвердого* президиума, и место ГОЭЛРО в системе Госплана, и, особенно, создание подкомиссии для изучения, проверки, координации текущих хозяйственных планов.

Необходимо систематически давать **отчеты** и **статьи** о выполнении этих планов разными ведомствами — по губерниям, уездам, кустам, заводам, рудникам. Архиаккуратно следить за *действительным* выполнением наших планов, печатать результаты в газетах для публичной критики и проверки.

Обязательно, чтобы каждый специалист персонально отвечал за порученное дело, чтобы на каждом участке работали двое, независимо друг от друга — для взаимопроверки и испробования разных методов анализа, сводки и прочего. «Подумайте обо всем этом и поговорим *не раз* после Вашего приезда».

Вскоре Кржижановские возвращаются из Архангельского в Москву. С ходу, с разбегу, можно сказать, Глеб Максимилианович погружается в работу. Посвежевший, даже загоревший чуть-чуть, он с новыми силами старается на новом поприще... Текущие дела — от добывания письменных столов и

стульев «для конторы» до «загада» обо всем хозяйстве республики. Канцелярские скрепки на сегодня, штатное расписание на завтра, перспективы развития всей экономики на пятнадцать лет вперед...

Но времена лихие — ох, лихие! Дают о себе знать — повсюду и каждый день. Кронштадтский мятеж, начавшийся двадцать восьмого февраля на дредноутах «Петропавловск» и «Севастополь» — «За Советы без коммунистов!»,— осложнил и без того сложную обстановку, в которой готовился и открылся Десятый съезд партии.

Сразу оживились меньшевики — и «свои», «домашние», и те, что обосновались в Берлине вокруг Мартова с его «Социалистическим вестником». Обрадовались, воспылали надеждами:

— В истории русской революции кронштадтское восстание займет, несомненно, место поворотного события...

— Трудно охватить все его вероятные и косвенные последствия...

Никогда еще в печати Европы и Америки не было такой вакханалии фантастических измышлений о республике Советов. С начала марта все западные газеты публиковали «самые достоверные» известия о восстаниях в России, о бегстве Ленина в Крым, о белом флаге над Кремлем, о баррикадах и потоках крови на столичных улицах, о густых толпах рабочих, спускающихся с холмов на Москву для свержения Советской власти, о переходе Буденного на сторону бунтовщиков, о победе контрреволюции в Петрограде, Чернигове, Пскове, Одессе, Минске, Саратове, на Волыни...

План врага прост: «Не удалось победить прямой интервенцией — победим мятежом, сорвем торговое соглашение с Англией, которое, кажется, вот-вот

удастся достичь Красину, и переговоры о торговле с Америкой, идущие в Москве». Недаром среди сообщений о восстаниях казаков на Дону и Кубани, о захвате арсеналов и фортификаций, настойчиво проглядывает одно и то же утверждение, что «при данных условиях торговать с Россией было бы азартной игрой».

Глеб Максимилианович, можно сказать, рвался в бой. Хотел даже просить Ленина, чтобы разрешил отправиться вместе с делегатами партийного съезда на подавление мятежа. Но, понятно — наверняка! — Ленин высмеет это как мальчишество:

— Неужели не ясно, что оставаться на месте, спокойно делать ваше дело — это еще более трудный бой на фронте экономики?

Да, чтобы убедиться в справедливости таких слов, достаточно пройти от дома в Садовниках до Воздвиженки, где предполагают разместить Госплан.

Москва-река еще под глухим льдом, но лед уже почернел, набух. Ручьи сбегают по трамвайным путям к мосту. Красная площадь вся в наледях, в грязных сугробах, но кое-где, возле стальных мачт, оголились булыжники мостовой, и меж ними, как живая, зеленеет прошлогодняя трава.

Кремлевская стена в толстом оттепельном инее. Над башнями полыхают золотом двуглавые орлы. Словно наперекор им стегает по ветру большой красный флаг над зданием Совнаркома.

Как всегда, возле Иверских ворот многолюдно. Обычные разговоры:

— Аржаной-то кусается: полторы тыщи фунт.

— Говядина до шести доходит, а сахар — двадцать тысяч.

— Три жалованья моих!.. Батюшки-светы!

Но теперь вперемежку с привычными звучат и особенные реплики:

— Про Кронштадтец-то слыхали? — вопрошает глубоко надвинутая чиновничья папаха.

— Как же! Как же! — откликается бобровый воротник.

Откликается так, будто поздравляет с рождеством Христовым:

— Упрямый мужик захотел остаться тем, что он есть,— русским мужиком.

— Из рабочего тоже никакими декретами коммунара не сделаешь — руки опускает.

— Я всегда говорил «бойся человеков, прочитавших одну книгу». Вы понимаете, кого я имею в виду... какую книгу?..

— Хи-хи-с, господа «товарищи»! Разруха — это вам не Деникин, даже не Колчак.

«Что верно, то верно, господа «бывшие»! — с грустью думал Глеб Максимилианович, подходя к дому, на стенах которого шелушилась тончайшая штукатурка.— Победить голод, холод, нищету куда труднее, чем четырнадцать держав».

Поднявшись в свой предполагаемый кабинет, председатель Госплана попросил позвать к нему члена президиума профессора Графтио.

— Их нету,— отозвался комендант.

— Как так? Я же просил. Где он?

— Да, говорят, арестованы.

— Час от часу не легче!..

Еще прошлым летом Глеб Максимилианович обратил внимание на то, что Генрих Осипович возвращается из Петрограда, где жила его семья, усталый, раздраженный. Никогда ни на что он не жаловался Кржижановскому. И Глеб Максимилианович долго

 допытывался, прежде чем Графтио признался. Ока-

залось, донимает председатель домового комитета — все время грозит обыскать, отобрать имущество,— словом, не дает дышать «генералу от прогнившей буржуазной культуры».

Кржижановский тогда же — сразу — рассказал обо всем Ленину. Ленин телеграфировал в Смольный, что Графтио — заслуженный профессор, свой человек и необходимо оградить его от самоуправства.

Теперь, видно, «сверхреволюционеры» из домкома воспользовались замешательством, возникшим в связи с кронштадтским мятежом, свели счеты с «мятежным» профессором.

Чего доброго, расстреляют еще!

...На столе у Ленина Глеб Максимилианович заметил письмо, адресованное наркому здравоохранения Семашко — Ильич хлопотал о том, чтобы отправить подлечиться на курорты Германии Цюрупу, Горького, еще кого-то из товарищей — кого, Глеб Максимилианович не сумел разобрать из-за того, что на листке лежал карандаш,— и писателя Короленко.

Да, да, того самого Владимира Галактионовича Короленко, чьи взгляды он, Ленин, так беспощадно критиковал совсем недавно, здесь в своем кабинете.

И все это семнадцатого марта — в то время, когда только закончился тяжелейший Десятый съезд партии, продолжалась острейшая борьба за новую экономическую политику, начинался второй штурм мятежного Кронштадта.

— Та-ак.— Ленин стоя выслушал обескураженного, взволнованного председателя Госплана.— Успокойтесь. Присядьте. Наверно, ляпнул что-нибудь некстати наш профессор?

— Да уж как водится. Горяч! Весьма и весьма. А язык!.. Далеко не дипломатический.

Ленин положил палец на кнопку, обратился к вошедшему секретарю:

— Лидия Александровна! Соорудите, пожалуйста, от моего имени бумагу. Примерно такую... «Товарищу Дзержинскому.

Прошу немедленно выяснить, в чем обвиняется профессор Графтио Генрих Осипович, арестованный Петрогубчека, и не представляется ли возможным его освободить, что по отзыву товарища Кржижановского, было бы желательно, так как Графтио крупный специалист».

Через два дня, девятнадцатого марта Ленину доложили, что профессор Графтио из-под стражи освобожден.

Приехал он осунувшийся, помятый, но не стал жаловаться, распространяться, как да что там было,— продолжал жить в полном соответствии со своим девизом: «Работай и никогда не теряй надежды, какие бы ни наступили невзгоды и испытания».

Пожалуй, это больше всего располагало к нему Глеба Максимилиановича. Может быть, как раз потому, что и его, Кржижановского, основной жизненный принцип не особенно отличался от девиза профессора.

По-прежнему Глеб Максимилианович работал обок с Лениным, под его рукой, под его ободряющим и неусыпным призором — строил, дрался, негодовал, стараясь сокрушить трех злейших, по мнению Ильича, врагов: бюрократизм, хаос, ляпанье.

Несмотря на трудности новой, невиданной работы, на невзгоды адски тяжелой весны, Кржижановский вдохновенно «проворачивал» дело за делом, ходил счастливый.

Не однажды он уже испытывал подобное чувство.
 Первый раз — в девятьсот пятом году в Киеве, когда

вошел в актовый зал университета, заполненный рабочими и студентами, и услыхал свою «Варшавянку». Другой раз — в семнадцатом при штурме Кремля солдатами с красными знаменами: сбывалась мечта юности.

Теперь, затеяв не просто открытие, а торжественное открытие Госплана, он особенно стремился сделать его праздничным. Ведь не зря же говорится: доброе начало — половина дела.

Он перечитал — в который уже раз! — ленинскую статью «Об едином хозяйственном плане» и, честно говоря, возгордился, чуть-чуть занесся: вон как высоко оценил «Старик» нашу работу!

«Обширный — и превосходный — научный труд...»

Глеб Максимилианович облачился в отутюженный костюм, поправил галстук под воротничком безукоризненной, сверкавшей белизной сорочки: «Какое число нынче? Пятое апреля. Запишем. Запомним...»

Хорошо бы, как всегда, пройтись по Москве, прогуляться перед работой, но он вызвал «храпучую раздрягу» — сел в авто.

За ветровым стеклом, треснутым и стянутым болтами, подпрыгивает, стелется бугристая полоса булыжника. Ползет навстречу быстрее, быстрее.

Еще прошлой осенью, когда стало ясно, что год выдался неурожайный, немало передумали о тяжелой весне, которая ждет республику в двадцать первом. И вот она, эта весна, пришла. Да еще раньше обычного. Вон как припекает солнце! Сбоку, там, куда достают косые лучи, черная кожа сиденья горячая. Жарко даже на ходу машины, хотя все фанерки, заменявшие зимой стекла, давно вынуты. Словно июнь уже на дворе.

И в городе тяжко, и в деревнях не лучше: сокра-

щение пайка, недоедание, падеж скота от бескормицы, перебои в доставке топлива, закрытие фабрик там и тут. Рабочие устали, измучились; нелегкое дело — сокращение пайков после такой короткой продовольственной передышки.

Эсеровское подполье тут же бросило клич, особенно гулко отозвавшийся в Кронштадте:

— Да здравствует Учредительное собрание!

«А что оно, увеличит хлебный паек?! — мысленно уличал Глеб Максимилианович вождя правых эсеров, придерживаясь за край дверцы на повороте к Охотному ряду.— Из-за кронштадтских событий явственно проглядывает ваш «демократический» нос, глубоконеуважаемый господин Виктор Чернов! Нос ваш в колчаковской саже. Не отмыт еще.

Двойная шулерская игра политических шарлатанов! — продолжал про себя Кржижановский, с горечью сознавая, что, к сожалению, ничего, кроме брани, не может противопоставить сейчас своим врагам.— Рабочим вы нашептываете, чтобы требовали больше хлеба от Советской власти. А когда Советская власть собирает излишки хлеба, вы подзуживаете крестьян не сдавать его. Две тысячи шестьсот вагонов зерна застряли по вашей милости в Сибири, на Кубани... Вы не останавливались перед взрывами мостов, порчей станций, полотна, с таким трудом возвращенных к жизни... Семнадцать дней с оружием в руках вы мешали кормить Питер, Москву, Иваново-Вознесенск... До сих пор там хоронят ваши жертвы.

Три года с тревогой и надеждой смотрели на нас рабочие всего мира,— думал Глеб Максимилианович, подъезжая к зданию Госплана.— Следили за каждым шагом наших — красных — фронтов: выдержим или нет? Теперь миллионы братских глаз так же

следят за нашей хозяйственной работой: удастся ли? И уже есть признаки, что удается. Несмотря ни на что. Наперекор всему. Десятый съезд партии принял новую экономическую политику. Даже в разгар мятежа мы больше занимались предстоящей посевной кампанией, чем Кронштадтом, и наверняка сев пройдет лучше прошлогоднего. Дотянем, докарабкаемся, черт побери, до первых овощей, до первого хлеба, а там!.. Хотя и медленно, да зато упрямо, неуклонно будет расти добыча угля. Хлынет из переполненного нефтью Баку, через Каспий, вверх по Волге поток движения, света, тепла. Откроем остановленные, пустим новые фабрики. Увеличим озимый сев... Так будет».

Будет!

Пусть политические шуты из труппы Виктора Чернова — и те, что перенесли свои гастроли с учредительной петрушкой в Париж, и те, что, затаившись вокруг, подстрекают в городах рабочих бастовать из-за хлеба, а на окраинах пускают под откос поезда с этим самым хлебом,— пусть они не надеются сыграть на недовольстве. Рабочие видели лучшие дни с Советской властью. И увидят их снова.

Именно для того, именно затем Глеб Кржижановский подъехал к дому номер пять на Воздвиженке, вышел из авто, поднимается по лестнице...

Назло, на страх врагам он особенно радушно, особенно торжественно и празднично здоровается с сотрудниками.

Какое созвездие подобралось! Одни имена чего стоят?! Александров, Графтио, Рамзин, Шателен, Губкин, Прянишников, Струмилин, Вильямс...

А дела?.. Гигант на Днепре... Волховская, уже строящаяся, установка. Свыклись как-то с мыслями о ней, а ведь она одна — осуществление ее равно-

сильно созданию трудовой армии в миллион двести тысяч человек — бессмертной, безусловно преданной своей стране, да вдобавок еще и такой, которая почти не потребует ни расходов на свое существование, ни забот о нем... А клады Курской магнитной аномалии? Разведка новых месторождений нефти на Северном Кавказе, между Волгой и Уралом... Гипотеза о грандиозных нефтеносных горизонтах за Уралом, в Сибири, возле Тюмени и дальше, дальше. Идея создания парового котла невиданной экономичности и производительности. Научные основы социалистической статистики, учета, планирования в масштабах всей страны. Введение химии в практику сельского хозяйства. Разгадка тайн плодородия и управление жизнью почвы... Создание новых и новых институтов, подготовка тысяч инженеров, агрономов...

Все это дела и заботы членов Госплана, твоих коллег, товарищ Кржижановский. Все это смысл творчества и дерзаний тех людей, которые собрались перед тобой в зале и со вниманием, может быть, даже с надеждой ждут от тебя какого-то особенного, неслыханного еще слова.

Сообразно обстановке и моменту он повел свою речь возвышенно и вместе с тем словно отбивая натиск наседавших контрреволюционеров, тех самых, о которых думал по дороге сюда. Говорил, все время помня, какой сенсацией прозвучали слова Ленина о том, что план ГОЭЛРО — вторая программа партии.

Многим это и до сих пор еще кажется ошеломляющим, невероятным, весьма и весьма спорным. Но ведь это на самом деле так. Ведь убедить рабочих и крестьян в том, что спасение от помещиков и капиталистов — военная борьба с ними, было сравнительно легко. А теперь... Теперь для мирной работы
 потребуется не меньше самоотвержения, подвиж-

ничества, жертв. Убедить в этом миллионы людей куда труднее. Но либо это будет сделано, либо мы погибнем. Путь, выход один: электрификация, электрификация и еще раз электрификация.

Потом, когда расшифровали стенограмму, Глеб Максимилианович тут же послал первый экземпляр Ленину, втайне надеясь на одобрение, а быть может, и похвалу.

Ответ не заставил ждать. Вечером, как обычно, во дворе загрохотал «харлей» — самокатчик принес письмо:

«Г. М.!

Возвращаю Вашу речь.

Главный недостаток ее: слишком много об электрификации, слишком мало о *текущих* хозяйственных планах.

Не на том сделано главное ударение, на чем надо».

— Вот-те раз! — Глеб Максимилианович мельком глянул в зеркало, висевшее в передней.

Какое обиженное лицо! Да и как не обидеться? Старался, старался...

Он снова обратился к письму:

— Но, позвольте, Владимир Ильич!.. Сами же вы превознесли наш план...

И письмо тут же ответило:

— Когда я имел перед собой коммунистических «вумников», кои, не читав книги «План электрификации» и не поняв ее значения, болтали и писали глупости о плане вообще, я должен был носом тыкать их в эту книгу, ибо иного плана серьезного нет и быть не может.

Когда я имею перед собой *писавших* эту книгу людей, я бы стал *носом* тыкать их *не* в эту книгу, а

от нее — в вопросы *текущих* хозяйственных планов.

Кржижановский вдруг представил, как негодует Ленин, когда натыкается на те «гигантские мусорные кучи», что остались нам на каждом шагу от векового прошлого, как раздражает его непонимание со стороны ближайших сотрудников. И как, несмотря на все это, он терпелив — до чего терпеливо учит тебя! Ведь вот же — в этом же письме! — воздает должное твоему труду: ваша электрификация в полном почете, честь ей и честь... Чего же тут обижаться? На что дуться?

Может, и в самом деле?..

«...общеплановая комиссия государства *не* этим сейчас должна заняться, а немедленно изо всех сил взятья за *текущие* хозяйственные планы.

Топливо *сегодня*. На 1921 год. Сейчас, весной.

Сбор хлама, отбросов, мертвых материалов. Использование их *для* обмена на хлеб.

и тому подобное.

В это надо ткнуть *«их»* носом. За это их засадить. Сейчас. Сегодня.

1—2 подкомиссии на электрификацию.

9—8 подкомиссий на текущие хозяйственные планы. Вот как распределить силы на 1921 год».

Глеб Максимилианович постепенно остыл от обиды, так и стоял под лампой в передней, с письмом в руке, размышлял, прикидывал.

Действительно, если задуматься как следует, как Ленин настаивает, наша хозяйственная работа направлена прежде всего на подлинное оздоровление отношений между людьми. Потому она всегда будет носить воинственный характер, всегда останется преодолением различных противоборствующих течений. Словом, это самая политическая из всех самых

политических работ. Серьезнейшая из ответственнейших. Настоящая война. И надо воевать каждый день, каждый час.

А ты занесся, возомнил бог весть что, надулся — даже собственную обиду в дело привнес! Короче говоря, в какой-то мере соскользнул на путь столь неприятных, столь неприемлемых для тебя «сверхреволюционеров» с их бесконечно ограниченной самоуверенностью и самовлюбленностью. В какой-то мере, конечно, — чуть-чуть и где-то, но...

Ай, ай, ай! Разве до амбиции в бою? Гляди. Не зарывайся впредь. Ни на секунду!

Первый раз в истории

Когда Ленин писал «Детскую болезнь «левизны» в коммунизме», он особенно выделял то обстоятельство, что Программа нашей партии — результат долгих лет исканий революционной мысли, напряженных, мучительных исканий, оплаченных громадными жертвами.

Теперь Глеб Максимилианович ясно понимал, что путь мучительных исканий будет неизбежен и для него — в области плановой работы.

«Всякое начало трудно,— предупреждал Карл Маркс,— эта истина справедлива для каждой науки». Начало советской «плановой науки», нелегкое само по себе, было положено к тому же еще в исключительно тяжких условиях.

Связь работ ГОЭЛРО с прошлым, двадцатым, годом весьма и весьма не случайна: именно тогда завершалась военная полоса великой пролетарской революции, и центр тяжести борьбы за социализм был перенесен на плацдарм экономики.

Двадцать первый год стал началом новой экономической политики... С ходу, со дня организации Госплана, его председателю пришлось «разворачивать» кампанию за кампанией — и за бережливость, и за финансовую дисциплину, и за переход не на словах, а на деле к хозяйственному расчету.

Подчас работу над планами откладывали — становились экспертами, чтобы срочно дать правительству заключение о той или иной специальной проблеме.

Испытания нового года с особой силой убеждали, что значат для жизни страны продовольствие и топливо. Поэтому первый продовольственный план республики госплановцы разработали так, чтобы впятеро сократить число иждивенцев государства. А топливная секция Госплана действовала в полном содружестве с Главтопом — снабжение фабрик, заводов, городов углем, дровами, нефтью налаживалось.

Текущие хозяйственные планы...

Сколько им отдано твоей энергии, Глеб Кржижановский! Сколько бессонных ночей провел ты, обдумывая, прикидывая, как бы, подобно евангельскому герою, одним караваем накормить тысячу голодных, вязанкой хвороста обогреть толпы замерзающих!..

Текущие хозяйственные планы...

«Фабрики Иваново-Вознесенской губернии произвели: Юрьевецкая — 1696 пудов льняной пряжи (35 процентов сверх нормы), Кохомская — 235 пудов (плюс 39 процентов), Ново-Писцовская — льняной пряжи — ...сурового товара — ...отделано ткани — ...»

Из-за границы пришел семьдесят один вагон льняного семени. Двадцать два вагона уже распределены по губерниям, шесть — только что отправлены на Петроград, остальные сорок три ждут в Москве...

Как разумнее распорядиться этим богатством?

Где правильнее, выгоднее посеять, чтобы и завтра поднимались, вовсю работали «ударные текстильные фабрики», чтобы ни секунды не стояли станки из-за того, что нет сырья?

Глеб Максимилианович сидит в кабинете, заваленный сводками, отчетами, справочниками. Вспоминается чье-то выражение: «держать руку на пульсе страны». Еще недавно оно казалось ему напыщенным, даже смешным. Но теперь... Пожалуй, иное определение тому, чем он занят сейчас, и не подберешь.

По плану Наркомпрода на февраль для железных дорог было назначено около двух миллионов пудов хлеба. За первую половину месяца отгружена только десятая часть этого количества, за вторую — еще меньше.

Минувшей зимой топливный кризис полностью остановил производство и ремонт на Тверском, Таганрогском, Харьковском, Екатеринославском заводах. Ударные заводы — Коломенский, Мытищинский, Луганский, «Вестингауз» — работают с перебоями.

К марту из восемнадцати тысяч девятисот двадцати девяти наших паровозов «больных» было одиннадцать тысяч шестьдесят три, или пятьдесят восемь процентов...

Станции запружены, движение парализовано мешочниками всех рангов. Различные чины различных ведомств — «совбуры», как называет их теперь Ленин, занимают вагоны под предлогом служебных поручений, под видом всевозможных «комиссий». На деле мешочничают — добывают пропитание для себя и своих подчиненных. Железнодорожные служащие почти сплошь мешочники, спекулянты... «Голодная норма» шпал на текущий год — девятнадцать миллионов штук, а есть только пять миллионов...

«Все это можно понять,— думает Глеб Максими-

лианович, терпеливо слушая жалобы очередного ходока.— Многое можно даже простить. Но разве можно мириться со всем этим? Что делать? Как поступить?.. Новый оперативный год на лесозаготовках уже начался. В Киев по Десне и Днепру пришли первые плоты. Сколько это тех же самых шпал! Сколько дров!.. А Главлеском до сих пор не закончил план предстоящей кампании. Пока ковыряются — сплавные реки пересохнут, в этакую-то жарищу! Безобразие! Как это люди могут? Не понимаю... Ускорить! Во что бы то ни стало! Ленину придется пожаловаться. На Политбюро поставить. Надо заготовить больше, как можно больше. Но только без хищничества. Заложить в основу плана рациональное ведение лесного хозяйства, иначе потомки нам «спасибо» не скажут... Плюс урегулировать вопрос о рабочей силе, то бишь в конце концов опять же о его величестве Продовольствии... Плюс улучшение и развитие механизации. Ме-ха-ни-за-ции... Н-да-а...»

Специальным декретом Совнаркома сельскохозяйственное машиностроение признано делом чрезвычайной государственной важности. Когда-нибудь — Кржижановский убежден, очень скоро — Челябинск, например, будет ковать машины для всей страны. Но пока что для ремонта конных плугов и борон в Челябинске нет железа, не мобилизованы кузнецы.

В Тамбовской губернии из двенадцати тысяч лошадей работают лишь восемь тысяч: к бескормице прибавились чесотка и чума...

Голова пухнет от проблем!

Тем временем один сотрудник уходил, «решив свой вопрос», появлялся другой.

Вот дверь кабинета открывает Есин, назначенный в Госплан от Народного комиссариата земледелия.

Задорный румянец на щеках. Кржижановскому всегда приятно видеть Есина, ставшего и настоящим большевиком и настоящим рабочим «у нас на «Электропередаче»...»

— Здравствуйте, Василий Захарович! — Легко поднимается из-за стола, трясет жесткую «шоферскую» руку.— С чем пожаловали? С какими вестями?

— Да с добрыми, Глеб Максимилианович, с добрыми. Видите, какое дело...

Усаживаясь, Есин ударяет о стул своими тяжелыми «мотоциклетными» башмаками, скрипит крагами, обстоятельно рассказывает о работе секции тракторного образования:

— Как вы знаете, Глеб Максимилианович, ударное задание Наркомзема — дать шесть тысяч трактористов и монтеров для трех тысяч тракторов, частью уже имеющихся у нас, частью прибывающих из-за границы, частью строящихся на наших заводах.

— Говорят, тяга к этому делу большая, особенно у молодежи...

Кржижановский улыбается: и суть дела радует, и еще — вон как складно выучился говорить наш, можно считать, воспитанник Василий Захарович Есин.

— Куда там! И молодые и не очень молодые валом валят. В Москве уже четыре тракторные школы да учебная база при Бутырских тракторно-ремонтных мастерских. В Петрограде пять школ и учебная база.— Докладывает, как заправский деятель! Помнит все отлично! — Короче, тракторные школы у нас растут, что грибы после дождя. А преподавателей...— Разводит руками.— Где же их наберешь столько, Глеб Максимилианович? Товарищей своих из армии перетащил — добился, чтобы откомандиро-

вали автомобильных специалистов. В Наркомвоене на меня уже дуются, косятся: «Вон,— говорят,— опять демобилизатор пришел!» Слесарей откапываем, мало-мальски знакомых с двигателями внутреннего сгорания, рабочих-металлистов привлекаем. И все равно нехватка!

— «Нехватка»... Первый раз в жизни с удовольствием слышу это слово. Отрадная, знаменательная, я бы сказал, обнадеживающая нехватка! — Глеб Максимилианович отошел к окну, задумался, глядя на пыльную, до унылости высушенную зноем мостовую. В прошлом году повсюду между булыжниками трава курчавилась, а теперь... Чего нет, того нет — не поднялась, выгорела вся среди горячих камней. По ним едва переставляют ноги буланые, гнедые, пегие одры, давно уже забывшие вкус овса, лениво, нехотя вздрагивают на ухабах телеги. И так же беспорядочно, по всем направлениям, не оглядываясь, не остерегаясь, тащатся прохожие. А вот и грузовик — чуть-чуть не сшиб лоточника в лаптях, который провожает его изумленно-восторженным взглядом: редкое зрелище даже здесь, в центре столицы.

И все-таки узнает еще шины эта мостовая. Не зря пришли из Красной Армии такие, как Есин. Не зря привлекает он к мирному труду еще и еще таких, как он сам. Вообще, мир — это мир! Нет военных тягот, зато есть возможность поставить на хозяйственную работу отборных людей — закаленных гражданской войной Есиных. Побольше бы их в Госплан...

Кржижановский погрозил кому-то: «дайте срок» — и обернулся к Есину:

— Погодите, Василий Захарович! Вы слышали о такой организации: бюро по приему эмигрантов из Америки?

— Ну как же! Конечно, слыхал.

— Попробуйте обратиться туда. Уверен: найдете тех, кого ищете,— людей, которые на «ты» с машиной, с трактором...

Не успел уйти Есин, пришел инженер Козьмин, личность тоже весьма примечательная, правда в своем роде...

Недавно Глеб Максимилианович предложил ему заняться приспособлением ветряных мельниц для электрификации деревни. Козьмин ухватился за идею, тут же выдвинул «программу-минимум»: немедленное (только немедленное!) использование... ста шестидесяти пяти тысяч мельниц (ни больше ни меньше!), конструирование мощнейших ветродвигателей, особая комиссия, «руководство которой я могу взять на себя» (скромностью инженер от рождения не страдал).

Не долго раздумывая, энергичный инженер написал Ленину о том, что он, Козьмин, между прочим — так и написал: «между прочим»! — познакомился с работами покойного профессора Жуковского, считавшегося первым в мире теоретиком аэродинамики, и уверен, что энергию ветра можно использовать больше, чем топливно-тепловую. «Россия богата ветрами (не только в головах некоторых «советских сановников»).— Возможно, это был намек и на него, Глеба Максимилиановича Кржижановского...— Использование этих ветров и будет первым шагом организации «Главсолнца»...»

Ленин со вниманием отнесся к предложению инженера, но испещрил поля его письма недоверчиво-скептическими «гм», вопросительными и восклицательными знаками.

Теперь Козьмин претендовал, обижался, требовал ускорить продвижение революционной идеи в жизнь.

— Да поймите же,— увещевал его Глеб Максимилианович.— Вам поручили весьма и весьма конкретное дело, а вы занялись добыванием солнечной энергии из огурца.

— Дайте мне комиссию!

— Зачем еще одна комиссия, в которую, кстати сказать, вы рекомендуете исключительно своих друзей? Научно-технический отдел ВСНХ сделал бы для вас все, что надо.

— Научно-технический отдел способен только замораживать! Их необходимо «перетряхнуть», как раков в мешке, вычистить эти авгиевы конюшни. Подумайте! За десять лет мы получили бы от ветра в пять раз больше энергии, чем по проекту ГОЭЛРО...

Сказать бы председателю Госплана все, что думает об инженере Козьмине, сдвинуть брови, топнуть ногой да еще с прибавлением вводных слов, которыми в таком совершенстве владеет дворник Сила Силыч. Но мягок, добр председатель Госплана.

«Один профсоюзы «перетряхивает», другой ВСНХ... О, господи! — страдал Кржижановский, прикидывая, как бы поделикатнее выпроводить разошедшегося прожектера.— Еще «сверхреволюционер» на мою голову! За что?..»

После Козьмина в кабинет ворвался журналист, только что вернувшийся из Кривого Рога. Отрекомендовался:

— Иван Кампенус.— И тут же обрушился, навалился на председателя Госплана: — Что же это такое?! До каких пор?! Куда смотрим?! Лесные материалы с Черниговщины не подвезены из-за разрухи транспорта. Решили заготовить рудничные стойки в ближних лесах, так на станции Калачевское их захватили — кто бы, вы думали? — сами железнодорожники! Растащили по домам, сожгли! Уголь, отправ-

ляемый для рудников, систематически реквизируется в пути Екатеринославской дорогой! Разве этого заслуживает Кривой Рог, который двадцать пять лет назад вместе с Донбассом отбил первенство у старого Урала, а перед войной уже давал три четверти общероссийской добычи руды и выплавки чугуна! Нет! Железный голод России утолит не Урал...

«Да что ты мне лекции читаешь? — сердился Глеб Максимилианович, так и не предложив незваному гостю стул.— И к чему противопоставлять один район другому? Кривой Рог пока что бездействует, а старик Урал, плохо ли, хорошо ли, выручает нас помаленьку. Прикинь: что, если через десять — двадцать лет опять война?.. И Кривой Рог нужен и Урало-Кузбасс будем двигать. Не-пре-мен-но!»

— Да погодите вы, в конце концов! — поморщился Кржижановский. — Не частите!

Но молодой правдист по-прежнему горячился:

— Работы на рудниках остановлены еще в восемнадцатом. С тех пор Кривой Рог пережил четырнадцать «правительств»! Немцы, гайдамаки, махновцы, деникинцы, повстанцы да просто местные крестьяне — все «руку приложили». Особенно жестоко пострадало все деревянное — все, что могло гореть... «Таранаковская» группа и рудник «Дубовая Балка» полностью затоплены. В остальных вода прибывает медленно, но неуклонно.

«Для чего ты все это говоришь? Будто я не знаю!» — У Кржижановского еще не прошло раздражение, оставленное «визитом» инженера Козьмина, он плохо слушал, так и сяк выворачивал странную фамилию журналиста (может быть, псевдоним такой — сверхреволюционный?).

Тем временем Иван Кампенус, упершись обеими

руками в стол председателя Госплана, не унимался, гнул свое:

— Двадцать тысяч горнорабочих разбежались. Это верно. Это так. Зато на местах две тысячи служащих, сторожа, десятники, технический персонал. Сохранились силовые установки общей мощностью до пятнадцати тысяч лошадиных сил. Из них половина — электрические! Станция Шмаковского рудника уже пущена в ход. Остальные крупные станции требуют лишь незначительного ремонта... Если принять меры к политическому оздоровлению района... Если одолеть транспортные затруднения путем организации специальных, охраняемых, маршрутов... Если к тому же учесть исключительно благоприятные продовольственные условия в Кривом Роге...

«Дело ведь говорит! А я к нему с предубеждением. Злюсь. У Ильича поучиться бы — как заинтересованно и доброжелательно выслушивает он каждого, кто спорит, отстаивает свою собственную точку зрения, как не терпит тех, которые согласны с ним с первого взгляда!.. Нет, просто дельный, дельный газетчик. Может быть, инженер по образованию?..»

Теперь только Глеб Максимилианович как следует разглядел Ивана Кампенуса, то есть он не разглядывал его в обычном представлении, он сосредоточил все внимание на ботинках корреспондента. А тому, кто умеет смотреть, эти видавшие виды, но крепкие солдатские ботинки могли рассказать многое. На каблуках — закаменевшие комочки глины, новороссийской цементной пыли, блестки кварца и руды. С боков — заплаты из добротной свиной кожи, пристеганные намертво смоленой дратвой где-нибудь на базаре лихим станичным сапожником, что не гонится за изяществом, но зато уж коли пристрочит, так пристрочит — скорей подошвы отлетят, чем лат-

ки. Головки, давно, должно быть, протертые, обтянуты заново несносимым — тоже просмоленным — брезентом, куском английского орудийного чехла, должно быть. Одним шнурком служит обрезок сыромятной уздечки, другим — кусок телефонного кабеля с миноносца или подводной лодки. Все надежное, прочное, как сам хозяин, и какое-то компактно-аккуратное — тоже, как он.

Да, нелегкий хлеб у этого человека, немало достается ему потопать по белу свету в поисках истины и справедливости.

— Что же вы стоите, товарищ? Присаживайтесь, пожалуйста!

До конца дней запомнится Глебу Максимилиановичу эта весна, как самая зловещая из всех, что пришлось пережить Советской республике. Даже те, кто с малолетства полагали, что хлеб родится в виде булок на деревьях, сделались тонкими знатоками земледелия — озабоченно поглядывали на небо, вздыхали, советовались друг с другом:

— Как там озимые? Выдержат?

— Озимые не знаю, а вот яровые... Сколько лет, говорят, не было ничего подобного, старожилы не упомнят.

— Агрономы называют зто «нарастающий темп засухи».

В воздухе носились, насыщали его, пропитывали, как электричество перед грозой, страшные слова: «срыв сева», «обострение топливного кризиса», «срыв металлургии, которая только-только начала выходить из состояния полнейшего развала».

Ленин, с надеждой смотревший на угрожающе ясное небо, вздыхал все мрачнее. Изо дня в день торопили Глеба Максимилиановича его письма:

— Вопрос об основных чертах государственного плана не как учреждения, а как *плана* стоит неотложно.

Теперь Вы знаете продналог и другие декреты. Вот Вам политика. А Вы подсчитайте поточнее (на случай разных урожаев), сколько это может дать.

Еще неизмеримо спешнее: топливо. Сорван сплав. Неурожай при такой весне сорвет подвоз.

Пусть Рамзин и К° дня в два даст мне краткие итоги: 3 цифры (дрова, уголь, нефть)

...В зависимости от этого буду решать о внешней торговле.

— Надо предположить, что мы имеем 1921—1922 такой же или сильнее

неурожай,

топливный голод (из-за недостатка продовольствия и корма лошадям).

С этой точки зрения рассчитать, какие закупки за границей необходимы, чтобы *во что бы то ни стало* победить самую острую нужду...

Одновременно строилась и сама «контора». Прежде всего создавался актив плановых работников. Кржижановский подбирал новых, дельных специалистов, совершенствовал аппарат, искал самые продуктивные методы работы.

Как-то вечером, перечитывая Энгельса, он вдруг особенно заинтересовался письмом к Бебелю, в котором Энгельс предупреждал, что если социалисты придут к власти в результате войны, то поладить с технической интеллигенцией окажется не так-то легко:

«...Техники будут нашими принципиальными врагами и будут обманывать и предавать нас, как только смогут; нам придется прибегать к устрашению их,

и нас все-таки будут обманывать. Так было *всегда* с французскими революционерами...»

Столько раз читаное-перечитаное еще в молодости словно повернулось новой гранью, заново открылось для Глеба Максимилиановича.

«Действительно,— задумался он,— все это прямо адресовано мне... Если деятелям французской революции пришлось считаться с сопротивлением интеллигенции, которая была связана с феодальной верхушкой, то наша революция воспроизвела на еще более широкой основе конфликт новаторов-коммунистов и того интеллигентского окружения, которое связано с прошлым крепкой пуповиной. Мобилизация Академии наук нам не удалась. Мобилизация в ГОЭЛРО стала как бы «вторым призывом». Здесь мы сумели вызвать уже какой-то отклик. И все же большинство моих сотрудников настроено отнюдь не советски... Но, как и для ГОЭЛРО, сейчас иного выбора у меня нет».

Организована подкомиссия районирования — вырабатывается ведущий, определяющий принцип нашей плановой системы. Опять, как во времена ГОЭЛРО, крупнейшие ученые обосновывают возможности, задачи, перспективы экономических районов. Кропотливо, шаг за шагом первый раз в истории создается «мозг» экономики целой страны, да какой страны! Начинается, разворачивается работа, которая введет в жизнь понятия «плановая экономика», «пятилетка», «победа социализма».

Только сдвинули с мертвой точки очередное начинание — опять запинка: Троцкий настоятельно рекомендует Ленину брошюру Шатуновского «Белый уголь и революционный Питер».

Ленин прислал ее Глебу Максимилиановичу — на отзыв.

Усталый вернулся председатель Госплана домой, поужинал «чем бог послал», недовольно покряхтел, поднимаясь из-за стола, ушел в кабинет, без особого энтузиазма раскрыл желтовато-розовую книжицу. И тут же — хвать кулаком по столу. Ну, конечно! Вот оно! Отрыгнулось! На первой же странице: «... ударить в набат... стать в ряды...»

В начале брошюры шли общие декларации об использовании энергии Свири и Волхова для восстановления Петрограда как промышленного центра. Запальчиво и патетически автор ломился в открытую дверь, полемизировал так, точно кто-то был против использования гидравлических ресурсов этих рек. Потом он выдвигал в противовес «нереволюционному» ГОЭЛРО свой сугубо «революционный» план. Причем слова «путь мирного строительства» из уст его звучали как ругательство. Он сыпал едкие намеки, сдабривал все изрядной порцией демагогии.

«Не все, от кого зависит жизнь Петрограда, считают, что спящая красавица уж наверное проснется при раскатах грома мировой революции, когда очутится в центре Пролетарской Европы».

«Ну-ка, посмотрим, что за методы ты предлагаешь?» — подумал Глеб Максимилианович с любопытством, точно увидал перед собой лицо противника, ощутил азарт завязавшейся драки.

А противник, ничуть не смущаясь, разворачивал свой план:

«... Революционно произвести грандиозную работу, не пожалев для нее, как материал, техническое достояние петроградских заводов, гранит, в который одета Нева, целые улицы, снесенные для кирпича и камня... не побояться самые ценные сооружения использовать... в том же порядке, в каком мы переплавляем всякие изделия в слитки... Мебель в барских

квартирах мы переставили. Переставим теперь такой же твердой рукой электрическое и другое оборудование барских буржуазных заводов. Двинем на Свирь и Волхов все решительно, если нужно будет, то хотя бы пол-Петрограда».

Юмористическое воображение Глеба Максимилиановича сразу представило картину того, как Эрмитаж, Исаакиевский собор, Медный всадник — все рушится «твердой рукой», переплавляется в слитки, направляется — неведомо на чем — к берегам Свири и Волхова. Оборудование «барских буржуазных заводов», веками кормившее Россию машинами, кораблями, инструментом, сукном,.. демонтируется — бог весть как приспосабливается к тому, чтобы стать турбинами и генераторами сверхмощных современных гидростанций.

Н-да-а...

И все это предлагается всерьез, без тени улыбки, как «немедленное революционное строительство» путем массового порыва и творчества — гигантского скачка вперед за какие-нибудь восемь месяцев... И всю эту полуграмотную дребедень Троцкий противопоставляет усердной вдумчивой работе двухсот Александровых, Шателенов, Рамзиных...

Если задуматься, все это пострашнее Кронштадта.

Ленин встретил Глеба Максимилиановича уже в дверях — привычно бодрый, чуть сдержанный:

— Здравствуйте! Садитесь. Ну что? Прочли? Как?

— Да просто не знаю, что и сказать, Владимир Ильич... Автор брошюры и сам где-то понимает, признает, что поставить Свирь и Волхов на службу Петрограду — работа циклопическая. Но в то же время требует немедленно — вы чувствуете? — не-

медленно обратить силу течения воды в электричество и передать по проводам. Нельзя сказать, что он полный невежда или идиот, но...

— Так, так, так... Кто же он? Что собой представляет?

— Не знаю. За одно поручусь: не специалист. Я уж не говорю о его предложении расколошматить Петроград на щебенку и кирпич, от которого за версту несет «мудростью» щедринского градоначальника. Того самого, что «разобрал мостовые и настроил монументов». В общем впечатление такое, будто стоишь перед гранитной стеной, сквозь которую во что бы то ни стало надо пробиться, а тебе предлагают взорвать ее с помощью елочной хлопушки.

— Так, так, так,— опять задумчиво произнес Ленин, улыбнулся: — Вы, как всегда, правы.

— Безусловно, Владимир Ильич! — Кржижановский принял его шутливый тон.— Я всегда занимаю правильную позицию, за исключением тех случаев, когда я ошибаюсь.

— Гм!..

— Словом...— не унимался Глеб Максимилианович.— Вы купались когда-нибудь в Финском заливе?

— Доводилось.

— А я всегда остерегался. По-моему, купаться там можно только в обнимку с горячим самоваром. Так вот, когда я читал книгу Шатуновского, мне все время казалось, будто меня окунают с головой в воды Финского залива, да еще не в июле, а в апреле.

— Да еще без самовара!

— Ну, уж это само собой...

Тут же Ленин пододвинул к себе лист бумаги, стал набрасывать письмо Троцкому. Зная, что под разговор Ильич писать не любит, Глеб Максимилианович затих, но по обыкновению следил за рукой

Ленина. Писал он быстро, не перечеркивая, слова и фразы подбирал свободно, не испытывая затруднений:

— Прочел я брошюру Шатуновского «Белый уголь и революционный Питер».

Очень слабо. *Декламация* и только. Делового *ничегошеньки.*

Единственный деловой намек: стр. 15:

«По мнению выдающихся спецов-гидравликов, восемь месяцев достаточно для реальных плодов этого великого подвига».

Возвращенная Кржижановским книжица лежала раскрытая как раз на пятнадцатой странице, и возле приведенных слов о мнении выдающихся гидравликов чернела ленинская пометка:

«Каких? Где и когда напечатано?»

А на предыдущей странице были отчеркнуты слова: «уже через несколько месяцев иметь ток, чтобы пустить в ход оставшиеся заводы», и приписано сбоку:

«Кажись, тут соль. Сколько месяцев? Сколько току? Практически возможно?»

Вот и все. Несколько вопросов — и, как говорится, мокрое место от книги, до отказа напичканной самомнением, нафаршированной «сверхреволюционными» лозунгами и прожектами.

На собственном опыте испытал Кржижановский действие этих ленинских пометок. Не раз Владимир Ильич просматривал его рукописи: «Это удалось... Тут вам самому было не все ясно... Тут вы были не уверены... А тут писали против совести». Если он одобряет, ставит на полях «да», сомневается — «гм! гм!» или «Ха!». Любит подчеркивать один, два, а то и три раза, что чаще всего означает: «не поскользнитесь на этом месте». В общем, если он берет

чью-то книгу, Глеб Максимилианович заранее улыбается; горе всякому лукавству, всякому приспособленчеству. Подчеркнет, поставит пару вопросительных знаков — и «суемудрие» автора, искусно прикрытое витиеватыми фразами, становится очевидным для каждого.

Тем временем Ильич отложил подальше от себя злополучную брошюру, продолжая кидать на лист ровные и круглые, как бисер, буквы:

— Шатуновский взялся писать о том, чего не знает (Кржижановский так оценивает).

«Излюбленный прием! — усмехнулся про себя Глеб Максимилианович.— Иногда Ленин даже свой замысел представляет как предложение другого. Взвешивает, обсуждает — семь раз примерь, один отрежь,— потом, наконец, после всех голосует *за*.

Владимир Ильич попросил извинить его за то, что отвлекся, и дописал:

— Пусть Шатуновский докажет и даст *деловые* предложения. Иначе болтовня остается болтовней.

Однако дело этим не кончилось.

Через несколько дней Глеб Максимилианович снова сидел перед Лениным в его кабинете, снова давал объяснения, помогая разобраться. Троцкий обиделся, прислал Ильичу письмо, защищая Шатуновского, ведь:

«...Он считает, что черновую работу по электрификации — если отнестись к делу с героическим напряжением — можно закончить в восемь месяцев. Очень может быть, что он ошибается...»

Прочитав это вслух, Ленин подчеркнул последнюю фразу, поднял взгляд на Глеба Максимилиановича:

— А вы как думаете?

— Точно так же,— язвительно кивнул Кржижановский.— Очень, «очень может быть, что он ошибается»!

— Обоснуйте. Докажите.

— Да что тут доказывать, Владимир Ильич! Это же элементарно. Классон с Чиколевым строили первую русскую гидростанцию около двух лет. Речь идет об установке на Охтинских пороховых заводах. Мощность ее была микроскопической даже для конца прошлого века. Всего триста пятьдесят сил. Ниагарская гидростанция Адамс построена за десять лет. И мировая практика пока не знает более короткого срока возведения крупной гидростанции. Притом все это в благополучной Америке, не тронутой войной, в стране, которая богаче всех техникой, где есть продовольствие, бесперебойно действует транспорт. А у нас сейчас... Да если мы пустим Волховскую гидроустановку в двадцать шестом году, это будет рекорд быстроты. А они толкуют о восьми месяцах!..

Ленин подчеркнул фразу «Очень может быть, что он ошибается» еще раз, еще, задумался, провел четвертую черту:

— Кстати, нельзя ли ускорить заказы на турбины для Волховстройки?

— Да в общем-то... пока что...— Кржижановский замялся.

— Да или нет?

— Вы же сами, Владимир Ильич, написали мне, что не все электрические заявки можно и должно оправдать теперь, когда придется закупать за границей продовольствие.

— Конечно. Сегодня недостаточно доказать, что электричество экономит топливо. Надо доказать еще, что необходим данный расход на двадцать первый —

двадцать второй год при условии максимального хлебного и топливного голода. И все же!..

— Ускорим, Владимир Ильич.

— Надвигающийся голод и кризис топлива отнюдь не означают, что мы должны отступиться от плана электрификации, свернуть его. Знаете, я думал тут ночью — не спалось... Надо, мне кажется, скорее поднять свои турбинные заводы. В первую очередь питерские, конечно: Металлический, «Сименс и Гальске»... Предусмотрите это в текущем хозяйственном плане. Закажите для них все необходимое. Во что бы то ни стало... Подумайте об этом.

— Постараюсь, Владимир Ильич... Что же там еще, в этом письме?

— Да, что?..— Ленин отодвинул бумагу, прикрыл ее локтем так, что Глеб Максимилианович уже не мог удовлетворять свое любопытство.— Обычные выходки. Хвала Шатуновскому за то, что требует принять исключительные меры, заинтересовать массы. В этом-де заслуга его брошюры. Вашей милости, понятно, достается. И отзыв-то ваш неубедителен. И плановая комиссия-де есть более или менее плановое отрицание необходимости практического и делового хозяйственного плана на ближайший период. И вообще... Да мало ли...— Он приподнял локоть, черканул на полях вопросительный знак, снова заслонил «сверхреволюционное» послание, задумался о чем-то неизмеримо большем, чем само письмо.— Да, Троцкий, как видно из этого, настроен сугубо задирательно. Ну, что ж? Не впервой.

Выходя из кабинета, Глеб Максимилианович улыбнулся: как трогательно ограждал его Ильич от обидных выпадов и намеков, которые наверняка рассыпаны по всему письму маститого «сверхреволюционера».

По дороге обратно в Госплан он невольно сопоставил Троцкого и Ленина. Сколько самых революционных, самых красивых слов уже произнесено Троцким по поводу электрификации, а на практике — повальное варварство авантюристического скачка.

Одним замечанием о скорейшем пуске турбинных заводов Ленин сделал для спасения «революционного Питера» больше, чем все «сверхреволюционеры» всей своей «сверхбарабанщиной».

Да что Питер? Дело и шире, и глубже. Речь идет о путях строительства социализма: штурмовой натиск средневекового кустаря или планомерное возрождение всей экономики на основе новейшей техники? Кажущаяся революционность Троцкого и истинная, не на словах, а на деле, революционность Ленина — его загад на многие годы вперед.

Глеб Максимилианович живо представил, как скоро — он убежденно верил в это — зашумят уникальные гиганты станки турбинного Металлического завода, завода генераторов «Сименс и Гальске», превращенного в «Электросилу». Те самые заводы, которые троцкисты предлагают разрушить на щебенку, переплавить в слитки, станут истинными «заводами заводов» — один за другим будут строить турбогенераторы для Волхова, для Свири, для Днепра, а потом — машины, каждая мощностью в целый Волхов, в целую Свирь, в Днепр, больше Днепра, больше половины ГОЭЛРО... Строить не только для первой Республики Труда, но и «для грядущей социалистической Европы и Азии».

Чтобы завтра все это сбылось, надо сегодня — сейчас — драться. Не только против Рыкова, не только против Троцкого. И не на кулаках, не на шпагах — драка похитрее, потруднее:

Добыл мешок семян, отвел десятину под кукурузу, которую Ленин призывает сеять для страховки от голода,— это р-раз в зубы!

Заготовил вагонетку торфа, сажень дров, штабель угля — уже под дых!

Выпустил на отремонтированный путь паровоз — наповал!

— Ну, что ж? Драться так драться: во что бы то ни стало...

Бетоном и железом по земле

— Глеб Максимилианович, я чувствую, вы хотите что-то сказать, но не решаетесь.

— Да вот, засел в голову один анекдотец белогвардейский...

— Нуте-с.

— Даже с названием: «Почему дом не строится...»— Кржижановский отхлебнул чаю, принялся рассказывать:— «ВЧХПСФУ решил построить дом и послал смету на утверждение в ПФИЧМС. Но тут вмешался СПЛКМУ и потребовал, чтобы смета ВЧХПСФУ, до утверждения ее в ПФИЧМС, была проверена СТОФХЦ. А когда смета, наконец, вернулась, утвержденная, куда надо, оказалось, что нет К-И-Р-П-И-Ч-А. Вот почему дом не строится».

— Гм... В самом деле едко. А главное, к сожалению, верно: в бюрократическом соре потоплено серьезное.

— И нет кирпича...

Они сидели в столовой кремлевской квартиры Ле-
 нина. В зеркале на стене Глебу Максимилиановичу

было видно и свежую скатерть, и стаканы, и чайник на подставке, и сахарницу, и левый локоть Владимира Ильича.

Мерно тикали в углу высокие часы с гирями. Свет электрической лампы играл в стеклах буфета, оттенял чистоту резьбы массивных стульев с плетеными сиденьями и спинками.

Только что принесли посылку: пшеничный хлебец — фунта в полтора, ломоть ноздреватого молодого сыра и стакан варенья из яблок — должно быть, коричных.

Посылавший все это, как видно, знал, что Ленин очень любит хлеб с сыром и вареньем. Недаром и в семье Кржижановских давно уже такое сочетание называли только «бутербродом Ильича». Анонимный отправитель хорошо рассчитал и то, что щедрые посылки, непрерывно приходящие на его имя, Ленин тут же передает в детские дома,— слал всего понемногу, чтобы переотправить столь малые порции было бы просто неловко.

— Вот,— Владимир Ильич виновато развел руками.— Нельзя отказаться. Обидятся. От души послано.

Он нарезал свежий, ароматный, хрустевший корочкой хлеб, сыр, потом развязал, шурша пергаментом, бинт, охватывавший стакан, с вожделением и вместе с гордостью мастера-художника намазал варенье — полюбовался «фирменным» бутербродом:

— Пожалуйста!

Глеб Максимилианович почему-то именно сейчас подумал о том, что Ильичу доводилось есть и конину. Теперь он просто-напросто голоден. Очень голоден.

Между тем Ленин подложил в стакан гостя еще кусок сахару, а сам стал пить вприкуску.

— Что же вы, Владимир Ильич?! — запротестовал Кржижановский. — Мне такой сладкий, а себе...

— Да я уж так.

— Нет. Так не пойдет. Я не буду пить.

— Пейте. Ничего...

Он жил, как все.

А всем теперь было несладко. Глеб Максимилианович знал это очень точно: в июне фунт хлеба стоил пять-шесть тысяч рублей, пуд ржаной муки — сто двадцать пять, пшеничной — двести пятьдесят тысяч.

За июль, август, сентябрь в Самарской, Саратовской губерниях, Татарской республике от голода и эпидемий погибло тридцать семь тысяч человек, в том числе двадцать одна тысяча триста детей. В Уральской губернии умерла четверть населения. В Пугачевском уезде — половина.

Погибают главным образом самые трудоспособные — от двадцати до сорока лет, причем больше мужчины. Процент смертности среди ученых втрое превышает процент смертности рядовых граждан... Снижение роста детей. Падение веса новорожденных. Ослабление их жизнеспособности. Колоссальный рост наследственных заболеваний. Повышенная нервозность. Душевные болезни...

— Н-да... — мысленно возвращаясь к белогвардейскому анекдоту, рассказанному Глебом Максимилиановичем, произнес Ленин. — Они еще могут смеяться! Теперь, в эту пору! По поводу всего этого!.. А вот Герберт Уэллс не смеется.

— Вы имеете в виду его книгу?

— Не только. Но особенно и прежде всего, конечно, ее. — Ленин взял со столика возле часов принесенную из рабочего кабинета книгу, протянул Кржижановскому.

— «Russia in the Shadows»,—прочитал Глеб Максимилианович.— «Россия во мгле».

— Может быть, правильнее перевести «впотьмах» или даже «во тьме»?

— Обнадеживающее название!

— Да! — подхватил Ленин.— Уэллс не скупится на мрачные краски. Но всемирно признанный писатель утверждает, вот, послушайте: «Не коммунизм вверг эту огромную, трещавшую по швам, обанкротившуюся империю в изнурительную шестилетнюю войну. Это дело рук европейского империализма... Мстительный французский кредитор, тупой английский журналист куда более повинны в этих смертных муках...»

— Крепко сказано! — Глеб Максимилианович задумчиво перелистал книгу.— Сам по себе приезд великого писателя в «Совдепию, где у власти рогатые чудовища большевики», весьма и весьма смелая демонстрация. Однако Уэллс не очень-то жалует марксистов.

— Куда там! — Ленин добродушно улыбнулся.— Всем нам достается на орехи. Даже научную добросовестность Маркса Уэллс третирует как «монументальный образец претенциозного педантизма». Мечтает вооружиться против «Капитала» бритвой и ножницами — написать «Обритие бороды Карла Маркса...».

— Не понимаю, что же тут смешного?

— А то, дорогой Глеб Максимилианович, что выдающийся художник Уэллс в своей книге неизменно побеждает Уэллса-публициста.

— Мне все же не ясно...

— Погодите. Что главное в его книге: нелепые наскоки на Маркса или признание того, что всюду, где развивается промышленность, возникает комму-

нистическое движение? «Марксисты,— заключает Уэллс,— появились бы все равно, даже если бы Маркс никогда не существовал...»

Стрелки часов сошлись, отмерив полночь. Тишина. Никого вокруг. Все домашние, верно, уже спали в своих комнатах. На соседнем стуле, пригревшись, жмурился пушистый рыжий кот и не мурлыкал больше, потеряв, должно быть, надежду выпросить что-нибудь со стола.

Владимир Ильич сходил на кухню, принес подогретый чайник.

— Но позвольте! — сразу напустился Глеб Максимилианович.— Вот тут Уэллс прямо говорит, что вы впали в «утопию электрификации». Не верит в ГОЭЛРО.

— И Рыков не верит, и Троцкий, а они считаются марксистами.

— Целая глава названа «Кремлевский мечтатель», и, если я не ошибаюсь,— Кржижановский подмигнул,— речь идет о вас.

— Гм... И все же! Заслуга Уэллса в том, что он, словно истинный наш единомышленник, говорит миру: в России «рухнула социальная и экономическая система, очень схожая с нашей и теснейшим образом с ней связанная». Теперь единственно возможное здесь правительство — Советское.

Глеб Максимилианович подлил кипятку в оба стакана, вопросительно глянул на Ленина:

— Говорили, будто книга Уэллса вызвала на Западе взрыв негодования белогвардейцев всех сортов. Наши сиятельные и не сиятельные изгнанники — Бурцевы, Трубецкие — будто бы рвут и мечут, объявляют ее вредной, предают анафеме...

— Еще бы! — Ленин усмехнулся.

— Горький рассказывал, что Черчилль выступил

против Уэллса со специальной статьей в «Санди экспресс». Уэллс ответил — публично отстегал вдохновителя крестового похода на Советы.

— Вот видите! Работа Уэллса и полемика вокруг нее чрезвычайно полезны для распространения правды о нас, для успеха торговых соглашений, в том числе и тех, от которых зависит электрификация. Вспомните судьбу наших заграничных заказов на турбины и другое оборудование станций.

— Горы препятствий,— вздохнул Кржижановский.— Недоверие к нам, сомнения в нашей долговечности, добросовестности, платежеспособности.

— А Уэллс высмеивает белогвардейские сказки о зверствах большевиков, утверждает, что коммунисты — порядочные люди, а их правительство — честно. Он прямо призывает к сотрудничеству с Советской Россией. Возьмите вот хотя бы страницу сто пятьдесят вторую. Или сто сорок пять — сто сорок восемь!.. Уэллс, не верящий в Маркса и видящий Россию в потемках, делает для ее освещения больше, чем марксисты Рыков и Троцкий с их «совбюрократизмом» и «сверхреволюционностью»...

Да, бесспорно, все это было так... Но в то же время Уэллс был потрясен и признавал:

— Основное наше впечатление от положения в России — это картина колоссального, непоправимого краха.

Загад «кремлевского мечтателя» не вдохновил его, не вызвал сочувствия — просто-напросто оказался не под силу воображению великого фантаста. Двенадцать лет понадобятся Уэллсу, чтобы понять:

— Ленин оказался не мечтателем, а пророком... Он был хозяином теории, а не ее рабом, и умел применять отдельные положения так, чтобы они не сковывали действия, а способствовали движению вперед.

Именно поэтому Ленин наложил такой неизгладимый отпечаток на весь ход развития России и превратил ее в быстро растущее, могущественное государство.

Двенадцать лет предстоит еще прожить, прежде чем Уэллс придет к такому выводу, но Ленин... Двадцать первый год стал той каплей, которая переполнила чашу испытаний, выпавших на долю Ильича, подорвала его силы, но Ленин воплощал свою мечту в жизнь сегодня, сейчас, сию минуту.

В голодном Поволжье было жарко, наверное, как в Египте. Иссушенная в пыль, выжженная в прах земля не трескалась, а словно корчилась, расползаясь на куски. Из Поволжья голод перекинулся в Прикамье, за Урал, в Киргизию, в Крым, на Харьковщину. Среди лета огороды, выгоны, сады чернели оголенные, точно поздней осенью — люди съели всю лебеду и все листья.

Чтобы спасти миллионы жизней, многие важные дела были отодвинуты на второй план, отложены — многие, но не строительство электрических станций.

Центральная комиссия помощи голодающим всюду, где возможно и невозможно, добывает хлеб, семена, лекарства. Транзит этих грузов из-за рубежа и перевозки по стране приравнены к военным. Голодающие районы покрыты сетью столовых и питательных пунктов — к очагам жизни стекаются детишки, бабы, мужики саратовские, казанские, херсонские...

А возле днепровских порогов мужики саратовские, казанские, херсонские, снабженные пайком, обутые, одетые, снаряженные, рубят смоляные бревна, ставят вышку за вышкой. Собираются артелями, становятся гуськом, ухватясь за канат,— тянут, тянут, отдуваются, кряхтят, упираются в матушку-землю.

— Р-раз, два — взяли! — командует буровой мастер.— Е-ще взяли! Дружней! Дружней!.. У-ро-нили!

Мужики отпускают канат. Громыхает блок, закрепленный на вершине вышки. Тяжелое долото взрывает пыль, с глухим стоном вонзается в грунт.

— И опять взяли! Подняли!.. Уронили!

Глубже врубается долото. Вздрагивает, охает земля, не желая отдавать свои тайны для проекта Ивана Александрова. Не покоряется мужикам, тем самым, которые вместо собственных фамилий царапают крестики в ведомости на выплату жалованья.

Но придется — придется: и тайны отдаст земля, и плотина встанет поперек воды.

— Взяли! Взяли! Враз! Дружно...

«Помгол» — это отчисления рабочих, служащих, милиционеров, отдельных красноармейцев и целых воинских частей. Гонорар за стихи Демьяна Бедного и сбор от публичного диспута «С богом или без бога», организованного Рогожско-Симоновским райкомом. Субботники в пользу голодающих, концерты, митинги, «голодные» номера журналов, художественные издания Пушкина, Толстого, Некрасова. Семье председателя Совнаркома приходится расстаться с единственной фамильной драгоценностью: пусть большая золотая медаль, которой выпускник Симбирской гимназии Владимир Ульянов награжден, как «самый достойнейший по успехам, развитию и поведению», накормит нескольких страждущих.

А в болотах под Шатурой успешно испробуется новейший торфосос системы Классона — вовсю добывает топливо для опытной электрической станции. Капризные котлы ее, взятые в свое время с миноносцев, инженеры решают заменить иными — бездействующими на Московской трамвайной станции. Но получить их не так-то просто: немало волокиты.

Узнав, что дело «засолено», Ленин жестоко отчитывает виновных:

— Это безобразие! Тотчас проверить, сделано ли что. Если нет, сейчас же двинуть. Ввиду чрезвычайной важности Шатурского строительства прошу без всяких промедлений разрешить данный вопрос.

Котлы поставлены и усовершенствованы питерским профессором Макарьевым Тихоном Федоровичем. В шахтно-цепных топках его конструкции куски торфа горят безотказно. Опытная Шатурка не просто дымит на все пять тысяч киловатт — она становится своего рода лабораторией новой техники. Испытанные здесь топки Макарьева полностью решают проблему сжигания торфа, признаются образцовыми и у нас и за рубежом, позволяют строить на торфяных массивах крупные районные станции.

Коминтерн создает «Временный заграничный комитет помощи России». Ленин обращается за поддержкой к пролетариям мира. Горький в своем воззвании к интеллигенции говорит:

— Смею верить, что культурные люди Европы и Америки, поняв трагизм положения русского народа, немедля помогут ему хлебом и медикаментами.

Манчестерские ткачи, металлисты Вены, Турина, Гамбурга, которые сами «сидят на карточках», отчисляют советским братьям последние крохи. Докеры Нью-Йорка, Глазго, Лондона, сказавшие так недавно «Руки прочь от России!» при отправке оружия белогвардейцам, теперь безвозмездно, вопреки воле своих правительств, грузят продовольствием пароход за пароходом. Герберт Уэллс выступает и дома, в Англии, и за океаном, в Америке, собирает фунт за фунтом, доллар за долларом на выручку Советской республики. Анри Барбюс колесит по Франции —организует сборы и пожертвования. Анатоль Франс отдает голодающим Поволжья только что полученную Нобелев-

скую премию. Пять русских коммунистов, заключенных в Ковенской тюрьме, отказываются от продовольствия, присылаемого из советской миссии, в пользу голодающих России. Одновременно все заключенные литовские коммунисты отказываются от тюремного пайка в пользу голодающих, несмотря на то что незадолго до этого они сами выдержали тюремную голодовку.

А на берегах Волхова, на левом, возле села Михаила Архангела, на правом, в Дубовиках, собрались мужики-отходники ближних, да и не ближних губерний. У самой воды рубят опорные ряжи калужские плотники. Бородатые, незатейливые с виду мужики — лыком подпоясаны, да не лыком шиты. Вон хоть тот дядя в добротных яловых сапогах, густо стелющих по ветру ядреный дух дегтя,— на Всемирной выставке в Лондоне срубил в старинном стиле русский павильон, а потом сам был выставлен в нем, как художник-виртуоз. Брал чурбак, клал на торец левую ладонь с растопыренными пальцами и с маху — раз, раз, раз — «промеж пальцев» на пять поленьев разваливал — только ахали, дивясь, англичане...

Стекаются на Волховстройку мастера первой руки, гонят барки и плоты, ладят дома и лесопилки, дробят камень для засыпки ряжей, долбят лопатами грунт и вывозят на подводах-«грабарках» в отвалы. Дымится земля под салазками — две шестерки коней, запряженных цугом, тянут локомобиль, новгородские мужики ставят временную электрическую станцию для механизации работ, бранятся, ворчат, сетуют:

— Лошадь не человек: хошь не хошь, а десять фунтов овса дай...

Летят в Москву телеграммы:

«Работы идут хорошо. Денег нет. Продовольствием весьма плохо».

Жалуются Глебу Максимилиановичу «искренние доброжелатели»:

— Зачем это Графтио так много инженеров на стройку набрал? Притом все больше молодые, зеленые, смеются над ними, называют «прорабы в скобках»! Раскрывать, мол, еще надо, чтоб установить истинную величину...

— «Много»? — задумчиво повторяет председатель Госплана и хмурится: — Разве Волховская установка — последняя? Впереди еще Свирь, Днепр, Волга, Ангара, Енисей...

Над забоями, над банкетами, над дорогами — то пыльными, то вязкими, то припорошенными снегом — неизбывно слышные «баланда», «вобла», «пайка» заглушаются волнующими «аванкамера», «шлюз», «кессон», «экскаватор».

Скребут бороды мужики:

— Мудрено, боязно впервой-то.

Но:

— Глаза страшатся, а руки сделают.

— Если головы помогут! — подхватывает Графтио, поднимаясь по насыпи.

Он в своем неизменном драповом пальто, в путейской фуражке, в солдатских ботинках, залепленных илом и глиной. Только что из Москвы — отбивал там очередной штурм неверящих в гидростанцию, жаждущих прикрыть строительство под предлогом голода и отсутствия средств. На сей раз пришлось написать откровенно и честно Ленину о «невероятных условиях бюрократической безответственной неразберихи, а подчас — как будто умышленного противодействия».

Ленин тут же помог:

— Заявление и доклад главного инженера Волховстроя т. Графтио... обнаруживает и *преступление*

(волокиту) и ряд ошибок ВСНХ или Петросовдепа или *СТО*, или всех этих учреждений вместе.— Потребовал немедленно расследовать дело, предать суду виновных, выхлопотал и деньги и продовольствие.

Наперекор, назло всем бедам — в грозу и бурю двигается, живет строительство на Волхове. По-прежнему не испытывает недостатка лишь в недругах. Чем только не шпыняют, не корят они инженера Графтио — даже тем, что, мол, нет у него фундаментальных печатных трудов.

— Что верно, то верно, милейшие господа,— труды свои пишу бетоном и железом по земле...

Надрываясь, изнемогая от «голодных забот», Ленин поддерживает Глеба Максимилиановича, советует, как вернее действовать:

— Надо попытаться рассчитать общегосударственный хозяйственный план на три случая...

— Из Центрального статистического управления надо сделать орган анализа для нас, *текущего*, а не «ученого»...

— Преимущества кукурузы... в целом ряде отношений, видимо, *доказаны*...

Надо тотчас постановить, чтобы *все* количество кукурузы, необходимое для *полного* засева *всей яровой* площади во *всем* Поволжье, было закуплено своевременно для посева весной 1922 г....

Спешно обсудить, можно ли найти практичные средства и пути того, чтобы при *наличных* условиях крестьянского хозяйства, *быта и привычек ввести в пищу людям кукурузу*...

День за днем ревниво направляет Ильич воплощение в жизнь его мечты:

— ...Армия может и должна... оказать громадную помощь делу электрификации. К великому этому делу надо армию привязать — и идейно, и организационно, и хозяйственно...

— Научно-технический отдел ВСНХ, кажись, совсем заснул. Надо либо разбудить его, либо двинуть настоящим образом дело о разгоне этих ученых шалопаев и обязательно установить точно, кто будет отвечать за ознакомление нас с европейской и американской техникой толком, вовремя, практично, не по-казенному. В частности, Москва должна иметь по 1 экземпляру *всех* важнейших машин *из новейших,* чтобы учиться и учить. (Два инженера говорили мне, что в Америке делают дороги машиной, которая превращает проселок в шоссе только силой своего давления; как бы это важно для нашей бездорожной, полудикой страны!)...

— Орошение особенно важно, чтобы поднять земледелие и скотоводство во что бы то ни стало...

— Расследовать дело о простое шведского завода «Нитвес и Гольм»... *«Медленно оформляли»* заказ на водные турбины!! В коих у нас страшный недостаток!! Это верх безобразия и бесстыдства! Обязательно *найдите* виновных, чтобы мы этих мерзавцев могли сгноить в тюрьме...

— Нет ли некоторых подробностей о начале организации станций Штеровской, Иваново-Вознесенской, Нижегородской и Челябинской?

Судьба каждой станции волнует Ленина: ведь каждая — это рывок из тьмы, забитости, бессилия. Но особое внимание его неизменно посвящено Кашире — «Каширке», как он ее ласково зовет.

Известно, сколько двутавровых балок, хлеба, сапог необходимо. А во сколько бессонных ночей обойдется первенец ГОЭЛРО Глебу Максимилиановичу

Кржижановскому? Сколько душевного жара, энергии сердца, перенапряжения воли, слуха, глаз вкладывает в строительство уже больной Ильич?

Три года назад на перрон захолустной, ничем не замечательной станции возле берега меланхолически невозмутимой Оки сошли молодые инженеры. Обосновались в заброшенной усадьбе Терновых. Облюбовали пустырь-площадку. Принялись за работу. Интервенция и блокада не лучшие помощники, все же изловчились — заказали оборудование нейтральной Швеции. Там, как назло, нужных машин не строили, но фирма «Лют и Розен» купила их у немцев и перепродала нам.

В девятнадцатом году, когда деникинские разъезды были в нескольких верстах от Каширы, строительство не только не приостановили — не снизили его темпы. Ленин просил дать строителям отсрочку от призыва в армию.

Нынешней зимой, проезжая в Горки и из Горок, он с беспокойством следил за тем, как ставили в мерзлый грунт бревенчатые опоры электропередачи. А весной и вовсе расстроился, увидав, что столбы-«виселицы» по Каширской дороге уже валятся на землю. Работа плохая. Не будет ли из-за этого смертельных случаев?

Часто бывает Глеб Максимилианович на строительстве. Обойдет участки, потолкует с рабочими, угостит папиросой, или свежий столичный анекдот подбросит, или кстати расскажет новичку инженеру, как из таких же затруднений выходили, когда строили «Электропередачу». Подбодрит, посоветует, поможет. Главный инженер Каширстроя Георгий Дмитриевич Цюрупа считает, что участие Кржижановского так же необходимо и целительно, как непрерывное внимание Ильича. Понятно, это уж

слишком... Разве угнаться за «Стариком», если он буквально ни на минуту не выпускает из виду строительство на Оке? В шутку Глеб Максимилианович величает Ленина «каширским десятником». Всех он тормошит, торопит, как заботливый рачительный хозяин, никому не дает покоя. Во все концы страны, ко всем ведомствам обращено его нетерпение, воплощенное в телеграммы, телефонограммы, записки...

Принять все меры для регулярного снабжения Каширстроя хлебом и фуражом, рыбой и мясом, помочь и денег обязательно дать. Командировать врача, так как ввиду скопления рабочих на постройке возможна вспышка холеры. Ускорить выполнение заказов за границей. Прислать сто больших брезентовых палаток или двести маленьких. Тысячу пудов кокса для необходимых отливок. Изолированный провод. Голый провод. Бронированный кабель. Муфты. Материалы для реостата. Болты с гайками.

Чья-то «умная» голова додумывается отозвать красноармейцев. И тут же:

— Двенадцатый трудбатальон... оставить на постройке, дополнив его двумя сотнями плотников и сотней каменщиков... С Симбирского патронного завода откомандировать в распоряжение Каширстроя техника и электротехника — братьев Зубановых... Перевести заключенного в тульской губчека Николая Леонидовича Кареева в Каширское строительство для работы как спеца-агронома...

На Московской таможне завалялось полученное из-за границы оборудование — дело передано в экономический отдел ЧК, Ленин просит строго его расследовать.

На пароходе «Фрида Горн», застрявшем во льдах, находятся сто десять ящиков с изоляторами для линии электропередачи Кашира — Москва:

— Срочно сообщите, какие меры Вами приняты для изъятия этих ящиков из парохода и для переотправки их в Каширу...

— Работа НКПС из рук вон плоха.

И это для Каширки, для учреждения исключительной важности! Для учреждения, о коем есть *особая* директива Политбюро насчет обязательности всяческого нажима и ускорения!..

— В двухдневный срок разрешить вопрос о переходе по мосту через Оку для электропередачи Кашира — Москва... Для приемки тока с Кожуховской подстанции в городскую сеть...

Наконец, по телефону продиктовано и такое распоряжение:

— Каширстрой, Г. Д. Цюрупе

Мне сообщили, что Вы взялись устроить у себя на отдых т. Кржижановского. Возлагаю на Вашу ответственность, чтобы отъезд в Москву в течение месячного отпуска Вы ни в каком случае не допускали...

Всего два километра от железной дороги до села Ледово, где организовано подсобное хозяйство Каширстроя, но живется здесь, как на острове.

Зинаида Павловна и Глеб Максимилианович начали привыкать к тому, что никто сюда не наведывается. Вдвоем бродили по убранным до колоска, до зернышка полям, по роще, меж берез, уже опаленных осенью.

Однажды под вечер, когда все так же вдвоем гуляли по саду, прибежала тетя Даша:

— Гость из Москвы!

Возле дома стоял запыленный «роллс-ройс», и Степан Казимирович Гиль сокрушенно ворчал, снимая проколотую шину.

Ленин встретил их на крыльце:

— Отдышались! Посвежели оба! Ну, как вы здесь?

— Очень хорошо. Спасибо, Владимир Ильич! Вполне растительная жизнь. Не хмурьтесь, пожалуйста. Я употребил это слово в лучшем, философском, смысле: огурцы, картошка, яблоки и другие сказочные чудеса! Хотите малосольных огурцов? С укропом, с чесноком, с хреном и смородиновым листом — собственного засола! Да-а... Единственное, что здесь плохо,— почта работает отвратительно. До сих пор не получили ни одного письма, ни одной газеты.

— Неужели?! — Владимир Ильич сочувственно покачал головой.— Ох, уж эти почтовики!

Пока готовили ужин, Глеб Максимилианович повел гостя в сад, к цветнику, стал расспрашивать о делах, о Москве, о том, как ехали.

— Какой дорогой?

— Через Терново.

— Через Терново? Зачем же? Эта дорога и длиннее и хуже.

— Зато она через Каширстрой...— Ленин улыбнулся со значением и задумался.

Глеб Максимилианович знал, как чутко Ленин относится к людям. Вовсе не умея позаботиться о себе, он постоянно опекает товарищей. Заставляет лечиться, добивается, чтобы получали «дополнительный» паек, «дополнительные» дрова, следит за настроением, поддерживает в минуты сомнений и усталости. Все это он делает деликатно, тактично — почти незаметно. Как нелегко ему, рассчитывающему время по минутам, выкроить несколько часов на поездку сюда, в Ледово. Но выкроил, чтобы навестить, проведать товарища.

Впрочем, не только это привлекало его. И он тут же заговорил о своем любимом детище:

— А «виселицы»-то стоят — от самой Москвы до Каширы. Хар-рашо стоят! И уже провода подвешивают к ним...

— Да,— мечтательно согласился Кржижановский,— теперь становится похоже на дело.

— Сто двадцать верст! — продолжал Ленин.— И по обеим сторонам шоссе избы, крытые соломой, бездорожье, пахари в лаптях — как при Владимире Мономахе, как и тысячу и две тысячи лет назад... И вдруг просторный корпус электрической станции. Трубы. Грохот вагонеток. Бой паровых копров.

— Археологи хотят начать здесь раскопки,— вставил Глеб Максимилианович,— предполагают найти древнее городище.

— Может быть, и найдут,— рассеянно произнес Владимир Ильич,— а может быть... За одно могу поручиться: здесь начинается новая цивилизация. Наверное, нашим потомкам, и не столь отдаленным, Каширка покажется таким же примитивом, каким каменное тесло кажется нам рядом с экскаватором. Но не будь тесла, не было бы экскаватора, не было бы нас самих.

— Все-таки обидно, что мы не увидим, как это будет лет через пятьдесят — у них, у людей будущего.

— Обидно. Чертовски обидно. Но я не поменялся бы с ними. Нет. И Кашира для них останется тем же, чем тесло для нас,— истоком, основой, ключом современной им культуры. Вы знаете?..— Ленин обернулся, как бы опасаясь, что его подслушивают.

В вечернем саду по-прежнему никого не было, только налитые спелые яблоки подглядывали сквозь черную листву. Но Ленин понизил голос, сказал, словно признаваясь, доверяя тайну:

— Ком подкатил к горлу, когда увидел все это —

все строительство. Не смог даже попросить Гиля остановиться. До чего же талантлив наш так называемый «простой мужик»! Как изумительно талантливы инженеры, которых удалось привлечь! Никому в голову не приходило поставить деревянные опоры под линию в сто десять тысяч вольт. А нашим — пришло!

Он с особой гордостью сделал ударение на слове «нашим». И Глеб Максимилианович улыбнулся, подумав, что к самому Ильичу, по справедливости, подойдет та же аттестация. Ведь никому в голову не пришло, что Россию, лапотную, домотканую, деревянную, можно сделать электрической, а ему...

Между тем Ленин развивал свою мысль:

— В непрерывном голоде, в непрерывную войну, на пустом месте, с быстротой, характерной для лучших европейских строительств, поднимают современную станцию.

— И притом крупнейшую в Европе,— добавил Кржижановский.

— Интересно, Глеб Максимилианович, что бы сказал Уэллс, если бы увидел все это? А ведь сейчас еще труднее, чем год назад, когда он был у нас... Да-а, справедливо советуют восточные мудрецы: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

— Почему же все-таки вы не заехали на строительство, Владимир Ильич?

— Почему?.. Знаете, как у нас,— поднимется шум, суета, соберут митинг... Тысячи и тысячи людей оторвут от работы в эту горячую, решающую пору, когда каждая минута — на вес жизни.

Глеб Максимилианович тут же представил, как хотелось Ленину завернуть на площадку, походить по лесам, подышать «воздухом созидания». Каких сил стоило удержаться от этого!

Словно отвечая на его мысли, Ленин грустно вздохнул:

— Ничего. Приеду на торжественный пуск.

Он пробыл у Кржижановских несколько часов. Поужинали, проговорили допоздна. Уже ночью Владимир Ильич двинулся в Москву. На прощанье, как бы между прочим, сказал:

— Пожалуйста, не обижайтесь на «зловредных» почтовиков. Это я виноват.

— Как так?

— Я запретил доставлять сюда почту. Здесь вам надо только отдыхать — отдыхать по-настоящему, как советуют врачи...

В тот вечер немало говорили и о предстоявшем вскоре съезде электротехников.

Глеб Максимилианович подготовил доклад о работе ГОЭЛРО.

Ленин приветствовал собравшихся со всей страны специалистов — надеялся, что помогут двигать дело электрификации.

Обширнейшая аудитория Политехнического музея с трудом вместила приехавших. Как заметил Кржижановский, парадная сторона совершенно отсутствовала, путешествовать делегатам пришлось без путеводителей, способом апостольским, питаться — с большим нажимом в сторону духовной пищи. Но рабочее настроение не спадало. Споры заходили далеко за полночь. Цифры и факты, проблемы и практические программы, доклад Иоффе о строении материи, Шулейкина — о развитии радиотелеграфии и радиотелефонии, Рамзина — о топливном снабжении страны, Графтио — об электрификации транспорта, Миткевича — о природе электрического тока...

Все волновало инженера и профессора, монтера и академика, равно стосковавшихся по настоящему

делу. Все случайное, наносное неизбежно отпадало, отходило в сторону. Восемьсот девяносто три делегата и четыреста семьдесят пять гостей признали, что план электрификации не фантазия, а вполне реальный, безусловно научный подход к нашей основной хозяйственной проблеме — надо взяться всем дружно и скорее перевести его с бумаги в жизнь.

Не успел Глеб Максимилианович отдышаться после этого нелегкого дела, подоспело следующее...

Двадцать второго октября на поле Бутырского хутора собрались наркомы, инженеры, крестьяне ближайших к Москве деревень, студенты...

Председатель Госплана приехал за полчаса до назначенного срока, но возле трансформаторов, лебедок и чудовищно длинного плуга уже хлопотали два брата с Арбата — Александр Иванович и Борис Иванович Угримовы, Василий Захарович Есин, монтеры, машинисты из учебно-опытного хозяйства Московского высшего зоотехнического института.

Наконец подкатил автомобиль, который все ждали.

Щелкнул замок дверцы, показался Ленин в зимнем пальто. Сырой ветер чуть не сорвал кепку — Ленин удержал ее за козырек, надвинул покрепче, помог выбраться Надежде Константиновне, Марии Ильиничне и Калинину.

Тут же, откуда ни возьмись, к ним кинулся мальчонка лет девяти:

— Дяденька Ленин! Дяденька Ленин! Я тебя сразу признал! Это мы дорогу украсили еловыми ветками...

Встречавшие стали оттаскивать его весьма неделикатно — за шиворот. Но Ленин удержал, привлек проныру:

— Как зовут?

— Петькой.
— У тебя, что же, папа с мамой здесь работают?
— Мамка работает, доярка она. А папка помер.
— «Помер»...— Ленин пристально оглядел его видавшее виды пальтишко с чужого плеча, стоптанные сапоги.— В школу ходишь?
— Пошел ноне... Я и телят пасу.
— Ишь ты! Молодчина.

Все же мальчишку оттеснили в сторону. Опасливо поглядывая на провода высокого напряжения, подвешенные над полем, к Ленину пробились делегаты рабочих и служащих хозяйства.

— Приветствуя нашего вождя на земле, политой нашим потом, мы вместе с ним в этот день выражаем горячее желание, чтобы сеть проволок, несущих рабочему и крестьянину освобождение от каторжного труда, от нищеты и голода, покрыла всю рабоче-крестьянскую Россию...

После короткого митинга Глеб Максимилианович кивнул Есину и Угримову. Борис Иванович поднял сигнальный флажок. И сейчас же на противоположной стороне поля механик склонился к лебедке. Стальной канат, протянутый от нее к плугу, вздрогнул, напрягся, зазвенел.

— Осторожней, Владимир Ильич! — предупредил Александр Иванович Угримов.

Машинист, сидевший на плуге, вертанул массивную рукоять — лемеха вонзились в землю, отвалили восемь одинаково тяжелых пластов.

Люди, с детства привыкшие к размаху сохи, в лучшем случае пароконного плуга, двинулись вслед за быстро уползавшим гигантом, словно завороженные. И впереди всех — Ленин.

Приотстав немного, Глеб Максимилианович объ-

яснял Надежде Константиновне и Марии Ильиничне, подозвавшей еще корреспондента «Правды»:

— Идея и конструкция Бориса Ивановича Угримова. Он, как вы знаете, особоуполномоченный Совета Труда и Обороны по секции Главсельмаша... Принцип действия очень простой. По краям поля стоят две электрические лебедки. Механики включают то одну, то другую, и они тянут к себе плуг. У него две рамы — по восемь лемехов на каждой. Одна восьмерка пашет, когда плуг идет туда, другая — оттуда...

Тем временем плуг взбороздил поле до конца гона, и вторая лебедка потянула его обратно. Молодой безусый здоровяк машинист колдовал, священнодействовал рычагами, сидел красный от ветра и всеобщего внимания, от усердия, волнения и гордости. Пронзительно сверкали даже теперь, в этот тусклый осенний день, отшлифованные работой отвалы. По ним, из-под них все так же непрерывно — захватывающе и увлекательно, как в кинематографе! — струились ровные потоки сырой земли.

Владимир Ильич по-прежнему шел за плугом вдоль крайней борозды. Рядом с ним вышагивал тот же, первым встретивший его проныра мальчишка — Петя Мельников, прозванный на Бутырском хуторе Ежиком.

Вот Ленин подобрал ивовый прут, промерил глубину вспашки, одобрительно присвистнул. А Ежик запустил камнем в галок, слетевшихся на свежую зябь.

— Не надо,— остановил его Ильич.— Пусть червяков собирают... Откуда это у тебя такая папаха?

— Солдат подарил. Я ходил к ним кашу есть. Знатная каша! У-ух! Пшенная...

 — «Пшенная...» — задумчиво повторил Ленин,

нагнулся, набрал горсть земли — как истинный хлебороб, размял бережно, ласково, с надеждой: — Вот она — и пшенная, и гречневая, и с маслом...

Потом, когда Ильича обступили работники комиссии «Электроплуг», Борис Иванович Угримов доложил, что Брянский и Петроградские заводы уже выпустили четыре таких чудо-богатыря, а к весне будут работать на полях еще двадцать.

Есин рассказал, где их предполагают применить.

Ленин задумался, прикидывая, взвешивая что-то; вздохнув, заметил, что плуг слишком громоздок, да и обслуживает его многовато народу — пять человек!.. И все-таки... Важно, что это первая машина, созданная нашими рабочими, из наших материалов, на наших заводах.

— Ну, что ж? Двинемся дальше? — Александр Иванович Угримов пригласил на ферму первого показательного хозяйства «Электрозема».

Там все сразу обратили внимание на чистоту асфальтированных проездов, бетонных полов, покрашенных известкой стойл. Неожиданно сытые для нынешней лихой поры, холеные коровы привычно касались губами рычагов — и чашки автоматических поилок наполняла вода, поданная электричеством. В зале с просторными окнами и стенами из кафеля по волнистому экрану охладителя падала молочная река. Сияя медью, гудели электрические сепараторы. На круглом вращающемся столе никелированные шприцы впрыскивали в бидоны мощные струи воды, нагретой электричеством, а щетки, мелькавшие на концах шприцев с быстротой, доступной только электричеству, придавали луженым утробам бидонов радужный блеск.

Наклонившись к Ленину, Александр Иванович с гордостью рассказывал:

— Благодаря идеальной чистоте при дойке и разливке, благодаря гигиеническому содержанию и правильному кормлению животных молоко превосходит по качествам датское, признанное лучшим в мире. Весь удой идет в ясли, детские больницы, родильные дома.

— Сколько вы получили от правительства на оборудование такой фермы? — заинтересовался Ленин.

— Ни копейки. Все, что вы видите, поднято на средства нашего Общества сельского хозяйства. И все это полностью окупилось в два-три года...

— Слышите?! Слышите?! — Ленин обернулся к председателю Госплана и народным комиссарам.— Это общественное хозяйство процветает, несмотря на войны, на разруху и голод! Какие же возможности открываются для крупных советских хозяйств!..

Много интересного увидел и услышал в тот день Глеб Максимилианович, но особенно запомнился ему Ленин, идущий за плугом об руку с мальчонкой в солдатской папахе. И до вечера, обнадеживая, утверждая, слышалось все то же слово:

— Перепашем.

Через несколько недель, после ночного заседания Совета Труда и Обороны, Ленин позвал Кржижановского проехаться на автомобиле за город. Выглядел Ильич убийственно усталым. Сев рядом с ним, Глеб Максимилианович тут же стал его упрекать, корить за то, что он не бережет себя, что нельзя же — нельзя так! — день и ночь работа, одна работа, и только работа!

— Вы так любите Большой театр. Почему бы не отвлечься хорошей музыкой?

— Не могу. Она слишком сильно на меня действует.

— Бессонница убьет вас.

— Чтобы отдохнуть по-настоящему, мне надо сбрить бороду и удрать в Разлив.— Ленин невесело усмехнулся, оттянул край дверного фартука, жадно вдохнул воздух, пахнувший декабрьским снегом.

— При чем тут Разлив?

— При том, что, где бы я ни появился, всюду меня сразу узнают.

За слюдяными окнами автомобиля плыли опустевшие тротуары Тверской, дома, испещренные вывесками только что возникших «кооперативов» и «товариществ», магазины хотя и тускло, но освещенные — набитые всевозможной нэповской благодатью: коврами, канделябрами, парфюмерией, а кое-где и пирожными и банками какао Ван-Гутена.

— Скорее бы,— нарушил молчание Ленин,— скорее бы на витринах появился обыкновенный хлеб, учебники, рубанки, счетные и пишущие машины, электрические приборы, доступные каждому...

То пробивая наметы, то мастерски лавируя меж ними, Гиль вел тяжелую горячую машину стремительно и легко.

Промелькнул Александровский вокзал. Триумфальная арка. В свете автомобильных прожекторов заискрились, побежали навстречу нетронутые колесами снега на аллеях Петровского-Разумовского.

— Здорово! — Ленин потянулся, размялся и тут же спросил: — Как подвигается организация электротехнического института?

— Владимир Ильич! Мы же условились не говорить о деле...

— Хорошо, хорошо. Расскажите только, как с проектом нашего первого тепловоза и с производством тракторов на Коломенском заводе. Кстати! Вы подготовили данные для моего доклада Девятому съезду Советов?

— Не беспокойтесь... Вы знаете, добыча угля в этом году по сравнению с прошлым выросла на семьдесят миллионов пудов. Нефти — с двухсот тридцати трех до двухсот пятидесяти пяти, и притом доставка ее на Волгу — со ста трех до ста шестидесяти семи миллионов пудов. Бензину столько, что открыта аэролиния Москва — Харьков, регулярно летают наши переоборудованные для пассажиров «Ильи Муромцы»...

— А торф?

— О! Тут просто виктория. Единственная область, где мы превзошли довоенный уровень: сто тридцать девять миллионов пудов вместо девяноста трех прошлогодних.

— А вы говорите: Большой театр! Ваши цифры звучат, как музыка. Лучше музыки. Нуте-с, нуте-с, Глеб Максимилианович, дальше...

— Если за восемнадцатый и девятнадцатый годы мы открыли пятьдесят одну станцию мощностью три с половиной тысячи киловатт, то за двадцатый и нынешний, двадцать первый, пущены двести двадцать одна станция — двенадцать с лишним тысяч киловатт.

— И на мази еще двенадцать тысяч Каширки для Москвы да десять тысяч Уткиной Заводи для Питера.— Ленин широко расправил грудь, словно впервые так хорошо наполнил ее морозным воздухом.— Мне кажется, я уже отдохнул в Разливе... Помните тот белогвардейский анекдот — «Почему дом не строится»?

— Ну как же!

— А дом-то строится. Строится!

Загад...

Грибов уменье скрыться тонко,
У каждого здесь норов свой,
Лишь простодушные опенки
Не дорожат своей судьбой...

Масленок в дружном коллективе
Всегда под соснами живет —
Костюм с соломенным отливом
Легко за игол сброс сойдет...

Груздь молодой — весь под землею,
Надежным бугорком прикрыт,
Поди узнай-ка, под какою
Обычной кочкой он сидит...

На что осиновик отважен —
В мундире красном генерал,—
Но присмотрись: он принаряжен
Под лист, что осенью завял...

Гриб белый вовсе неприметен,
Хотя среди грибов царит,
Не так ли все идет на свете:
Не все то злато, что блестит...

Строки складывались легко. Грибы попадались часто. Глеб Максимилианович шел по лесу, точно опьяненный, посвежевший.

Но как чудесен день погожий:
Прозрачна голубая даль,
Все краски стали чище, строже,
На рощах — золотая шаль.

В такие дни душе так любо
С природой быть наедине
И позабыть все то, что грубо
Мешает жить тебе и мне...

Вдруг он остановился, вспомнив что-то, задумался. Да, Ленин тоже любит собирать грибы. И для

него тоже лес — любимое место отдыха... В апреле двадцать второго года ему делали операцию — вынимали пулю... Врачи заставили, чтобы он переехал в Горки. Для тех, кто в эти годы часто встречался с Владимиром Ильичем, видно, как он деятельно борется с недугом.

Но однажды резанула Глеба Максимилиановича по сердцу записка «Старика», в которой мелькнула фраза: «Когда меня не будет...»

Болезнь Ленина вынуждает беседовать с ним осторожно. Глеб Максимилианович стремится обращаться к нему лишь в крайних случаях — «минимально». Однако это не может ускользнуть от его, Ильича, глаза. Он по-прежнему ревниво интересуется всем, что связано с электрификацией, заботится о судьбе ГОЭЛРО. Особенно ценит Ленин начатое дело за то, что оно открывает возможность регулировать с одного щита производственный процесс сотен тысяч людей...

Вспомнив обо всем этом в лесу, Глеб Максимилианович подумал о том, что, возможно, даже наверняка, людям недалекого будущего покажется удивительным исчислять начало великих работ от грозного, опаленного войной, голодом и разрухой времени. Хотя... Что же тут удивительного? Именно для того, именно потому и делали революцию. Именно для великих работ и нужна была Революция-Созидательница. Другой эту революцию, другим ее вождя невозможно представить. И загад Ильича вовсе не мечта, а провидение на многие годы вперед, реальное предсказание того, что будет — будет!

Глеб Максимилианович еще не знал, что очень многое из этого он увидит — станет современником и соучастником еще многих и многих великих дел.

Он увидит пуск и работу Каширской, Шатур-

ской, Волховской станций, Днепрогэса... Он узнает о выполнении первой пятилетки, второй, четвертой...

Каждое дело — будь оно большое или поменьше — он будет делать так, что потом, вспоминая о совместной работе, сподвижники его скажут примерно, как Александр Иванович Угримов:

— Как помню себя, я никогда не боялся жизни трудной, часто бывало и опасной... Равно нисколько не боюсь положенной нам, как творению природы, смерти. Мне сдается, что это так потому, что есть во всей жизни великой природы правда, разум и любовь. Вы, дорогой Глеб Максимилианович, именно эту сторону жизни выражаете вашим отношением ко мне с такой ясностью и полнотой, что сам смысл жизни для меня становится и светлым и прекрасным. И это не слова, а уверенное, чистосердечное признание.

Трудно перечислить должности и дела Глеба Максимилиановича. Но его отношение к людям, работающим рядом, можно определить хотя бы из письма, написанного одной из скромных сотрудниц в тяжкую годину Отечественной войны:

«Теперь, когда жизнь стала так сложна и так полна всяких неожиданностей, то нечаянных радостей, то глубоких потрясений, когда не знаешь, что будет завтра, сегодня существуешь, а завтра можешь и не быть, мне очень хочется успеть написать Вам несколько строчек совсем неделового характера... Хочу успеть выразить Вам мою глубочайшую признательность за Ваше хорошее, разборчиво внимательное отношение к своим подчиненным. Я работаю в ЭНИНе семь лет. Мне не приходилось никогда беседовать с Вами, но сознание всегда было такое, что Вы в курсе всех дел, всей жизни института, что Вы зорко следите за всем, что делается в Вашем под-

чинении, и это всегда вносило известное моральное спокойствие и в психику, и в работу. Мы... чувствовали себя под Вашим руководством уверенно, «присмотренно». Всегда чувствовался и чувствуется Ваш острый проникновенный взгляд, который все видит и обо всем печется и незаслуженно не даст в обиду. Я никогда не пропускала ни одного Вашего выступления где бы то ни было и, уходя, уносила с собой что-то бодрящее, поднимающее дух к радостной деятельности...»

Имя Кржижановского Глеба Максимилиановича навсегда войдет в историю вместе с понятием «электрификация страны».

За десять — пятнадцать лет план ГОЭЛРО намечал построить станции общей мощностью в полтора миллиона киловатт...

По решению Двадцать четвертого съезда Коммунистической партии в девятой пятилетке мощности только атомных наших станций вырастут на шесть — восемь миллионов киловатт — это четыре-пять планов ГОЭЛРО! За новую пятилетку будет введено в строй электрических станций на шестьдесят пять — шестьдесят семь миллионов киловатт — это сорок три — сорок четыре плана ГОЭЛРО! И все же, думая сегодня о сооружении сверхмощных электроцентралей, о работе сверхдальних электропередач, об энергосистеме «Мир», соединяющей социалистические страны, люди невольно связывают все это с холодной, голодной, простреленной порой первых лет Революции, с ленинским «загадом» о свете над Россией, с трудом верного соратника Ильича Глеба Максимилиановича Кржижановского и по справедливости говорят:

— Все это начато ими еще тогда.

Послесловие

Старейший большевик, непримиримый борец против российского самодержавия, Глеб Максимилианович Кржижановский после Великой Октябрьской социалистической революции стал одним из видных руководителей Советского государства, первым председателем Госплана СССР, организатором составления первого пятилетнего плана, выдающимся ученым. Его работы по проблемам планирования, и в особенности электроэнергетики, вошли в золотой фонд советской науки. Друг и соратник великого Ленина, он до последних минут своей жизни гордо нес звание большевика-ленинца.

Его огромную работу как государственного деятеля и ученого высоко оценил наш народ. Глебу Максимилиановичу Кржижановскому присвоено звание Героя Социалистического Труда, он награжден пятью орденами Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени. Неоднократно избирали его членом ЦК КПСС, членом ВЦИК и ЦИК СССР, депутатом Верховного Совета СССР.

Имя Г. М. Кржижановского неразрывно связано с электрификацией Советского Союза. Глеб Максими-

лианович был теоретиком и практиком социалистической электрификации, заслуженным лидером советской школы электроэнергетики, революционером не только в политике, но и в технике.

Он был и поэтом революции. Создал русский текст знаменитой «Варшавянки». Поэтическое творчество он продолжал до последних дней жизни, писал сонеты, посвященные памяти В. И. Ленина.

В апреле 1918 года в известном «Наброске плана научно-технических работ» В. И. Ленин выдвигал задачу составления плана реорганизации промышленности и экономического подъема России, технической основой которого должна стать электрификация. Но гражданская война и империалистическая интервенция не дали тогда возможности выполнить это задание Ленина. Победы Красной Армии на фронтах в конце 1919 года позволили получить передышку и вновь поставить вопрос о плане электрификации. Ознакомившись со статьей Кржижановского о торфе и написанной через несколько дней статьей «Основные задачи электрификации России», Ленин обратился 23 января 1920 года к Г. М. Кржижановскому с историческим письмом, в котором поставил задачу составления государственного плана электрификации страны.

В письме были кратко сформулированы основные идеи плана электрификации. Сессия ВЦИК в феврале 1920 года приняла решение о начале разработки этого плана. Во главе Комиссии по разработке плана электрификации, по указанию Владимира Ильича, был поставлен Глеб Максимилианович Кржижановский. Период работы над планом ГОЭЛРО, проходившей в непосредственном контакте с В. И. Лениным, был для Кржижановского, по его собственному утверждению, самым ярким в его жизни.

За 11 месяцев Комиссия ГОЭЛРО выполнила невиданную в истории по объему и глубине работу — был составлен первый единый государственный план развития народного хозяйства на основе электрификации. Успех этой работы определялся тем, что Г. М. Кржижановский опирался на помощь своего учителя и руководителя В. И. Ленина. С другой стороны, успех объяснялся тем, что Глеб Максимилианович сумел привлечь в Комиссию почти всех наиболее видных русских ученых, инженеров, агрономов и экономистов. Председатель ГОЭЛРО сумел увлечь величием планируемых задач даже тех старых специалистов, которые в первые годы Советской власти были далеко не друзьями молодого пролетарского государства. Всех их захватила работа в комиссии ГОЭЛРО, особенно когда они увидели, что великий вождь пролетариата Ленин поддерживает их творческие замыслы. Трудно переоценить роль, которую сыграл Кржижановский в составлении плана электрификации. Он не только сумел организовать пионерскую работу многих различных по взглядам и характерам людей, но и направил ее так, что они воплотили в план ленинские принципы электрификации, которые и поныне служат нам важной вехой при определении путей хозяйственного строительства бесклассового общества. Он сам был автором ряда важнейших разделов плана электрификации России.

Основные принципы и методологические основы плана ГОЭЛРО были развиты в последующих трудах Г. М. Кржижановского и составили научную дисциплину — общую энергетику.

План ГОЭЛРО предусматривал сооружение в течение 10—15 лет 30 районных станций общей мощностью 1750 тысяч киловатт. Если вспомнить, что дореволюционная мощность всех электростанций

страны составляла примерно 1 миллион киловатт, то станет понятна научная смелость, проявленная коллективом, возглавляемым Кржижановским. План ГОЭЛРО вызвал бурю ненависти у врагов Советской власти и нескрываемую иронию и неверие у части русской и мировой интеллигенции.

В отчетном докладе на VIII Всероссийском съезде Советов 22 декабря 1920 года Ленин, назвав план ГОЭЛРО второй программой нашей партии, выдвинул известную формулу — «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

С исключительным вниманием слушали на следующий день делегаты доклад Кржижановского, как бы раскрывающий формулу Ленина в конкретном плане строительства экономики Советского государства. Несмотря на то что молодая республика переживала тяжелое время хозяйственной разрухи и еще не закончила войну с белогвардейцами и интервентами, доклад Кржижановского был полон веры в победу Советской власти, в то, что грандиозная программа электрификации, намеченная планом ГОЭЛРО, будет выполнена.

VIII Всероссийский съезд Советов одобрил план ГОЭЛРО, навсегда вошедший в историю нашей страны как первый государственный научно обоснованный перспективный план развития народного хозяйства, ленинский план электрификации.

Уже в самом начале 1921 года В. И. Ленин выдвигает идею создания Общеплановой комиссии при Совете Труда и Обороны и предлагает кандидатуру Г. М. Кржижановского на пост ее председателя. За время работы над составлением плана ГОЭЛРО Глеб Максимилианович доказал, что глубоко изучил проблемы развития экономики страны, ясно представ-

ляет пути технического прогресса, является центром притяжения лучших научных и технических сил, накопил первый опыт планирования экономики пролетарского государства. Поэтому именно ему партия поручила организацию Госплана — тогда уникальной, единственной в мире организации. Один из старейших наших экономистов — академик С. Г. Струмилин писал: «Здесь нужно было выработать новые методы высоко академической работы, но без всякого «академизма», с актуальнейшими прикладными выводами, но без тени бюрократизма. Для решения новых задач одновременно нужно было воспитывать и новые кадры специалистов по планированию народного хозяйства в масштабах, невиданных в мировой истории. Нужно было для этих кадров разработать и целый цикл новых плановых дисциплин».

Г. М. Кржижановский блестяще справился с поручением В. И. Ленина. Лучшим доказательством этому явилась разработка первого пятилетнего плана, который поднял на новый уровень все вопросы перспективного планирования, намеченные при разработке плана ГОЭЛРО. Госплан под руководством Кржижановского превратился в гибкий и сильный инструмент партии и Советской власти не только по составлению планов народного хозяйства и отдельных отраслей экономики, определению их пропорциональности и рационального размещения, но и в орган контроля за выполнением плана.

Свой доклад «Пятилетний план народнохозяйственного строительства СССР» на V съезде Советов 23 мая 1929 года Г. М. Кржижановский, выступая с той же трибуны, с какой он выступал в 1920 году с докладом о плане ГОЭЛРО, начал с указания на органическую связь первой пятилетки и ленинского плана электрификации. «Совпадение пятилетки по

основным решающим вехам с планом ГОЭЛРО,— говорил Кржижановский,— который не без основания назывался планом Ленина, говорит, что в *хозяйственном разрезе мы идем по ленинским вехам»*.

В течение 10 лет — до 1931 года — Кржижановский возглавлял Государственную плановую комиссию. За это десятилетие под его руководством был создан Госплан СССР, создана школа советских экономистов-плановиков.

В 1931 году Г. М. Кржижановский был назначен председателем Энергоцентра ВСНХ (затем преобразованного в Главэнерго Наркомтяжпрома).

Находясь опять во главе электроэнергетического хозяйства страны, Кржижановский настойчиво боролся за увеличение производства электроэнергии, за безаварийную работу электростанций и увеличение ввода новых энергетических мощностей. В эти годы производство электроэнергии росло исключительно быстрыми темпами. Если в 1930 году оно составляло 8364 миллиона киловатт-часов, то уже в 1931 году — 10 687 миллионов киловатт-часов, а в 1932 году — 13 540 миллионов киловатт-часов.

Резко увеличился ввод новых энергетических мощностей. Прирост установленной мощности в 1930 году составил 579 тысяч киловатт, а уже в 1931 году возрос почти вдвое, составив 1097 тысяч киловатт.

В эти годы велось строительство крупнейших электростанций, намеченных планом первой пятилетки. На Украине строилась Зуевская тепловая электростанция, под Ленинградом — Свирская ГЭС и Дубровская ГРЭС, в Грузии — Рионская ГЭС, в Армении — Дзорагетская, Ленинаканская и другие. Но самым крупным сооружением было строительство Днепрогэса — любимого детища Г. М. Кржижановского, которому он всегда оказывал огромную по-

мощь, работая и в Госплане, и в Главэнерго. 10 октября 1932 года состоялся пуск Днепрогэса имени Ленина — символа первой пятилетки.

Кржижановский возглавлял разработку и второго пятилетнего плана электрификации. Он привлек к ней ученых и инженеров, сотрудничавших с ним еще во время составления плана ГОЭЛРО, и большую группу молодых советских инженеров — энергетиков, которым щедро передавал свои огромные знания и опыт.

В 1929 году Г. М. Кржижановский, уже известный своими научными трудами по вопросам энергетики и электрификации, по теории и практике социалистического планирования, был избран действительным членом Академии наук СССР и в том же году стал вице-президентом Академии наук СССР. «Быстрое превращение старинного, все еще замкнутого высшего научного учреждения страны в новую, советскую Академию,— говорил президент Академии наук СССР С. И. Вавилов,— тесно связанную в своей работе с промышленностью, сельским хозяйством, со всеми разнообразными научными и техническими запросами нашей громадной Родины,— во многом дело Глеба Максимилиановича».

По инициативе Кржижановского в системе Академии наук СССР был организован первый технический институт — Энергетический институт, носящий его имя. До последних дней своей жизни Г. М. Кржижановский возглавлял этот институт, ставший центром прогрессивных научных исследований в области энергетики.

В 1935 году Кржижановским было организовано Отделение технических наук, группу энергетики которого возглавил он сам. Фундаментальные научные

работы Кржижановского послужили базой для разработки комплексных исследований рациональной структуры электроэнергетического хозяйства и режимов сложных систем, выбора оптимальных параметров станций различных типов. Им разрабатывались принципиальные проблемы дальней передачи энергии, итогом этих исследований было создание научных основ Единой энергетической системы Советского Союза.

Во всех этих работах Кржижановский оставался верен себе, рассматривая науку как глубоко партийное дело, поставленное на службу народу, Коммунистической партии.

В характере Глеба Максимилиановича сочетались твердая партийная принципиальность с исключительной человечностью и душевной мягкостью. Крупнейший ученый и государственный деятель, человек высокой культуры и разносторонней эрудиции, он всегда отличался большой скромностью. Со свойственной ему большевистской принципиальностью он всю жизнь боролся за чистоту идей Ленина. Все связанное с именем Ильича было для Глеба Максимилиановича особенно дорогим, даже святым.

В своих книгах «Великий Ленин», «Мыслитель и революционер» он рассказал о встречах с В. И. Лениным, о борьбе, которую они вместе вели за создание нашей партии, за победу Советской власти, за электрификацию Советской страны. В последние годы жизни, как бы переживая вторую молодость, Глеб Максимилианович был горд и счастлив тем, что дорогое для него имя — Ленин — с новой силой воплощается в величайших творениях родной партии и страны. Он выступил с рядом содержательных работ. К нему обращались ученые, строители электро-

 станций страны, советская молодежь, пионеры и

школьники. Для всех он находил нужные слова, всем оказывал помощь.

Но время брало свое... 31 марта 1959 года перестало биться сердце пламенного большевика-ленинца.

Жизни этого выдающегося человека посвящена повесть Владимира Красильщикова «В начале будущего». В ней писатель создал литературный образ Глеба Максимилиановича Кржижановского.

Автор не ставил себе задачу дать исчерпывающую биографию Кржижановского. Он совершенно правильно, на наш взгляд, выбрал наиболее яркий отрезок в жизни своего героя — период составления плана ГОЭЛРО, начиная с декабря 1919 года по декабрь 1920 года. Именно этот период и сам Кржижановский считал наиболее значительным в общественном смысле и наиболее ему дорогим и памятным. Именно в это время были мобилизованы и приведены в действие все знания и весь опыт, накопленные за прошлые годы. Автор делает ряд отступлений, рассказывая о годах юношества, о его становлении как революционера ленинской школы, борца с царизмом, довольно подробно характеризует дружбу и сотрудничество с В. И. Лениным.

Автор использовал большое количество документальных материалов, воспоминаний и опубликованных работ о Г. М. Кржижановском и органически ввел в свою повесть исторические события и встречи.

В ряде случаев он выходит за рамки документов и пытается создать образ своего героя с помощью литературного домысла.

Читатель сам решит, в какой степени автору удалось справиться с этой задачей. Во всяком случае повесть «В начале будущего» с интересом будет прочитана советским читателем, так как с ее страниц встает живой образ замечательного большевика-

ленинца, творца плана ГОЭЛРО, ученого и поэта — Глеба Максимилиановича Кржижановского.

Читатели узнают и о его сотоварищах из «могучей кучки», составлявших ленинский план ГОЭЛРО,— И. Г. Александрове, Г. О. Графтио, К. А. Круге, А. И. и Б. И. Угримовых, М. А. Шателене и других первых электрификаторах нашей страны. Имена этих людей вошли в золотую книгу истории электрификации Союза.

В. Красильщиков воссоздает образ В. И. Ленина, показывая его руководящую роль в составлении плана электрификации страны, его твердость и непоколебимую уверенность в правильности пути, который был им намечен для создания материально-технических основ бесклассового общества.

Повесть «В начале будущего» послужит дальнейшей популяризации жизни и деятельности Г. М. Кржижановского — патриарха советской энергетики, мыслителя и патриота. В особенности эта книга будет полезна нашей молодежи, для которой жизнь Г. М. Кржижановского может служить ярким примером.

Заслуженный строитель РСФСР, заместитель председателя Совета старейших энергетиков СССР
В. Ю. Стеклов

Содержание

Загад	3
Меж крутых берегов...	27
По свободно принятому решению	48
Гордо и смело	75
Доброе кипение	98
Держи душу за крылья	129
Положительный заряд	158
«Город Солнца» и красноармейский паек	182
Архимеды идут к нам	206
«Под дых»	232
Лицом к огню	263
Клэр — значит светлый, ясный, яркий	297
Да здравствует труд и разум!	323
В порядке первого приближения	349
Хозяйственный здравый смысл	375
Первый раз в истории	393
Бетоном и железом по земле	414
Загад...	441
Послесловие. *В. Стеклов*	445

Красильщиков В. П.

К78 В НАЧАЛЕ БУДУЩЕГО. Повесть о Глебе Кржижановском. М., Политиздат, 1973.

455 с. с илл. (Плам. революционеры).

3КП1(092)

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*

Редактор *Л. И. Тормозова*

Младший редактор *Г. Е. Щербакова*

Иллюстрации художника *В. И. Терещенко*

Технический редактор *Е. И. Каржавина*

Сдано в набор 3 ноября 1972 г. Подписано в печать 27 февраля 1973 г. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Условн. печ. л. 20,56. Учетно-изд. л. 19,68. Тираж 200 000 (1—100 000) экз. А 00237. Заказ № 1886. Цена 87 коп.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина
типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

К $\frac{0122-237}{079(02)-73}$ БЗ-3-2-72

